

ЕВГЕНИЙ
СУВОРОВ
—
ГОЛОС



ЕВГЕНИЙ
СУВОРОВ

—
ГОЛОС



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985

Художник СЕРГЕЙ СОКОЛОВ

Суворов Е. А.

С 89 Голос: Повести, рассказы.— М.: Советский писатель, 1985. — 272 с.

Однаково ли ведет себя человек в будничной жизни и в экстремальной обстановке, например на войне? Только ли в высоких производственных показателях нравственное содержание труда? Этими вопросами задается писатель Евгений Суворов в повестях «Совка» и «Дом на поляне». Его прозу, основанную непосредственно на деревенском материале, отличает высота моральных критериев, ясный и чистый язык.

**С 4702010200—196
083(02) —85**

ББК84.Р7



СОВКА

Повесть

Сова ль моя, совка,
Вдова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты летала?

Из народной песни

1

Утром — этого у меня никак не получалось в городе — поднялся до восхода солнца, в пять часов. Осторожно, чтобы не разбудить жену, оделся, так же осторожно вышел на кухню, по размерам почти не уступавшую большой комнате, где мы спали.

С первого дня, как мы приехали в деревню, я занял кровать отца, стоявшую у окна к дороге, жена — кровать матери, тоже стоявшую у окна, из которого видно крыльцо, угол дома, верх колодезного журавца и высокий лес на той стороне болота. Кровати были совсем старые, односпальные, принесенные с чердака, но стояли на тех же местах. В старом доме не скрипела ни одна половица. Пол плотный, из толстых плах, с глубоким подпольем, и кажется, что ходишь по палубе корабля. И океан в окно виден с гигантскими волнами, только не голубой, не синий, а темно-зеленый — присаянская холмистая тайга.

Открываю широкую, осевшую дверь, ведущую в сени, и еще одну дверь, с веранды, легкую, желтоватую, слоистую, все еще пахнущую сосной. Если ее слегка придержать, то она закроется неслышно. И в детстве человек, спускавшийся с крыльца, иногда вызывал во мне странное ощущение: откуда взялся он на крыльце, с неба свалился, что ли? Я, когда был маленьkim, да и подростком, дверь не придерживал: мне нравилось, как со звоном ударялась о скобу полусогнутая железная дужка и как тонкая дверь отвечала ей мягким, спокойным звуком. Для кого-то, может, и пустяк, а для меня с этим коротким, радостно-металлическим, как будто нечаянным, а потом деревянно-гитарным звуком, который был только у нашей двери, связанные многие воспоминания детства! Стоило звякнуть дужке, отзоваться двери — и я сразу же что-нибудь видел из прошлого или меня начинало томить что-то случившееся со мной, когда я жил в деревне, но никак не всплывавшее в памяти... Потом, когда отойду от дома или уеду далеко, вспомнится!

Не знаю, дужка ли поржавевшая была виною или то, что наконец-то победил себя и встал в пять утра, как всегда вставали мои отец с матерью, но с крыльца я сошел в самом прекрасном расположении духа и, кажется, никогда не чувствовал себя таким молодым, здоровым, счастливым! Я едва удержался, чтобы не вернуться и не разбудить жену, — пусть и она посмотрит, какое сегодня утро! Я знал: она сначала удивится, куда я так рано поднялся, потом все поймет, обидится, что без нее ушел, и прикажет, чтобы завтра обязательно ее разбудил. Она будет довольна, что с этого дня я начну вставать рано, — а то все жалуюсь, что куда-то уходит вре-

мя. И еще для того я буду рано вставать, чтобы порадоваться начинающему дню.

Не успел я сделать и трех шагов, как мне вспомнились слова частушки, слышанной еще в детстве:

Новый дом, новый дом,
Новое крылечко,
Как взгляну на этот дом —
Заболит сердечко...

Боже мой, да что такое новое крылечко в сравнении со старым, родительским?

Выйдя через открытые, покосившиеся ворота на огород, пустующий уже четвертое лето, оглядываюсь на крепкое, просторное и уютное крыльцо, на котором мы, прия из лесу, разбираем грибы, готовим ужин, наблюдаем за воробьями, отвыкшими от людей и свившими гнездо за обшивкой дома чуть не у самой земли; за вороной, издали наблюдавшей за нами; за ястребом, который однажды, когда мы под вечер сидели на крыльце, пролетел так близко и, повернув голову в нашу сторону, так глубоко заглянул нам в глаза; и таким загадочным показался его взгляд, таким острым, — он, наверное, хотел понять, кто мы такие, зачем здесь сидим, когда хозяева уехали. В его близком, медленном полете, величаво распластанных крыльях, поблескивающих золотым опереньем, в повороте головы были уверенность, интерес к нам, но больше всего — пренебрежение. Он давно к нам приглядывался, как и мы к нему, и наконец-то решился пойти на сближение. А может, не видел нас, скрытых высоким забором, на котором к тому же были развешаны одеяла, и с удивлением обнаружил сидящими на крыльце? И все же вернее было первое: он смело приблизился к нам и гордо пролетел мимо. Он так и летел над домами, в которых не было людей, — так же как не было в оградах и на выгоне ни кур, ни гусей, ни уток...

Мы не переставали восторгаться его пренебрежением к нам. Оно было, потому что от его внимательного, как будто отравленного взгляда мне в первый миг стало не по себе. Жена тоже смущилась. И только потом, когда он скрылся, мы восторгались ястребом. Он как будто задал нам какую-то загадку и улетел.

...Высоченная крапива коснулась моей руки, но не обожгла, а только напомнила о себе — как будто для

того, чтобы я ее не трогал. Я выкосил крапиву под окнами, а эта пусть царствует! На земле, на бревнах, на дощатом заборе темные, влажные пятна, роса такая обильная, что кажется: уж не было ли ночью дождя? С черемухового куста раздается посвистывание птиц, такое же чистое, как утренний воздух! Бросив заросли конопли, с веселым шумом на куст черемухи перелетела стая воробьев. Им нет дела, что деревня исчезает. Их прадедушки и прабабушки еще знали хозяев, а это новые воробы, они отвыкли от людей, и старики воробы пытаются внушить младшим, что человек для них друг. Где это было видано, чтобы воробей пренебрегал хлебом, который появлялся на столбах и возле гнезда?! Но что же делать, если с детства они приучены папой и мамой к разным букашкам, червячкам, которых здесь множество! Ешь — не хочу! Старые воробыхи помирают от смеха: вот уж молодежь, не подскажи, совсем разучатся — выют гнезда так низко, что любой пацан с земли достанет до гнезда рукой! Пошутят они, пошутят, а что сделаешь: молодой народ упрямый, пока сам не хлебнет лиха, не научишь!

Рядом с летней кухней-сарайчиком как будто заново вижу разросшийся куст желтой акании, привезенный из райцентра и посаженный моим младшим братом Володей. Брат уехал, и акация больше, чем дикая яблоня, лоза и черемуха, кажется брошенной, посаженной напрасно. Ее тонкие, нежные стебли, касающиеся середины высокого забора, вздрагивают, слабо шелестят листьями, мигают желтыми огоньками поздних цветов и, мне чудится, просят увезти ее отсюда. Я подхожу к ней, слегка трогаю за ветви — и на меня обрушивается прохладный, пахучий росяной дождь...

Оглядываюсь на лозовый куст, выросший сам по себе в старом приамбарке с разобранной крышей, где когда-то хранились дедовы лозовые прутья. Солнца там не хватает, куст долго рос, никому не видный, пока кто-то из Володиных детей или его жена Нина нечаянно туда не заглянули и не удивились: надо же, в доме выросла лоза! Куст, охраняемый от дурного глаза ветхими стенами приамбарка и закрытыми воротами возле старой избы, поднялся теперь выше стен, и странно видеть с улицы, из ограды или с огорода его весело зеленеющую пушистую вершину. На маленький кустик лозы, поднимавшийся в правом углу приамбарка, Нина сначала по-

сматривала с интересом, а потом, по совету бабки Аксиньи, хотела его выдернуть: очень уж он смущал своим появлением не где-нибудь, а в приамбарке. Но мой брат строго-настрого запретил ей это делать: раз появился, пусть растет! Наш дедушка всю жизнь плел короба и корзины, которыми пользовалась вся округа, и лоза выросла в его честь — так казалось Володе, да и мне тоже.

Одет я для такого утра хорошо: на мне светло-зеленая штормовка с красно-голубым изображением Братской ГЭС на рукаве; складной нож и широкий, тоже с разноцветной картинкой, целлофановый пакет для грибов с вечера лежат в кармане. На ногах новенькие, пропитанные дегтем кирзовыесапоги, в которых ни дождь, ни роса не страшны, и они сами несут меня по нашему огороду, заросшему старым клевером и сочным пыреем, и вдоль неровного тына и рухнувшего кое-где прясла, охраняемого гигантскими зарослями крапивы, конопли и бурьяна. Спускаюсь под горку, где раньше были колодец с баней, иду через бывшие приусадебные покосы к старому руслу Тагники, потом вдоль болота к стлани и — в лес. Скорее, скорее!

Куда я тороплюсь? Чему радуюсь?

Я тороплюсь к воспоминаниям. Заранее радуюсь встрече с ними...

2

Один раз я принес с покоса небольшой букет лесных цветов, почти весь из кукушкиных сапожек. Мне в особенности было непонятно, как вырастают именно эти цветы, почему они так называются, и я надеялся обрадовать отца с матерью, когда прошел с букетом по огороду, поднялся на крыльце, нашел маленький-премаленький кувшин, налил в него утренней колодезной воды и поставил в большой комнате на крутом столике рядом с патефоном.

— Чему же тут радоваться? — сказал отец. — Росли цветы, никому не мешали, а ты взял и сорвал... На лесные цветы лучше всего смотреть в лесу...

Начинавшийся разговор о цветах показался бесконечным, и мы, чтобы не заходить слишком далеко, уступили друг другу — сошлись на том, что и отец прав, и я

прав. У меня была возможность высорить, обратившись к матери за поддержкой, она — я знал — взяла бы мою сторону, но я сразу же отказался от запрещенного приема, тем более что я им уже не пользовался с четырнадцати лет — с того самого дня, как уехал в город. Я, помню, удивился, как быстро пролетело время, — мне уже было двадцать восемь! Не всех я хорошо знал в своей деревне, а в некоторых домах так ни разу и не был, — и эти дома, и люди, которые жили в них, сделались для меня еще более загадочными, и я при каждом удобном случае что-нибудь спрашивал о них. Мои родители знали всех взрослых жителей даже из соседних деревень, про некоторых рассказывали целые истории, причем одна и та же история могла рассказываться несколько раз. Конечно, должно было пройти какое-то время, чтобы история подзабылась... И всякий раз я слушал как будто бы впервые и никак не мог понять, в чем тут дело: или я многое забывал, или родители мои с каждым разом добавляли что-нибудь новое?

И в этот приезд я ждал если не новой истории, то хотя бы старой, рассказанной заново... К этому все располагало: и то, что я долго не был дома, и то, что лето было хорошее — картофельные кусты вымахали чуть не в пояс! — и то, что родители посматривали на меня так, будто не узнавали, — видно, я здорово изменился! — да и разговор о цветах остался все же таки незаконченным. А уж я знал: отец не любил останавливаться на полдороге, если начал какую-то мысль, то обязательно закончит.

— Послушай, — чувствуя, что я тоже не сплю, среди ночи заговорил отец, — я тебе не рассказывал, что на Бадонках случилось?

Со словами, что слышал эту историю, но очень давно, я повернулся от окна, разглядел белевшую в темноте никелированную спинку кровати, на которой спал отец, и приготовился слушать. Ночь была темная — давно собирался пойти дождь, — и вот уже огромные, редкие капли ударяют по крыше и стеклам. Отец, видно, прислушался к начинавшемуся дождю, и до меня снова донесся его певучий негромкий голос. Разбудить мать, спавшую на широкой русской печи, он не боялся: она так уставала за день на колхозной работе, что засыпала сразу же, как только касалась головой подушки, и отец всегда восхищался ее способностью не только мгновенно

засыпать, но и не просыпаться, хоть пали около нее из пушек. А утром вставала раньше всех, затапливала печь, успевала переделать, пока мы спим, десятки мелких дел, которых, как нам потом казалось, и не было. Как будто само собой все в избе было чисто, от печи вкусно пахло, и я, когда был помладше, верил, что ей помогает домовой.

Бадонки находились рядом, но в соседнем районе, прямой дороги туда не было, и, наверное, по этой причине казалось, что они далеко. Отец еще со вчерашнего дня примерялся к этой истории, но что-то ему мешало, и вот сейчас, под шум дождя, начал рассказывать.

Я живо представил деревню, на горке, около речки, в одну длинную улицу, последние дома маленькие и, как у нас, скрыты лесом, стеной стоящим возле широкого болота. В ясный день хорошо видны изумрудно-белые вершины Саянских гор... Кажется, что Саяны рядом, за лесом, хочется сейчас же пойти к ним. Но до гор далеко.

— Все правильно,— согласился отец,— кроме одного: последний дом большой, под железной крышей, в ограде березы, сосны, беседка, скамейки...

В первый раз, когда я слушал, этого дома не было...

Каждое утро пастух с подпаском гонят по деревне коров, а за воротами дома, окруженного березами и соснами, стоит девочка лет двенадцати и, прикрывшись ладошкой от солнца, смотрит, как скрывается в лесу растянувшееся по дороге стадо. Цветком ромашки виднеется среди пожелтевшей болотной осоки белый платочек.

Что заставляет девочку долго стоять у ворот и не слышать, как зовут отец или мать?

Может, виноват рожок, под звуки которого она, еще не проснувшись, выбегает на улицу? Обхватив тонкими длинными руками свои худенькие плечи, девочка съеживается от утренней прохлады, окончательно просыпается, широко открывает глаза, и в них отражается весь мир, который она видит перед собой. Девочка завидует пастухам, что они гоняют коров куда-то далеко,— там, она слышала, есть другая речка и много смородины... Ей нравится стоять около дома и радоваться утренним и уже горячим лучам солнца, таинственным звукам рожка, на котором играет подпасок, соседский мальчик. Стадо с пастухами скрылось, перестал играть рожок,

белая пыль вот-вот уляжется, а девочка стоит, не отнимая от лица ладошки. До ее слуха все еще доносится из леса звон двух или трех колокольчиков...

От задымленных кучевых облаков, отдыхающих на вершинах деревьев, исходит легкая, едва уловимая тревога... В одном месте, ближе к югу, кучевое облако с вытянутой рукой поднялось выше, но кто-то гигантской кистью провел над ним две узкие, длинные лиловые полосы — вытянутая рука облака в белом рукаве стала исчезать...

«Сонька,— скажут ей отец или мать, — ты что, коров не видела, стоишь?»

«А я не на коров смотрю...»

«А куда? На небо?»

«Может, на небо», — соглашается она, так и продолжая стоять не шелохнувшись.

«Ой, Сонька, не засматривайся на облака да на туманы, а то печалиться будешь!»

«О чём я буду печалиться?»

«Нельзя так долго смотреть неизвестно на что, лучше с маленьkim ведерком за водой сбегай!»

«Да тише, тише вы...»

«А что такое?»

«Ну неужели вы не слышите?»

Отец с матерью посмотрят друг на друга, потом — на Соньку: что с ней?

«Колокольчики...» — приподнимаясь на носки, готовая взлететь, шепчет Сонька.

«Цветы, что ли?» — спросят отец с матерью, не понимая, что творится с девчонкой.

«Да нет, звенят... вот сейчас...»

«Эка невидаль! Они и завтра будут... И вечером... Это чтоб коровы не потерялись!»

Отец с матерью махнут на девчонку рукой: пусть стоит, если ей нравится!

Привыкли они и к тому, что Федя-пастушок, когда возвращается из лесу, приносит ей букетик лесных цветов. Девчонка, как и утром, стоит в вечерних лучах за воротами или висит на заборе, и не поймешь, чего она больше ждет — корову из стада, чтобы открыть ей ворота, или букетик. «Настоящая совка! — соглашаются отец с матерью. — Не зря ее так зовут...» Распахнет зеленые глаза, приподнимется на носки — и кажется, что вот сейчас полетит над дорогой, речкой, лесом, полями...

Ловлю себя на том, что с нетерпением жду «веселенького» места в отцовском рассказе, из-за которого все и началось. И тут я не понравился себе вот за что: во мне остается — и ничем его не вытравить! — интерес к острым зрелищам, меня так и тянет к какому-нибудь происшествию; и уж если я оказываюсь зрителем этого происшествия, то почему-то непременно хочется быть здесь первым... Я понимаю, что это нехорошо, но ничего не могу с собой поделать!

Вот и сейчас я попросил отца, чтобы он сразу же перешел к неприятнейшему эпизоду с цветами, который, наверно, никогда не исчезнет из моей памяти.

Отец все-таки рассказывал подряд.

Порывы дождя заглушали слова, и тогда до меня доносился только голос, но я по голосу чувствовал, как лицо отца улыбается, делается восторженным. И вдруг подумал, что ничего не знаю о его жизни до моего рождения... Я всегда старался расспрашивать только о себе: любой пустяк из моего детства приводил меня в восторг, о себе я мог слушать бесконечно! И я пожалел, что пропустил подробности из его неторопливого рассказа, потому что он наверняка что-нибудь вспоминал из своей жизни, — ведь всегда же мы, рассказывая о других, привносим что-нибудь от себя! Вот почему произошедшее с другими кажется произошедшим в какой-то мере с нами! А у меня даже и так бывало: что-нибудь случится с кем-нибудь, мне понравится, и я через какое-то время как будто нечаянно подумаю или скажу, что это со мной было....

3

Если бы не эта страшная война, то все, наверное, оставалось по-прежнему. А тут ни Совка, ни Федя не заметили, как выросли.

Федя перестал приносить ей букетики, и сразу, должно быть, потускнел в ее глазах. Когда он спохватился, было поздно: Совку стал провожать с вечерки другой парень. Дело было не в одних цветах: тот, другой парень, из прицепщиков перешел в трактористы, а Федя все продолжал пасти коров. Если говорить точнее, то он забыл про букетики в тот день, когда увидел Совку на колесном тракторе вместе с Витей Корольковым. Трактор, сверкая железными щипами, бешено мчался по до-

роге, стреляя в дома кольцами дыма. Совкины волосы разевались по ветру, ее опьянили грохот и дрожание трактора, запах горючего, и она не замечала ни Феди, стоявшего на обочине дороги, ни испуганных коров, ни бегущей навстречу улицы...

Летом того года, когда под Сталинградом готовился знаменитый котел, на Бадонках произошли новые изменения: старика Игната Редчанкова, белобородого, румянощекого, очень похожего на Деда Мороза, поставили полеводческим бригадиром, а его сына Федю из подпасков перевели в пастухи. В помощниках у Феди оказался молоденький лейтенант, два месяца пролежавший в подольском госпитале после тяжелой контузии. Вырос лейтенант в городе, а в деревне пожить ему посоветовал госпитальный врач. С виду лейтенант казался вполне здоровым, только плохо говорил и, может быть, из-за этого немножко дичился людей. Он обычно слушал, не отвечая, сильно хмурился, темнел лицом, синие глаза делались еще более синими, как будто он вспоминал что-то и никак не мог вспомнить. Слух у него восстанавливался плохо, и, чтобы обратиться к нему, надо было дотронуться до него или поймать его взгляд. Вел себя лейтенант странновато: он отказался от должности пастуха, а согласился быть Фединым помощником. У Феди не укладывалось в голове: как он, не слышавший ни одного боевого выстрела, не видевший ни одного живого немца, будет командовать лейтенантом, дважды горевшим в танке? И он старался во всем ему подчиняться, мгновенно исполнял любую его просьбу. Федя только числился главным, а на самом деле он, по своей воле, продолжал оставаться подпаском. Лейтенант был всего на три года старше Феди, но Федя уважал его больше, чем кого бы то ни было в деревне, и нередко обращался к нему по-военному. Они быстро подружились.

Лейтенант любил облачные, пасмурные дни, дождю радовался больше, чем солнцу, и Федя не мог понять этого. Подражая лейтенанту, он тоже пытался полюбить такие дни, но у него ничего не выходило.

— Разве хорошо пасти по дождю? — как-то в солнечный день спросил он лейтенанта.

— Хорошо, — после некоторого молчания ответил тот,

— По мокрой траве?!

— Да, по мокрой.

Федя задумался. Днем все было обычно, но он не узнавал лейтенанта, когда в ясную погоду восходило солнце, и вечером, когда солнце закатывалось, обещая хороший день. Бывало, так набегаются за коровами, что Федя где стоит, там и упадет. Отдыхают они на траве или на колодине, чаще всего около речки, и вдруг Федя обнаруживает, что лейтенант опять сидит спиной к закату. Поначалу он не придавал этому значения, но однажды сказал:

— К солнцу сидеть лицом куда интереснее! Я всегда так сижу. Веселее же.

Лейтенант внимательно посмотрел на Федю, посередине, потом натянуто засмеялся, махнул рукой: пустяки, мол, не обращай внимания.

Один раз непонятным своим поведением лейтенант до смерти напугал Федю.

Пасли они коров недалеко от деревни. Место, конечно, красивое, но хлопотное: смотри и смотри, чтобы коровы в пшеницу не зашли! День был на редкость душный и жаркий, багровое солнце клонилось к вечеру, и вдруг что-то стало делаться с небом: полосы света — красные, голубые, зеленые, а у самого горизонта синие и черные — стали пронизывать небо, находили одна на другую, исчезали и снова появлялись, напоминая перекрестья опрокинутые прожектора. Федя с изумлением смотрел на необычный, грозный закат, захвативший половину неба. И чем ярче горело небо, тем жесточе, казалось ему, шла война за Сталинград. Закат виделся совсем близко, за лесом, в котором они пасли коров, и, наверное, поэтому Феде казалось, что война рядом. Оглянувшись, он увидел лейтенанта, бегущего от заката по кочкам, по кустам, по грязи, только брызги разлетаются — как будто под ногами у него снаряды или бомбы рвутся! У Феди дух захватило, когда он подумал об этом. Пятна краснобурых коров, разбросанные по зеленой лощине, показались ему горящими вражескими танками...

Федя не мог понять, куда и зачем бежит лейтенант. Может, он догоняет зверька или раненую птицу?

Федя кинулся за лейтенантом. Но, как он ни старался бежать, ловко перепрыгивая через кочки и зеленые лужи, расстояние между ними не сокращалось.

Около леса лейтенант споткнулся обо что-то, рухнул

и остался лежать лицом к земле, закрыв голову руками. Федя упал рядом с ним.

— Живой? — крикнул он, будто они находились под бомбеккой или артобстрелом.

Лейтенант слабо пошевелился.

— Живой,— обрадованно сказал Федя.

Он ждал, когда лейтенант поднимется, но тот что-то не торопился. Федя стал тормошить его, сначала потихоньку, а потом сильнее.

Лейтенант, все еще тяжело дыша и морщась от боли, сел на траву около низко спиленного пня (об него-то он и споткнулся) и стал счищать грязь с одежды.

— Зашибся? — спросил Федя.

Лейтенант вяло махнул рукой: мол, ерунда, мне плохо не из-за этого.

У Феди отлегло от сердца: глаза у лейтенанта целы, только на щеке небольшая царапина, из нее сочилась кровь.

Федя огляделся, сорвал длинный бархатистый лист, подал лейтенанту:

— Приложишь, и все за минуту пройдет.

— В-видал... как м-меня з-заносит, — к великому огорчению Феди, сильно заикаясь, сказал лейтенант. — Мне, з-знаешь, где с-сейчас... н-надо быть?

— Не маленький, знаю, — сказал Федя, всем сердцем жалея лейтенанта.

— Ты про то, к-как я хорошо... б-бегаю, никому ни с-слова, — попросил лейтенант.

— Само собой,— понимающе сказал Федя. — Подумаешь, за месяц один раз хмурь нашла, — подбодрил он лейтенанта.— Меня тоже от этих коров, от жары да от слепней мутит. Я сам сегодня чуть сознание не потерял.

Лейтенант глянул в сторону заката, схватился за голову, требуя, чтобы и Федя оглянулся.

Впервые Федя не подчинился:

— Да ну его, закат этот...

— Да н-не з-закат... — Лейтенант сморщился от нового приступа боли. — Коровы где?

— Пасутся в пшенице.

— Так беги.

— Теперь-то побегу, — обреченно сказал Федя,— теперь-то конешно... — А сам продолжал стоять: ему показалось, что лейтенанту опять плохо.

Закат все еще был ярким и грозным.

Коровы, целое лето ждавшие, когда же промахнется пастух, зашли на середину пшеничного поля и торопливо, с оглядкой хватали серебристые, а кой-где еще темно-зеленые сладкие колосья. Окрики не действовали, чуть не каждую руками приходилось стапкивать с места. Бич, одного хлопка которого хватало в лесу или в деревне, перестал на них действовать. Феде пришлось поработать и за себя, и за лейтенанта.

— Кончилась моя спокойная жизнь, — сказал Федя, обращаясь только к себе и подчеркивая этим, что лейтенант здесь ни при чем, и, как старик, тяжело опустился на траву возле розово цветущего дягиля. Над длинными метелками цветов по-хозяйски жужжал огромный шмель, но Федя только один раз кое-как взглянул на него.

— Не унывай, — сказал лейтенант, снимая выцветшую гимнастерку и развешивая ее на кустах. Была она мокрая, хоть выжми, и даже на вид соленая.

Федя кивнул на коров:

— Им только один раз в потраву зайти... Они нам дадут прикурить...

Теперь лейтенант, как мог, успокаивал своего напарника, не по годам сметливого и наблюдательного.

— Не переживай... Отвечать... б-будем... в-вместе... В-вдвоем...

— Не выйдет, — сказал Федя.

— Почему?

— А вот увидишь.

— А что тут в-видеть: в-вместе значит в-вместе.

Федя крутнул головой: нет.

Лейтенант ничего не понял. Он только что, остановившись на меже, осмотрел поле и не заметил почти никаких следов потравы — пшеница, как живая, на глазах распрямлялась...

Чтобы Федя сильно не переживал, лейтенант сказал ему, что никто ничего не видел, а если бы и увидел, то в потраву зашли не чьи-нибудь, а колхозные коровы, и что не Федя Редчанков во всем виноват, а он, лейтенант. Ему и отвечать.

— Ты раньше жил в деревне? — спросил Федя.

— Нет.

— Оно и видно.

— А что такое?

— Уж если коровы зашли в потраву, то об этом обязательно узнают. Как пить дать!

Пастухи сидели, отвернувшись от заката, как будто не хотели смотреть на ходившее волнами поле, где только что побывали коровы.

Чтобы как-то растормошить Федю, лейтенант протянул ему свою видавшую виды пилотку.

— Ну-ка н-надень!

Федя медленно, как перед зеркалом, надел пилотку, сдвинул ее немного вправо и набок — и сразу же забыл обо всех своих печалях.

— Ну, вот, — сказал лейтенант, видя, как Федино лицо расплылось в улыбке, и потянулся к полевой сумке, в которой носил теперь обед и где хранилось маленькое двустороннее зеркальце: купил в Подольске, выписавшись из госпиталя, но так и не успел никому подарить.

Федя замахал руками:

— Не надо. Я и так знаю: пилотка мне во как идет! Лучше всех в деревне!

Он с сожалением снял ее и подал лейтенанту. Тому понравилось и Федино хвастовство, и то, как бережно держал он пилотку, и как не хотел расстаться с нею.

Надев бич на руку, Федя быстро пошел в другой конец лощины, чтобы отогнать коров подальше от поля. Резкие хлопки бича, которыми он издали пугал коров, были похожи на одиночные выстрелы, лесное эхо усиливало их и разносило далеко по окрестности. Смирившись с тем, что больше промашки у пастухов не будет, стадо успокоилось и мирно паслось около леса, и только самые блудливые высоко поднимали голову и смотрели в сторону поля. Видели они грозно шагающего с бичом Федю и с неохотой срывали пучки бледно-зеленой травы, не идущей ни в какое сравнение с молодыми пшеничными колосьями.

Лейтенант, превозмогая слабость, отогнал к лесу оставшихся коров, но, видно, поторопился — надо было еще немного посидеть, прийти в себя... Преодолевая головокружение, какую-то непонятную тяжелую тоску и начинавшуюся рябь в глазах — будто стая незнакомых птиц с узкими черными крыльями бесшумно летала перед ним и никак не могла улететь, — он схватился за косогоре за ветви густой молоденькой березки, постоял, делая глубокие вздохи, и ни за что не хотел открывать глаза. Потом сидел в тени, привалясь к березке и запро-

кинув голову, струйки пота катились по лицу, и он не вытирал их. Медленно, с усилием, вытянул перед собой правую руку, отодвигая нахлынувшее видение: как во время последнего боя в излучине Дона, когда снарядом остановило его танк и в глазах замелькали такие же, как сейчас, незнакомые птицы с узкими крыльями...

Закат потускнел, и ему стало легче.

Он увидел Федю, шагавшего вдоль хлебного поля, вспомнил: завтра в деревне свадьба. Совка, или, как ее несколько раз при нем называли, «Федина невеста», выходит замуж. И впервые после госпиталя подумал: «Прошло столько времени, а я так и не проводил никого с вечерки... Даже не поговорил ни с одной...» Но что делать, если и в хорошие для лейтенанта дни, то есть в пасмурные, когда с ним ничего не случалось, он не мог высаться, а когда засыпал, то сразу же видел, как горит в танке. Вставал с тяжелой головой, без всякой радости смотрел на пробивающиеся к нему лучи солнца и, осторожничая и стыдясь своей осторожности, спускался по крутой лестнице с чердака. О том, что он спит на чердаке, было всем известно. Известно было и то, что ни одна из жительниц Бадонок ночью или перед утром не спускалась от него по лестнице украдкой. С одной стороны, авторитет его рос, а с другой... Для девчат он представлялся крепостью, которую каким-то путем надо было взять, но, казалось, все подступы к ней заминированы...

Лейтенант слышал, как в ветреную погоду черемуха сердечно вздыхала, шелестела листьями, постукивала по крыше, как будто спрашивала: «Лейтенант, ты не спишь? Такой молоденький, столько невест в деревне!..»

Не без намеков проходили мимо дома девчата и пели, явно вызывая лейтенанта на улицу.

Федя — так казалось со стороны — не очень горевал, когда узнал, что Совка выходит замуж за Витю Королькова, которого вот-вот должны были взять в армию.

Отчаянный Витя, с синей полоской пороха под левым глазом, с широкими мужицкими ладонями, работал на колесном тракторе, и, хоть был женихом и до свадьбы оставалось всего несколько дней, не отказывался прийти с «хромкой» на короткую вечерку, которую он неизменно заканчивал песней «На границе тучи ходят

хмуро». Совсем маленькие ребятишки, подростки и девчата подхватывали слова, которые пела вся страна, и так шли по деревне, теснясь поближе к гармонисту.

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны...

Но долго девчата не могли петь о броне и танках, и тогда по деревне разносилась новая песня, которую они недавно разучили.

В той землянке, засыпанной снегом,
Часто видел тебя я во сне,
Твое имя в лесу перед боем
Ножом вырезал я на сосне...

Совка уносила гармонь к Корольковым, которых она теперь не стеснялась, а Витя, если надо было, прямо с вечерки снова шел на трактор.

Часто Совка звала Витю на реку, в лес, в поле. Она знала каждый бугорок и ямку и бесшумно ступала по едва различимой в темноте дороге или тропинке, и видалось: Совка не идет, а летит...

Куда она бежала? Что ей нужно было в лесу и в поле, когда так хорошо сидеть, обнявшись, под черемухой возле своего дома?!

Были и другие хорошие скамейки, и у моста хорошо, и в школьной ограде...

Совка была влюблена в каждый лесочек возле ее деревни, в теплую извилистую речку и широкое разноцветное болото, в котором не смолкала жизнь ни днем ни ночью. Она готова была бесконечно ходить по знакомым с детства дорогам и тропинкам, вдыхать запахи трав, цветов и полей... Ей казалось, что она больше, чем кто-нибудь из бадонских, любит все, что ее окружает; она смотрела, оглядывалась настолько восторженно, что еще минута, казалось ей, и она сама превратится в дорогу или тропинку, в березу с прохладными листьями, в излучину реки или облако... Она хотела, чтобы Витя, уходя на фронт, крепко запомнил все, что она любила. Запомнит все — значит, и Совку не забудет, и никакой враг его не одолеет...

4

К ночи все небо заволокло тучами. Два или три раза — так, для порядка — проворчал гром, и его долгое, глухое ворчание растворилось в шумных потоках дож-

дя, без всякого подкрадывания хлынувшего на землю.

Неурочному дождю радовались в деревне два человека — жених и невеста. В их домах все было припасено, и только ждали небольшого ненастя, чтобы не стыдно было справлять свадьбу в самый разгар сенокоса.

К утру дождь перестал.

Тимошка, маленького роста старик, веселый, подвижный, до удивления похожий на мальчишку, вчера до самой темноты отбивал косы, и к нему с утра, обходя грязь и лужи, заглядывали женщины и подростки. Делились новостями, все больше невеселыми: погибли — один под Сталинградом, другой под Серпуховом — еще два бадонских мужика; как ушел на войну, так ни слуху ни духу про Семена Лозовского... Наталья Цыганкова получила письмо из госпиталя и радовалась, что жив ее Костень — так она звала своего мужа Константина. Он сообщал, что раны у него небольшие, сразу после госпиталя — на фронт. О нем просил сильно не переживать: он уже обстрелянный, знает, что почем, и задаром жизнь не отдаст. И просил еще беречь ребятишек...

Каждый издали узнавал свою косу, сам снимал ее с высокого дощатого забора. Тимошка пристально взглядал на приходившего — будто старался понять что-то еще, недосказанное,— и снова принимался пилить и строгать под сараем с еще большим усердием.

Женщины вчера договорились с дедом Игнатом, чтобы он разрешил косить поближе к деревне, а не за двенадцать километров в Тонкой падушке: оттуда с покоса только к ночи приедешь. Дед Игнат поскреб в затылке, надвинул на лоб зеленый картуз, чтобы легче думалось, согласия не дал, но и не запретил: мол, делайте, как хотите. С бабами, он знал, лучше не ссориться. «Бабы, — говорил он с первого дня, как его поставили бригадиром,— сегодня так же поработаем, а завтра отдохнем!» Бабы смеялись или молчали, зная, что отдыха, наверно, никогда не будет.

Чтобы бригадир не сердился, они уговорили заняться стряпней самых древних старух.

Косили в колхозном утuge, около пасеки. Трава была в пояс, с длинными, пожелтевшими метелками пырея, с веселыми кругами дикого клевера и медуницы, сверкала

тысячами дождевых росинок. Пчелы обиженно взлетали, когда цветы с ярко-зелеными листьями густым веером падали к земле. Зазевавшейся пчеле или уснувшему шмеля приходилось тратить немало усилий, чтобы, отчаянно жужжа, выбраться из-под тяжести скошенных цветов...

Разноцветные ульи стояли на горке в березовом лесочке с редкими соснами. В самом начале горки, близко к дороге, защищенной с северной стороны густым березняком, так и манил к себе маленький сказочный домик с двускатной крышей — зимник для пчел. Другой домик, поновее, стоял в глубине берез — в нем три-четыре раза за лето качали мед. От улья к улью с дымокуром медленно передвигался Максим Зиновьев. Даже отсюда, с падинки, покосчикам было видно, как он хромал: первый комбайнер колхоза «Октябренок» недавно вернулся с фронта без ноги — на протезе. Он грозился в уборочную перейти на свой «Коммунар» с деревянной площадкой для мешков, и все знали: это так и будет. Максим с виду слабенький: кажется, толкни — и упадет, а с пути его не своротишь.

Совка с Витеем просидели под черемухой у дома Корольковых до самого утра, пока не перестал дождь. Несмотря на бесконную ночь, Витя косил, как будто на своей гармошке играл: прокосы широкие, чистые, никакого отдыха ему не надо было. Совка не уступала.

Ей еще только исполнялось семнадцать, а выглядела она старше, как у нас говорили в таких случаях: «Простились замуж». Полшколы, когда она училась еще в шестом классе, писали ей письма, клялись в вечной дружбе и даже любви, а досталась она Вите Королькову — за его веселость и отчаянность. Один раз, чтобы обратить на себя внимание, семиклассник Витя Корольков прыгнул на лыжах с двухэтажной школы. Нырял с высоких перил мостков в мелкую речку, на полном скаку нарочно падал с лошади — и ничего! Обо что бы он ни ударялся, только крепче делался...

Весной на пахоте трактор гудел сутками — трактористы менялись на ходу. Мотор однажды настолько раскалился, что факелом вспыхнул среди ночи. Прицепщик побежал в деревню, Витя один сумел спасти своего «красноармейца» — так он называл колесный трактор с железным сиденьем, с поблескивающими острыми шипами на задних колесах...

На покосе бадонские как бы заново увидели жениха и невесту. Витя с Совкой и косили рядышком — не хотели расставаться ни на одну минуту! Да и немного этих минут у них оставалось... От Совки глаз оторвать нельзя было: если кто-то из ребят останавливался раньше времени и старательно точил косу, то все знали: не коса притупилась, а на Совку взглянуть хочется! Совка косила в новом платье и чувствовала себя еще более счастливой, когда видела то на одной женщине, то на другой яркую косынку, которой вчера не было, праздничную юбку или кофточку...

Косили весело, подщучивали друг над другом, и никто не обижался. Больше всех доставалось жениху и невесте. Особенно старался Тимошка:

— Совка, обрежь ему пятки, чтоб на других не заглядывался! Всю жизнь твой будет!

Совка, затаенно улыбаясь, качала головой, дескать, не хочет она обрезать ему пятки, и от своей преданности Вите делалась еще привлекательней.

Витя оглядывался, и ее улыбка отражалась на его лице и в каждом его движении.

Кто-нибудь вскрикивал:

— Коси, жених, не ленись!

— Ай да Совка, косит ловко: один раз взмахнет — два шага сделает!

— Го-о-орька-а-а!.. — раньше времени кричал Тимошка, и все смеялись.

— Потерпи, дед, не пропадет твоя чарка!

— Не пропадет,— бодро соглашался Тимошка.

Он только говорил об этом, а сам зелья не любил. Тимошке наскучило сидеть дома под сараем; в углу, под тенью старой березы, он отбивал косы на завтрашний день. Частые удары его молотка сливались со звоном кузнецов, приветствующих солнце.

Бабы радовались, глядя на молодых, себя вспоминали такими, поглядывали на солнышко; часам к одиннадцати оно выкатилось из облаков — чистое, новенькое, как подарок для жениха и невесты! В этот июльский день, звонкий от птичьего гама, сверкающий после дождя каждой травинкой и каждым листочком, людям хотелось хоть на короткое время забыть о своих бедах.

После обеда старшие потребовали, чтобы Совка шла домой и помогла старухам воду носить, пол вымыть,

баню чтобы затопила. Строго-настрого наказали: после бани ничего не делать — должна невеста отдохнуть немного и светиться, как стеклышико! Такое раз в жизни бывает!

Совка, смущенная, ушла.

А жених после трактора пусть лесным воздухом подышит, накосится вволюшку! Потом, на фронте, вспоминать будет, как вместе косили.

Дед Игнат, два раза заглянувший на покос, работой остался доволен. Он хотел придраться, что не вовремя они затеяли свадьбу, но у него язык не повернулся сказать это, когда увидел, как преобразились бабы, как будто все они сегодня выходили замуж!

Игнат Редчанков никогда на здоровье не жаловался, хотя недавно ему стукнуло шестьдесят. Он еще мог сойти за молодого, когда брался за какое-нибудь дело, и, не стесняясь своей белой бороды, мог весело подмигнуть солдатке и вызвать неумелым подмигиванием хохот всей бригады. Но если смеялись лишнего, то дед Игнат намегал, что он умеет не только подмигивать. И тогда смеялись еще больше.

В плохом расположении духа его никогда не видели, порядку в его усадьбе можно было только позавидовать, и когда в колхозе «Октябринок» понадобилось заменить бригадира, ушедшего на фронт, то на его место, не задумываясь, поставили Игната Редчанкова. Он сразу же согласился, как будто давно ждал этой должности; одним словом, цену себе не набивал, отлично понимая, что выбирать не из кого.

Глаз у него был зоркий, и, возвращаясь в седле с дальнего покоса, где, как считал Игнат, и надо было начинать косить, он еще издали заметил потраву в пшенице. Медленно натянул поводья, останавливая своего Гнедка и недоумевая, как могло произойти такое не с кем-нибудь, а с его сыном Федей, которому в августе исполнялось семнадцать, по поводу чего он проговорился однажды, что в день своего рождения подаст заявление в военкомат, чтобы его добровольцем взяли на фронт. Неладно получалось: самого старшего Редчанкова только что поставили бригадиром, самого младшего — пастухом, и сразу же, как нарочно, потрава...

Дед Игнат тут же хотел разыскать Федю и уши ему пообрывать и уже поскакал к лесу, в котором, слышно было, паслось стадо, но на полпути свернул к дороге и поехал к покосчикам. С Федей он решил поговорить вечером. Гнедко сразу же уловил перемену в настроении своего хозяина и, хоть и устал сегодня, без понуканий шел быстрой рысью, готовый при малейшем движении повода перейти на галоп. Дед Игнат заставил себя успокоиться, а вернее, на короткое время забыть о потраве и к покосчикам подъехал шагом, как ни в чем не бывало, даже как будто весело.

Потом заглянул на пасеку, выпросил у Максима бидончик меда для свадьбы и в деревне передал его из рук в руки Совкиной бабушке. И все на шутке, с легким сердцем.

Возле правления по-молодому соскочил на землю, привязал к столбу присмиревшего жеребца.

В канторе, кроме бухгалтера, никого не было.

Дед Игнат посидел, отдохнул на стуле — седло ему за день надоело, — долго придирично смотрел на хилого, но дотошного бухгалтера Чемизова, но тот делал безучастный вид, а может, и в самом деле не замечал тяжелого бригадирского взгляда, и тогда дед Игнат строго спросил: известно ли бухгалтеру колхоза о потраве? Тот утвердительно кивнул и, отвлекаясь от бумаг, добавил, что доложит об этом на правлении.

Такой ответ деда Игната не устраивал, и он грозно поднялся со стула.

— А чего ждать? Штрафуй сейчас же! Чтоб не было лишних разговоров.

Бухгалтер без всякого заседания правления оштрафовал бригадирского сына на пятнадцать трудодней.

Дед Игнат про себя ругнул Чемизова: потрава небольшая, хватило бы и десяти трудодней!

— Как с лейтенантом быть? — поинтересовался бухгалтер.

— Лейтенанта не трогай.

Он хотел сказать Чемизову, чтобы тот не скучился и выписал распоряжение на пять килограммов меда для свадьбы, но понял, что без председателя ничего не выйдет, и решил взять грех на себя.

«Что же это за свадьба, — думал он, выходя из конторы, — если на столах не будет меда?!»

Совка мылась в бане одна.

В два небольших оконца — от реки и с огорода — дрожащими лучами падал предвечерний свет, но углы все-таки оставались неосвещенными, и она зажгла лампу. Сумеречность в углах исчезла, в бане стало светлее и загадочнее оттого, что лампа горела днем. Маленькое пламя колебалось, вздрагивало, грозило погаснуть, пока Совка раздевалась, плотнее прикрывала двери и ходила по бане, расставляя в нужном порядке банную утварь. Она не заметила, как стала подчиняться маленькому, капризному, казалось, только что исчезнувшему и опять вспыхнувшему огоньку лампы-коптилки: движения Совки сделались медленными, плавными, как будто она не в бане мылась, а совершала древний ритуальный танец. Она восхищалась каждым своим шагом по теплому, быстро просыпающему полу, движением руки, в которой она держала эмалированный ковшик, наклоном своего тела, гибкого, сильного и нежного, когда наливала горячую, а затем холодную воду в звенящий глубокий таз; наполняясь, он переставал звенеть, и тихим шумом и плесками шептал молоденькой Совке о ее красоте...

Отхлестав себя распаренным березовым веником — так делали взрослые женщины, — она, задохнувшись от горячего пара, волнами идущего от высокой каменки, скользила с полка, бросила веник, приоткрыла низенькие двери, дышала и никак не могла надышаться свежим, пахнущим рекой и огородами воздухом... В приоткрытые двери она видела между крышей и тыном треугольник неба, а в просвет между тынинами — узкую полоску своего покоса, красно поблескивающую речку и болото, с которого доносились голоса диких уток и незнакомых птиц; она слышала ночью их странные, загадочные голоса...

Пол в бане был чистый, теплый, она его еще раз окатила горячей водой и, упервшись в толстые половицы круглыми коленями, нагнулась над тазом, опустила в него густые, длинные волосы. Они медленно намокали и делались тяжелыми... Она отжимала их и снова опускала в воду... Потом несколько раз вставала во весь рост, наклоняя при этом голову — потолок был низковат, — волосы касались ее белых, покатых бедер, и обливала себя напоследок «летней» водой... Приходя в восторг, го-

товая вскрикнуть — до того ей хорошо было,— она вдруг пугалась, что кто-то видит ее, и по привычке, как на реке в камышах, когда купалась с девчонками, мгновенно приседала или старалась отойти дальше от маленького запотевшего оконца...

Потом, когда еще не оделась, она испугалась качнувшихся веток бурьяна, с которых вспорхнул воробей. И, она еще больше полюбила и этот высокий бурянный куст, приветливо кивающий в задымленное оконце белозелеными густыми ветками, и воробья, перелетевшего, наверное, к другим воробьям или погнавшегося за разноцветной бабочкой....

Так вот для чего женщины заставили ее истопить банию и мыться одной, — чтобы она хорошенъко разглядела свою красоту, чтобы знала, что от нее зависит чья-то жизнь: захочет — помилует, а захочет — казнит!

Извилистая теплая речка с ярко-зелеными камышовыми зарослями, глубокая у моста, была внизу — за огородами и приусадебными покосами, посредине которых стояли первые зароды сена, высокие, еще не осевшие и не огороженные. Совка слышала воинственные голоса ныряющих с моста ребятишек, и, как никогда, они были приятны, желанны ей, и она, переполненная новыми чувствами, мечтательно улыбалась и хотела приблизить время, когда с речки вот так же будут доноситься голоса ее детей!

Вышла на крыльцо бани, вытерлась длинным, грубо-ватым льняным полотенцем.

Воробы с шумом перелетели из огорода на большой куст черемухи и никак не могли успокоиться; что-то кричали друг другу, а может, объясняли Совке, что зря она их испугала: они только играли, качались на подсолнухах, но не трогали их — семечки-то еще зеленые!

Она оделась, постояла у колодца и мимо огуречной гряды и подсолнухов с двумя ведрами воды пошла к дому.

Старухи, нахваливая Совку — какая она стала румяная да красивая,— около ворот взяли у нее ведра, как будто у маленькой девочки, которой еще рано ходить за водой. Сказали — и опять как будто маленькой девочке! — что больше от нее никакой помощи не надо.

Совка расчесывала волосы и никак не могла отдельаться от тревоги, неизвестно откуда взявшейся. На по-

косе, дома, пока мыла полы, топила баню, и вот только что все было хорошо, радостно. Так что же случилось сейчас, когда она присела на стуле перед зеркалом с широким гребнем в руке?

Через открытые в избе и в сенях двери она услышала далекий звон колокольчиков и, не понимая, что с ней происходит, выбежала за ворота, увидела первых коров, выходящих из леса. Стадо еще издали, вразнобой, громким мычанием предупреждало хозяев, чтобы открывали ворота и поскорее готовили пойло.

Черно-пестрая, с большими рогами корова, боясь, что молодая хозяйка передумает так рано впустить ее, перед домом прибавила шагу и не вошла, а забежала в просторную ограду, остановилась возле крыльца, еще раз известив тихим мычанием о своем появлении.

Совка закрыла ворота и только после этого поняла, зачем она осталась на улице, — ждала Федю. Он был еще далеко, иногда останавливался возле чьего-нибудь дома, о чем-то спрашивал, что-то отвечал...

Зачем он ей вспомнился?.. Ну, приносил Федя цветы... Ну и что?

Она была в лучшем своем платье — шелковом, в ярко-белую и голубую полоски. От этих бело-голубых полос, подчеркивающих стройность и округлость Совкиного тела, нельзя было оторвать глаз, они сводили с ума ее ровесников, безнадежно, как и Федя, в нее влюбленных...

Улетела Совка!

Федя шел по деревне с чувством обиды на себя, что у него с Совкой дальше детской игры не пошло, чего-то не хватило... Но его чувства были так глубоко запрятаны, что и самой Совке их не прочитать! В левой руке он держал букетик лесных цветов, в правой — бич, которым подгонял коров.

Перед Совкиным домом спрятал букетик за пазуху.

— Ну вот, Федя, я и замуж выхожу... Ты не обижайся на меня?

У Феди в глазах потемнело от этих слов: он и так знал, что она выходит замуж, но слышать об этом от нее было выше его сил. Он долго стоял, не зная, что ответить, и наконец сказал:

— А за что мне обижаться? Не всегда же любят того, кто цветы приносит...

Никогда Совка так ласково не смотрела, никогда ее голос не был таким нежным! Федю это даже кольнуло: зачем она говорит и так смотрит, ведь теперь это ни к чему?

«Ах, Федя, Федя... — говорили Совкины глаза. — Милый ты мой пастушок!..»

— На свадьбу придешь?

Федя молчал, любуясь Совкой, поглубже запрятал обиду, а вместо ответа достал из-за пазухи букетик лесных цветов, но не бросил его Совке, как бывало раньше, а бережно передал в руки.

— Ах, Федя, ну какой же ты молодец! Вспомнил... Ну, какой же ты...

Совка не договорила и, как тогда, в детстве, убежала.

А Федя пошел дальше по деревне, крепко держа плетеный, тяжелый бич — и сложенный в несколько рядов на плече, он свисал чуть не до земли.

6

Еще засветло к деду Игнату прибегали родственники жениха невесты, просили не опаздывать на свадьбу. Без бригадира, все понимали, свадьба получится самовольной.

Редчанков, только что приехавший с полей, выслушивал приглашение, не отказывался, но и не торопился идти: он сидел на крашеной лавке, чуть склонившись набок, к подоконнику, принимал к сведению наперебой сказанные слова, молча, едва заметно, кивал: мол, понял, идите. Нездоров был Игнат или так умотался за день, что даже сидеть не мог?

Аграфена, высокая, дородная, никак не похожая на старуху, сердилась на Игната:

— Генерал нашелся! Зовут — иди. Как же ты не пойдешь? — не понимала она, разодетая во все праздничное и терпеливо ждавшая, когда муж поднимется с лавки, к которой он как будто прирос. — Переоденься, — просила она, — не куда-нибудь идем, а на свадьбу. И так всю жизнь в одном ходишь. Георгии надень, чего им вляться в ящике.

Игнат продолжал сидеть, что-то обдумывая. Причин у него много было так вести себя: Совка, считал он, рановато выходит замуж — надо бы подождать еще годик.

Во-вторых, и это самое главное, он привык к мысли, что Совка будет его невесткой; и вроде все шло к тому, а Федя в самый ответственный момент, когда девку надо было держать покрепче, отпустил ее. А уж коль проморгал, прямо надо сказать, королеву («Засмотрелся на коров!» — как-то невесело пошутил он над сыном), то нечего лезть с цветочками к чужой невесте, да еще на виду у всей деревни! Кому это понравится?! Ишь храбрый какой! Ишь внимательный какой нашелся! Где раньше-то был?!

Игнат готов был все забыть — другого-то выхода не было! — но букетик, маленький букетик лесных цветов стоял перед глазами — и хоть ты что делай! А дальше в рассуждениях Игната выходило и вовсе что-то несуразное: потрава была вчера, цветы — сегодня, а у него все отчетливее вырисовывалась и все больше походила на правду такая картина: пока Федя собирал цветы, коровы и залезли в пшеницу! Он знал: не так все было, но через какое-то время так будут говорить в деревне, чтоб посмеяться над Федей, а стало быть, и над Игнатом. Над стариком бы, ладно, стерпел, но когда смеются над бригадиром — это гиблое дело.

Жена, зная его характер, ждала, когда он остынет.

Но она его все-таки поторапливалась, и на свадьбу он пошел не совсем остывшим.

Георгиевские кресты, полученные в германскую, он, конечно, не надел, но пообещал жене: «Разобъем фашистов под Сталинградом — неделю снимать не буду!» А в остальном во всем послушался: малость укоротил ножницами бороду, белую косоворотку с цветами надел — «подчепурился», как он говорил в таких случаях. Все у него вышло очень быстро, по-военному, и это немного тревожило Аграфену: не в духе старик, чем-то недоволен, и она с опаской взглядала на него, всячески умиrottворяла, только чтоб не сердился на Федю, ни на кого не сердился... Неуступчивым Игнат сделался, как поставили его бригадиром, и Аграфена иногда терялась, не понимала, хорошо это или плохо.

Не успели они ворота закрыть, как увидели спешащую к ним Корольчиху. Она еще издали разулыбалась, когда увидела, какие принаряженные Игнат с Аграфеной. Главное — Игнат. Корольчиха вся испереживалась — боялась, что он опять начнет свое бригадирство показывать, да и умотался старик за день: приляжет,

заснет, а потом сам же еще и обижаться будет, что не позвали.

— Все собирались, только вас нету,— сказала она без всякого укора, всем своим видом показывая свое особенное отношение к Редчанковым.

Игнату такое обращение понравилось, усталость и недомогание сразу же куда-то подевались, он даже тряхнул плечами, как бывало в молодости, по-орлиному повел глазами, рассмешил женщин. У Аграфены повеселило на душе: слава богу, оттаял старик, теперь можно не переживать, не стыдиться перед людьми за его придиричивость. Аграфена как-то сказала ему, что с народом надо помягче быть, так он ее чуть не до слез довел. Теперь вот свадьба ему не нравится... Умнее всех не будешь! — уж это Аграфена знала и, где могла, укорачивала Игната. Но, кажется, все идет как надо: Игнат ее под ручку взял, с Корольчихой разговаривает, как будто она ему лучшая подружка! А ведь сердится, что Витя отбил у Феди такую невесту! Аграфена не сильно переживала, имела на этот счет свое мнение: какая женисьба, когда еще от полу не отрос, когда еще в армии не был? Отслужит, отвоюет — тогда другое дело!

— Федя там? — не глядя на Корольчиху, хмуро спросил Игнат.

— Пришел, — поспешила ответить Корольчиха.

И опять в ее голосе, кроме приятных ноток, Игнат ничего не уловил. Но он все равно остался недоволен ее ответом, вернее, тем, что Федя не очень-то гордым оказался: пальцем поманили — и прибежал! Не-е-ет, на его месте Игнат не пошел бы. Не тот характер у Феди, не то-о-от, мало чего от отца досталось — весь в Аграфену! Как по писанию живет: в одну щеку ударят — он другую подставляет! Игнат чуть не плонул с досады на дорогу, но сдержался: рядом Корольчиха идет, она Игнату ничего плохого не сделала. Да и Аграфена ни в чем перед ним не виновата.

Дом Корольковых, с новой пристройкой, стоял на взгорке, а внизу, сразу же за огородами, чернела кузница, из которой раздавались удары молота. С такой силой мог стучать по наковальню только Ленька Родин, молотобоец. У кузнеца Шарафутдинова, когда он брался за молот, удары были слабее. «Молодец, Ленька, — мысленно похвалил Игнат подростка-богатыря. — Молотит кувалдой, и нет ему никакого дела до чьей-то свадь-

бы! А мой, поди, уж за столом сидит, про все на свете забыл. Ну, ниче, я ему напомню...» Сердило Игната и то, что Федя сегодня не ночевал дома — под лейтенантскую защиту ушел. Это хорошо, что сын сразу же подружился с лейтенантом, но Игнат не любил, когда его дети оставались у кого-нибудь ночевать.

Павел Акимович, или, как его звали, Королек, был отличным плотником, и как-то незаметно так вышло, что новые бревенчатые стайки, похожие на веселые домики, в которых могли бы жить люди, — игрушечная летняя кухня, амбар, маленький сарайчик (большой тоже был) — настолько потеснили ограду, что от нее остались только два или три узких, извилистых прохода, где в потемках запросто можно было заблудиться. Королек не хотел занимать постройками ни одной сотки огорода. Жадности тут никакой не было, а ему нравилось, чтобы все стояло рядом. Игната вот еще что удивляло: сам Королек огромного роста, веселый, даже на улице, рассказывая что-нибудь, размахивал длинными руками, а у себя в ограде расхаживать ему было негде. То, как выглядел Королек, как любил во всю ширь размахнуться на гулanke, требовало, по рассуждению Игната, и просторной ограды, а иначе казалось, что хозяин дома, стоит ему только забыть, начнет задевать то локтем, то плечами об углы своих многочисленных построек, которые начали сразу же от крыльца. И только баню Королек поставил в огороде. Но даже здесь он остался верен себе: баня стояла рядышком с колодцем!

Игнат попросил Аграфену, чтобы она позвала Федю, и задержался в ограде, возле сарайчика, на стенке которого чего только не было навешано, но все размещалось в строгом порядке.

— Поговорить надо, — сказал Игнат, видя, что Аграфена не хочет без него заходить в избу, и она, согласно кивнув, скрылась в дверях вместе с Корольчихой.

Федя вышел не сразу.

— Тебе что, дома места не хватает? — как можнотише сказал Игнат: он не хотел, чтобы его слышали заходившие в ограду старики Шабалковы.

Федя молча, с удивлением смотрел на отца: таким злющим он его еще ни разу не видел.

— Что смотришь исподлобья? — Игнат уже и сам не знал, к чему бы придаться.

— Я хорошо смотрю, — сказал Федя.

Игнат, понимая, что неправильно делает, нажал на самые больные струны:

— Тебя кто звал на свадьбу?

— Совка.

— А жених тебя звал?

— Невеста главнее жениха, — сказал Федя.

И тут на Игната нашло затмение: он схватил висевшую под сараем ременную узду и вытянул Федю по спине. Федя легонько шевельнулся, как будто его не уздой ударили, а комар укусил. Он был настолько оскорблен, что не почувствовал боли.

— За что?.. — только и сумел сказать он.

Ударив раз, Игнат уже не мог сдержаться и после каждого взмаха уздой приговаривал:

— Вот тебе за пшеницу, за то, что не ночевал дома, за Совку, что отпустил, за сегодняшний букетик...

Федя не убегал от отца, не защищался, а ждал, когда тот образумится.

Шабалок с Шабалчихой, покачивая головами, смотрели, что вытворяет Игнат. Из избы высыпали бабы.

Совка, будто с неба слетела, оказалась между Игнатом и Федей. Корольчиха повисла на Игнатовой руке.

Старик настолько был уверен в своей правоте, что смотрел, кому бы еще всыпать. Тут ему и двинула кулаком между лопаток Корольчиха.

И он остановился. По-хозяйски, излишне старательно, повесил узду на старое место.

— Вот бы кого на фронт! — запоздало выкрикнула Шабалчиха. — А то с бабами воюет!

— С меня везде толк, — похвалился Игнат.

— Бригадирское ли это дело — уздой махать? — крикнула Корольчиха, готовая еще раз стукнуть Игната: такой день, а он скандал затеял!

— Некогда сейчас свадьбы справлять, — неловко оправдался Игнат.

Бабы шум подняли:

— Не это всегда время найдется!

— Нам не в первый раз: мы и свадьбу справим, и сена накосим!

— Ишь командир выискался! Разве можно так делать?!

— Война, можно, — защищался Игнат.

— Ты на войну не сваливай! Ты перестань самоуправством заниматься!

— Поговори у меня, — пригрозил дед, — и тебе достанется... Платье заголю...

Раздался хохот.

— Ты че, дед? Кто нам запретит повеселиться маленько?

— Я.

Над ним снова засмеялись.

— Ну, дает Игнат!

Старик растерянно оглядывался, отыскивая глазами Федю. Но его у сарая уже не было. Игнат понял, что лишку дал: не надо было накидываться на сына. И прекаться с бабами — пустое дело. Его длинные, голубовато-пепельные волосы спутались, усы обвисли, и только подстриженная борода воинственно топорщилась.

«Зря не надел крестов. Ведь просила же Аграфена. Как знала... При них я бы вел себя аккуратнее — не налетел бы на Федю...»

Он боялся встретиться глазами с Аграфеной, но ее в толпе не было.

«Со стыда ушла домой... А Федя, наверно, к лейтенанту убежал... Прости меня, господи, не хотел!» — молча взмолился Игнат.

Бабы понимали: старик и сам не рад неизвестно откуда взявшейся свирепости, перестали шуметь, да и не до Игната им, если разобраться, — свадьбу справлять надо. А со стариком у них еще будет время поговорить — никуда он от них не денется! Они Федю жалели...

Игнат увидел Корольчиху, выходившую из сеней со стаканом, и смотрел теперь только на нее.

— Держи стакан! — приказала Корольчиха.

— Что здесь? — осторожно спросил Игнат. Вода ему была ни к чему.

— Пей, не спрашивай.

Игнат, в отчаянии махнув рукой — мол, теперь ничего не исправишь, — жадно начал пить из стакана. Он чему-то удивился, медленно обвел всех глазами, будто старался запомнить каждого, кто видел, как он затеял драку в чужой ограде, и, может, от стыда, а может, от водки — ему вдруг стало жарко. Уши его сделались фиолетовыми, похожими на петушиный гребень. Он отдал стакан Корольчихе, поправил на себе поясок с раз-

ноцветными кистями, широко расставил руки, как будто после всего, что набедокурил, собирался пуститься в пляс.

Ребятишки наблюдали за действиями Игната с высокого, недоступного для взрослых маленького сарайчика. Напоминая своей недоверчивостью веселую воробышку стаю, они сидели на самой верхотуре, готовые при малейшей опасности скатиться по крыше в огород, где их мгновенно скроют заросли крапивы, конопли и подсолнухов.

Все ждали, что будет дальше.

— Сивый ты, щербатый пес, — сказала откуда-то появившаяся Аграфена. — Кого больше любил, того и опозорил на всю деревню. Разве он тебе простит?.. Да нигде в жизни!

Игнат и такими словами Аграфены остался доволен: все-таки подошла, сказала. Хуже, если бы не стала разговаривать, тогда бы тяжельше было...

Игнат нисколько не сомневался, что его за такое поведение надо выгнать из ограды, а ему стакан водки подали, чтобы, значит, пришел в себя... Под руки взяли Игната, в дом ведут, за стол, как будто боятся, что убежит... Провинился — и ему же еще внимание!

— Ах вы, бабоньки мои!.. — слезливо выкрикнул начавший хмелеть Игнат. В его все слабее повторявшемся выкрике «Ах вы, бабоньки мои!..» слышалось сожаление о своем поступке, восхищение бабоньками: все-то они, горемычные, понимают, все могут. Он наперед знал, что ничего ему не будет, но эта безнаказанность на какой-то миг сделала его не крепче, а слабее, и он, переступив высокий порог корольковского дома, потонул в шуме, возгласах, в переборах начинавшей играть гармони.

7

Помнится, отец раньше рассказывал про свадьбу с большей живостью.

«Зачем такие подробности?» — не понимал тогда я.

А сейчас он их почему-то опустил.

Наверно, его заедало, что я не женат, хотя давно пора было. Но все время что-нибудь мешало; сначала я ссыпался на учебу, и с этим мои старики соглашались, а теперь, когда подвинулось к тридцати, невесты подходящей не было: или девчата, на которых я останавливал

свой взгляд, были слишком разборчивы, или я упустил время и сделался привередлив.

Из прежнего рассказа о свадьбе мне запомнилось, как Тимошка осыпал молодых овсом и приговаривал:

Сколько кочек,
Столько дочек,
Сколько пеньков,
Столько сынов!..

После Витиной и Совкиной свадьбы в тот же вечер исчез Федя.

Где только его не искали — никаких следов!

Аграфена Редчанкова ходила по деревням и у каждого встречного спрашивала: «Вы моего Федю не видели?»

На нее сочувственно взглядывали, что-нибудь отвечали и, не зная, как помочь, проходили дальше. Иные принимали ее за сумасшедшую.

Иссохшая, почерневшая от горя и августовской жары, она вернулась домой.

Написали родственникам. Ответы пришли один похожий на другой: не был, не заходил, не приезжал.

Игнат, не зная, куда себя девать, работал теперь не за двоих, как до этого, а за троих. Ему в глаза было страшно взглянуть, такие они сделались глубокие, горестные, недоуменные... Разве он не наказывал своих старших сыновей, которые были теперь на фронте? Да и найдется ли хоть один подрастающий мужчина, которому не попадало от отца или от матери? Тогда, выходит, всей деревне разбежаться надо было?

А затем, как-то уж очень неожиданно, из деревни уехал лейтенант.

И тогда у Игната затеплилась надежда: не с лейтенантской ли помощью исчез Федя?

Дважды появлялся он в иркутской квартире: один раз утром, чуть свет, и поздно вечером.

— Где он? — еще с порога спросил первый раз Игнат, заглядывая лейтенанту за спину.

Лейтенант хмуро посмотрел на бадонского бригадира и в свою очередь спросил:

— Кто?

— Федя, вот кто, — обиженно и в то же время требовательно сказал Игнат.

— Н-не знаю, — ответил лейтенант.

— А чего краснеешь?

Лейтенант дотронулся ладонью до своих щек, словно на ощупь определяя, сильно он покраснел или нет, и так же испытующе посмотрел Фединому отцу в прищуренные глаза, не выдержал и отвернулся.

На столе, у окна, лежали разбросанные как попало книги, чистая бумага, карандаши. Над кроватью висела новенькая географическая карта СССР, на ней какие-то военные обозначения... Игнат задержал на них взгляд, отметил, что Москва от этих обозначений находится все еще в опасной близости. И уже сдержаннее сказал:

— Не морочь мне головы, лейтенант. Неужли Федя не зашел и не поговорил с тобой?..

Продолжая сочувственно взглядывать на старика, лейтенант подал ему плетеный стул и быстро исчез на кухне.

Он вскипятил на примусе чайник, усадил Игната за стол. Старик ни о чем не мог говорить и спрашивал только о Феде: он был уверен, что его сын прячется где-то здесь, поблизости...

Игнат оставил лейтенанту баночку свежего масла, с десяток яиц, меду и пожелтевшего зимнего сала, которое на вид было не очень, а на вкус — язык проглотишь.

— Эх, ты, — укорил он лейтенанта, когда они встретились во второй раз. — А еще на фронте был... командиром танка, а старого солдата за нос водишь... Может, Федька в шифонье сидит?

Игнат, конечно, с отчаяния сказал последние слова, они у него сами собой вырвались, но лейтенант нисколько этому не удивился, подошел к шифоньеру, оглянулся, спрашивая взглядом: открывать?

— Не надо, — сказал Игнат, а сам подождал, когда тот откроет дверку желтого шифоньера.

Там не только Феди, но ничего, кроме офицерской одежды, не было...

И вдруг как ножом резануло по сердцу Игната: шифоньер, в котором не было ни одного женского платья, ни одной женской кофточки, кричал об одиночестве лейтенанта!.. Чисто прибранная комната, лучи солнца, легко проникающие через вымытые большие стекла, показались Игнату холодными, а живые цветы на подоконнике — неживыми...

«Где мать лейтенанта? Где сестра? Где его невеста?» — почему-то не у лейтенанта, а у себя мысленно спрашивал Игнат, не в силах сдвинуться с места.

Продолжая коситься на шифоньер, как на что-то одуванченное, Игнат осторожно спросил:

— Дружочек, у тебя есть кто-нибудь из близких родственников?

— Были... До сорок... п-первого... — медленно, с запинками говорил лейтенант, как будто доставал слова с высокой полки, до которой никак не дотянуться.

— Там все остались... — медленно проговорил Игнат и сердитым кивком указал в окно, на запад, где шла жесточайшая в мире война.

Лейтенант ничего не сказал, опустил взгляд и смотрел на свои сапоги, которые он каждый день чистил до блеска, как будто убеждал кого-то, что в тылу он ненадолго и не сегодня завтра окажется на передовой по всей форме, как и полагается офицеру.

«Что отвечать, — подумал Игнат, — когда и так видно: нет у него никого на всем белом свете! А в деревне держался, будто он маменькин сынок, будто его изблюдовали... Молоде-е-ец, не любит жаловаться...»

Была у лейтенанта, пока они сидели за столом, единственная жалоба: самое тяжелое время, каждый человек на счету, а его на фронт не пускают! Говорят, вы здоровливайте, а лечения — никакого! Один совет лучше другого: отдыхать, почаше бывать на свежем воздухе, не волноваться, не думать о войне... Тут лейтенант сам рассмеялся и Игната рассмешил. Разговор у него в военкомате получился примерно такой:

«О чем должен думать офицер в военное время, если не о войне?» — спросил он довольно-таки симпатичную молоденькую женщину, военврача.

«О чём-нибудь приятном», — ответила она и улыбнулась лейтенанту.

«О чём же?» — повторил свой вопрос лейтенант, сдавший, что время сейчас для шуток неподходящее.

«В жизни много приятных вещей...» — нисколько не сомневаясь, ответила врач.

Она с удивительной теплотой смотрела в глаза лейтенанту. Он даже смутился и некоторое время молчал. «Вы мне нравитесь, лейтенант, — говорил ее взгляд. — Вы мне очень нравитесь!..»

Или в самом деле так ее взгляд говорил, или он все это придумал, но в нем что-то дрогнуло... Он конечно же ничему не поверил, пришел в себя и все тем же неподдающимся голосом попросил:

«Назовите мне хотя бы одну из этих приятных вещей... Хотя бы одну!»

Врач долго думала, а может, просто смотрела на него и, ничего не придумав, сказала, весело блестя глазами:

«Если у вас совсем нет фантазии, если вам не о ком думать, тогда думайте... обо мне...»

Им никто не мешал, — они были в кабинете одни, — и она, наверное, развлекала себя: ведь от этого никому плохо не было!

Лейтенант, сам не зная как, нашелся и сумел поддержать разговор, в котором чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег.

«Так вы же сами, товарищ военврач, просили меня не волноваться!..»

Ответ ей понравился, — по крайней мере, так показалось лейтенанту, — и она сказала:

«А вы думайте обо мне повеселее!.. Я вам разрешаю... Только вам...»

Она засмеялась.

Ее смех был для него как музыка.

Никаким больным он себя в это время не чувствовал и впервые за много дней облегченно и радостно вздохнул: он уловил миг, когда началось его выздоровление.

Она все еще улыбалась, говорила ему такое, чему он верил и не верил и не знал, как себя вести с ней... Лицо у нее счастливое — как будто никакой войны и в помине нет, а есть только она, недавно закончившая институт, и молоденький, всегда подтянутый лейтенант, вернувшийся с фронта по ранению... «Такой милый, — читалось в ее глазах, — очаровательный лейтенант, мечтающий только о фронте...»

— Сильно заикался, когда говорил с военврачом? — спросил Игнат.

— Н-нисколько, н-ни разу, — заикаясь и краснея сильнее обычного, ответил лейтенант. — Д-думал, н-ну, все... пройду к-комиссию!

— Не вышло? — весело полюбопытствовал Игнат, довольный рассказом лейтенанта.

— Б-бесполезно.
— Не проворонь, лейтенант.
— Чего н-не п-проводи?
— Понравился ты ей, вот чего. А то бы она с тобой шутки шутить не стала... Как же! К такому военврачу надо ходить на комиссию каждый день!

— Я и х-ходил, — помедлив, ответил лейтенант. — П-пока не в-выгнали...

— Она тебя не должна была выгнать...
— К-какая разница, другие в-выгнали.
— Другие не в счет,— сказал Игнат. — Такого, как сегодня, я тебя больше люблю. Молодец девка, все она тебе правильно сказала: выкинь скучные мысли из головы! А если она тебе... ну, сам знаешь, то приглядись... Оно и на фронте веселее, когда дома ждут. Ты ко мне прислушайся, я плохого не посоветую.

Игнат вышел на широкую площадку четвертого этажа и по каменной лестнице с низкими, удобными ступеньками стал спускаться к выходу.

Лейтенант обогнал его, открыл невидные в полутьме высокие двери.

Игнату не хотелось уходить от лейтенантского дома, окруженного высокими, разросшимися тополями, доставшими своими вершинами до окон четвертого этажа. Внизу, под тополями, было сумрачно, как в настоящем лесу, даже сохранились лужи от последнего дождя. По улице сновали люди, гулко цокали по булыжной мостовой подковы лошадей, и эти удары подков о булыжник больно отзывались в нем. Солнце еще не село, но его не видно было из-за нагроможденных домов.

Игнат вдруг встрепенулся, пошел за широкоплечим парнем, окликнул его, но... это был не Федя. Старик разочарованно махнул рукой.

Лейтенант стоял около дома, ждал, когда Игнат вернется.

И точно: старик не спеша подошел, взял его руку в свою. Оправдываясь, что хотел и нынче застать лейтенанта врасплох и напрасно разбудил его первый раз ранним-рано, глуховатым голосом попросил:

— Ты на меня, дружочек, не сердись: сын-то не у тебя потерялся...

Лейтенант вместо ответа крепче сжал руку Игната — шершавую, твердую, как будто каменную. Так близко от себя он видел старика впервые и только сейчас разгля-

дел ёго могучую, выпуклую грудь, медленно ходившую под тоненькой ситцевой рубашкой.

Расставаться им не хотелось...

Игнат ругнул себя: чего это он пристал к человеку: спросил бы раз — и хватит. Найдется Федька, никуда не денется! Редчанковы не из тех, кто зазря потеряется...

— На молоко деревенское, на свежий воздух приезжай, — настойчиво звал Игнат. Глаза его заблестели, голос потепел. — У меня такие же, как ты, на фронте, вместо родного сына будешь. А за обман — извиняю... Я как на тебя, дружочек, еще в первый раз посмотрел, так все и понял... Приезжай, долго в городе не задерживайся! Весточку дай про сына, от него самого долго теперь известий не будет.

Лейтенант хотел принести Игнату свой китель — у него их два было, — дождь может пойти, холодно будет...

Игнат весело отговорился:

— Мне Аграфена, когда я к тебе поехал, в окно пиджак хотела подать, а я сказал: «Да я в рубашке-то скорей съезжу!» — «Надень,— говорит,— а то сразу видно, что бадонский». — «Как видно?» — спрашиваю. «Да на тебе написано!»

Ему нравилось, что она называла его бадонским, — ничьим другим он и не хотел быть.

Через полгода в сельсовете напротив Фединой фамилии химическими чернилами было написано: «потерялся», а потом исправлено на «без вести пропавший».

8

Тут мой отец не выдержал, встал с кровати и восторженно проговорил:

— А через тринадцать лет вернулся Федя майором! Вот это характер!

На отца сам факт, что Федя Редчанков стал майором, действовал неотразимо. Да и на меня — тоже. И я с сожалением подумал: плохо, что и меня однажды не отхлестали уздой... Ведь прошло четырнадцать лет, как я уехал из деревни! А кто я?! И тут же подумал вот о чем: мой отец — не внешностью, нет — неуловимо похож на Игната Редчанкова, моя матушка — на Аграфену,

даже Совка похожа на одну девчонку, которая жила когда-то в нашей деревне, а потом уехала, а вот я на Федю нисколько не похож! Никуда бы я не побежал, потому что бежать мне было не от кого и незачем. Мне бы при любом случае непременно понадобилось уехать из дома мирно, чтобы всем было от этого хорошо...

Отец рассказывает, и я вижу, как тридцатилетний майор просит остановить полуторку в том месте, где он когда-то пас коров и откуда недалеко остается до деревни. Домой он идет пешком — надо прикоснуться к земле, которая его взрастила, о ней он никогда не забывал и не мог простить себе, что столько лет не был... Постоял около леса — в нем, пастушком, он рвал цветы для Совки... Сюда, к березам и соснам, тринацать лет назад в ужасе бежал от необычно яркого заката моло-денький лейтенант...

Что с ним теперь?..

Кто расскажет о том, как забилось сердце Федора Редчанкова, когда он увидел на взгорке, среди полей и леса, родную деревню и речку, поблескивающую под лучами июльского солнца, в которой, как и тогда, перед войной и в начале войны, поднимая столбы брызг, купались ребятишки! Своими звонкими голосами и неразберихой, ударами маленьких тел об воду они как бы говорили: ничего не случилось на земле, она все так же прекрасна! А ведь у многих из них теперь не было отцов, старших братьев... Эти минуты безмятежной радости были у них конечно же короткими и нечастыми. Вот сейчас или немного погодя станут их звать домой. Они вылезут из воды и нехотя — кто бегом, а кто шагом — в великом огорчении, что таким коротким было купание, покинут берег. Отдых для них — поход за черемшой или за ягодами. В лесу, когда нет старших, можно **немного** поиграть в войну, погоняться за бурундуком, за тетеркой, делающей вид, что не может лететь, а на самом деле старающейся отвести опасность от своего гнезда...

Появиться в родной деревне майору Редчанкову было не так-то просто: он все больше чувствовал себя виноватым. Письма и деньги, аккуратно высылаемые старикам последние четыре года, уже не имели того значения, которое должны были иметь, — поздно, слишком поздно он спохватился!

Почему он так долго не сообщал о себе?

Сердился на отца?

Жестокость на жестокость?

Или были какие-то другие причины?..

Федор Редчанков уже давно обвинял не отца, который его когда-то так унизил, а себя... Он ехал домой не рассказывать, как в войну успел отличиться, как быстро продвигался по службе, — он ехал, а теперь вот шел домой и только об одном думал: как замолить свой грех перед матерью, отцом, братьями...

Перед Совкой он тоже считал себя виноватым — лишь о себе тогда подумал!

Совка овдовела в то же лето и чего только не пересудила. Иногда — и это она не могла объяснить — ей вдруг начинало казаться, что Витя погиб оттого, что она его не так любила... Может, счастливы были бы все, не отвернулась она от Феди?

Аграфена себя считала виноватой: ведь не хотел Игнат идти на Совкину свадьбу — даже больным прикинулся! — а она его уговорила...

Но — странное дело! — появился Федор Редчанков на Бадонках, прошел день-другой, и как будто все простилось всем: никто ни в чем не виноват — ни Игнат, ни Совка, ни Федя, ни тем более Аграфена... События распорядились по-другому, и снова встретились те, кому давно надо было встретиться, — Совка и Федя! К этому времени он был один — семейная жизнь у него не получилась. Жил он с той женщиной, жил, и мирно они разошлись — не могла она ему простить, когда он, обращаясь к ней, даже при людях называл ее именем, а вернее, прозвищем девочки, которой приносил из лесу букетики цветов... Совка залезла ему в душу и смотрела оттуда своими большими зеленоватыми глазами, и больше ни одной женщине не было там места...

Игнат сильно постарел, усох, — как-никак распечатал восьмой десяток! Сдаваться он не собирался: чтобы не выглядеть дряхлым (Аграфена все-таки была на десять лет моложе), он, к удивлению не только своей родни, но и всей деревни, отказался от дедоморозовой бороды и брился два раза в неделю. Каждый год минимум трудодней, а вырабатывал. Записываться в сторожа, говорил он, ему еще рано. При таком поведении деда Игната Аграфена почти подравнялась с ним: если и выглядела моложе, то самую малость.

Старики сообщили сыну свою уловку: как только через девять лет он дал весть о себе и еще денег прислал,

они потихоньку стали распространять по деревне слух: служба у Феди такая — вот и молчал.

Игнат после небольшой рюмочки заморского вина — красного, крепкого и невкусного — намекнул сыну: не в узде ли все дело? Мол, не быть бы тебе, Федор, майором, если бы не тот случай на свадьбе!

К восторгу Игната, сын полностью с ним согласился.

И тут было самое время спросить про Совку.

— За что ты меня тогда уздой отхлестал? — издалека начал Федор.

— Как — за что? — удивился Игнат. — Быстро забыл! — засмеялся он, не отрывая взгляда от больших звезд на погонах, которые ему, хоть ты что делай, казались генеральскими!

— Так за что же все-таки? — переспросил Федор веселым голосом.

— За пшеницу, а за что еще, — уверенно проговорил старик. — За потраву, — уточнил он и гордо посмотрел на сына: мол, отмутузил тебя — и не жалею! И говорил, и смотрел он так, будто Федины коровы зашли в потраву не тринадцать лет назад, а вчера или позавчера.

— Ты ведь, отец, сначала оштрафовал меня на пятнадцать трудодней!

Каждое слово Федор произносил так, будто его тогда не оштрафовали, а премию получил, и не маленькую, да еще на почетную доску занесли!

Игнат восхитился:

— Ты посмотри, Савельевна, он даже помнит на сколько! Ну, молодец!

— Да хватит вам об этом, — счастливым голосом проговорила Аграфена, сама начинавшая верить, что узечка и в самом деле оказалась золотой. Но она все равно боялась, как бы разговор не пошел в ненужную сторону — уж Игната она знала! Да и Федю, хоть и не видела тринадцать лет, тоже знала: копия отец!

— Я ведь что хочу сказать, — продолжал подступаться к своей теме Федор. — За потраву ты меня оштрафовал и второй раз наказывать не стал бы...

— Почему не стал бы? — разошелся дед Игнат. — Заработал — получай! А как же? От отцовской руки никогда худо не будет, — совсем расхвастался Игнат. Ему и впрямь казалось: он, а кто еще, сделал Федю майором!

— Ты всегда был справедливым, — настаивал на своем Федор, — а в тот раз...

— Не забывай,— мигом нашлось у Игната оправдание,— сорок второй год шел.

— Хитришь, отец!

И они от всей души — сначала отец, а потом и сын — расхохотались.

Глядя на них, разулыбалась Аграфена.

— В чем моя хитрость? — всем на свете довольный, спросил Игнат.

Федор не мог понять, для чего отец упорствует, какая ему корысть в этом. Зачем скрывать то, что было? Показывать, как защищал колхозное добро, Игнату не надо — об этом и так все знали, потому и простили его тогда Корольковы, не выгнали со свадьбы.

— Ты на меня за Совку рассердился...

— За букет, — уточнил Игнат. — Цветы должен был Витя принести, ты уж был ни при чем.

Федор видел: отец уходит от разговора о Совке, и он даже радовался за отца, что упорства в нем сколько было, столько и осталось. Значит, поживет еще!

— Вы что-то скрываете... Что с ней? — спросил Федор и вместе со столом подвинулся к матери.

Старик сделал то же самое.

Аграфена неожиданно припекалилась: казалось, она вот-вот расплачется.

— С ней-то, с Сонькой, ничего... — сказал Игнат, пристально взглянув на сына. — Жива, здорова, красивая... Настоящая русалка...

Отцовы слова были слишком туманны, а дальше он не хотел говорить и с какой-то безнадежностью, пока ничем не объяснимой, махнул рукой.

«Какая-то беда с Совкой...» — подумал Федор. Дрогнула рука, в которой держал серебряный портсигар, все у него внутри похолодело.

«Да что с ней?!» — чуть не крикнул он.

— Рассказывай, что уж теперь, — разрешила Аграфена. — Раз спрашивает...

Федор, скрывая волнение, достал из портсигара папиросу, подержал ее, протянул отцу, себе достал другую. Прикурили от затейливой немецкой зажигалки.

Аграфена со страхом взглянула на сына, готовая защищить его от какой-то опасности...

Федор все это видел и не мог понять, что происходит с матерью да и с отцом тоже. Кое-что ему, конечно, понятно было. Отвергла его Совка, и давно надо забыть

про пастушеский рожок, на котором он хорошо умел играть, про букетики, которые приносил из лесу, и... про длинноногую, глазастую девчонку, которая не могла жить без этих букетиков... А он, как только оказался дома, места себе не находит: приворожила она его к себе, что ли?

Я, сам не знаю зачем, поинтересовался:

— Какие Федя ей цветы приносил?

— Да вот твои... вчерашние... Нравились ей кукушкины сапожки...

Было далеко за полночь, дождь кончился, но отец не замечал этого. Мне все время казалось, что он чего-то недоговаривал. За обычными словами его живописного рассказа виделся какой-то скрытый, таинственный смысл, и эту таинственность он, наверное, не смог бы объяснить: ведь у него это само собой получалось.

— Ты ж слушай, не перебивай, — проговорил отец, нисколько не сердясь, что я забегаю вперед, а вот сейчас зачем-то вернул его к самому началу.

— А дети у Совки были? — не удержался я.

— Девочка. Маленькая Совка...

Отец говорил о младшей Совке раздумчиво, с нежностью, и я с изумлением обнаружил, что именно ее-то и люблю давно! Может, потому ничего у меня не выходит с другими, что Совкина дочь прокралась в мое сердце еще в тот, первый, раз, когда отец рассказывал о ее матери? Мне все время виделась молоденькая Совка — мать и дочь слились в моем воображении в одно лицо!

То, что я ни разу не встречался с Совкиной дочерью, нисколько меня не смущало: моя бабка, да и матушка, спавшая на просторной теплой печи, видели своего суженого в первый раз только во время венчания — как-то уж так получалось! Каждая из них тряслась, переживала — только бы не хромой был или не кривой да не горбатый, и обеим повезло: ни одна не жаловалась, я только и слышал, как они хвалили своих мужей.

Я сказал отцу, что готов, не глядя, жениться на Совкиной дочери.

— А ты знаешь, что такое красавица? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, сделал неожиданное заключение: — Она за тебя не пойдет.

Его слова задели меня за живое.

— Чем я плох?

— Не так, чтобы очень плох, но и не настолько хороши, — ответил он. — Ей надо смелого парня — такого, как Федя Редчанков.

Я задумался.

— И в самом деле, гордиться мне нечем... Сразу и не поймешь, что я за человек...

— Ни рыба ни мясо, — полуслутя-полусерьезно добавил отец и засмеялся.

Я знал отцову привычку преувеличивать достоинства чужих людей и преуменьшать своих, давно привык к этому и не обижался.

Матушка вдруг со стоном заворочалась на печи, тяжело вздохнула, — наверное, увидела какой-то страшный сон и вовремя проснулась.

— Я тебе сколько раз говорила: не рассказывай про Совку! Ох, старик, старик...

Она еще в тот раз была чем-то недовольна, когда отец рассказывал эту историю перед моим отъездом из деревни, и сейчас проснулась или от страшного сна, или для того, чтобы меня защитить, хотя этого вовсе не требовалось, и высказать свое отношение к этой давней истории, которая все время казалась новой. И сразу же уснула, чтобы не мешать отцу рассказывать, а мне слушать. Что-то не нравилось ей, она как будто побаивалась Совку...

Чего только не промелькнуло в моей голове, пока отец молчал несколько минут! Уж не ревнует ли она его к Совке? Он ездил в те края на мельницу, а иногда целую зиму там же работал на лесозаготовках или возил из Саян графит. Мать просто так не будет сердиться...

Я первым нарушил молчание:

— За что она не любит Совку?

— А ты не понял еще?

И тут я признался:

— Я чем больше узнаю об этой истории, тем больше загадок у меня появляется!

Отец, как бывало раньше, не стал осуждать меня за непонятливость, сел на своей кровати и все с той же удивительной готовностью сообщил:

— Дело вот в чем, Коля: мать боится, как бы ты не вздумал познакомиться с Совкиной дочерью... По возрасту она тебе как раз в невесты!

Тихая радость медленно стала заполнять мое сильно бьющееся сердце... Отец как будто подсказывал: не в городе моя невеста, а здесь, в каких-то двадцати километрах, если идти напрямки по лесу!

Он еще раньше говорил мне об этом — не о Совкиной дочери, она тогда еще маленькая была; а вообще: что лучше не гоняться за горожанкой, толку все равно не будет!

И свои, и чужие не раз говорили мне: то ли дело жениться пораньше — дети вырастут, семьи начнут заводить, а ты еще молодой!

Рассказ отца — я его не видел, а только слышал в темноте его негромкий, певучий голос — заставил меня проговорить:

— Я едва удерживаюсь, чтобы не побежать на Бадонки сейчас же, ночью!

— Беги, — насмешливо ответил он.

В его насмешке еще раз прозвучала уверенность, что ничего у меня не выйдет.

Я уже не лежал, а тоже, как отец, сидел на кровати.

— Да в чем тут дело?

Ответ последовал не сразу.

— Коля, а ты разве не знаешь, что все Совкины мужья погибли?

— А сколько их было? — тихо-тихо спросил я и все равно почувствовал какую-то неловкость от своего вопроса и даже робость.

— Троє, — тихо и как будто с неохотой сказал отец.

Гибель Совкиных мужей казалась неправдоподобной, фантастической. Я что-то начал смутно припоминать об этом, хотя отец, видно, пропускал раньше это место, как будто оно было запретным.

Игнат искурил папиросу, похвалил табак и только после этого начал:

— Витю Королькова ты, конечно, не забыл... Говорят, смелым да веселым больше везет, а вот ему, славный был парень, не повезло: под Сталинградом в первом же бою в танке сгорел...

Старик прикурил новую папиросу от немецкой зажигалки — она ему понравилась, и он знал, что сын пода-

рит ее перед отъездом, — пыхнул дымом без всякой охоты и бросил ее в консервную банку, служившую пепельницей.

Слова отца Федор принял молча. Тоже перестал курить и в первое мгновение не мог отделаться от странного чувства, что это не Витя сгорел в танке, а он, Федор! Как все совпадает: лейтенант, с которым Федя пас коров, танкист; Витя Корольков погиб танкистом; и он, Федор, закончил танковое училище, прогрохотал на своей тридцатьчетверке через всю Европу и теперь служил в Германии. Сама собой припомнилась, зазвучала песня о трех танкистах, которую так любил Витя Корольков и все бадонские.

Так живут, и песня в том порука,
Нерушимой крепкою семьей
Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой...

Игнат просверлил Федора глазами, чтобы тот лучше понял, кого потеряла Совка да и вся деревня. Стариk знал, что его сын всего насмотрелся, но жалко ему было Витю Королькова.

— Второго Совкиного мужа, Сергея Чупругина, ты тоже знаешь, — продолжал Игнат. — С фронта, как и ты, пришел, можно сказать, целехонький... Погиб в мирное время — на лесозаготовках. Сосна стала падать совсем не так, как ждали, повернулась на пне. Сергей отскочил, а она его достала сучьями... Мужиков, сам знаешь, после войны нету, женщины бедуют, не к кому голову приклонить. Из-за безногого, был случай, разодрались. А у Совки опять новый муж! Третий алятский был, ты его не знаешь. Озеро Аляты переплывал, километр в ширину, а тут у самого берега утонул. Нырнул, ждали, ждали, а его нет. Знаешь, что буряты сказали? Русалкам понравился....

В детстве я слышал рассказы бурят о русалках, живущих в озере и погубивших немало мужчин, и никогда не заплывал далеко. Я давно уж не верил сказкам, но упоминание о русалках, вот сейчас, в ночном рассказе отца, не отдаляло от были, а, наоборот, делало ее немножко сказкой...

И еще помнилось, как в праздники, а то и в будний день к моей бабушке — матери отца — приходили ее подружки, такие же старенькие, как она, и часами рассказывали про свою жизнь... Все тогда были добрыми, уступчивыми, и я тоже. Всякий раз какая-нибудь из бабушкиных подружек одаривала меня свежеиспеченным, румяным кренделем. Съедать его сразу жалко: носишься с ним по двору, в кармане подержишь, если, конечно, есть карманы, насмотришься на него, нарадуешься и только потом не торопясь съешь, разделив с кем-нибудь из своих самых верных друзей! Но еще до того как съешь, не один раз вернешься в избу, где сидят за столом с поющим самоваром старухи в широких разноцветных поневах, или побежишь к скамеечке возле дома, куда они перебрались после чая. Постоишь, послушаешь, о чем говорят, выполнишь какую-нибудь просьбу... Одна из них спросит, слушаюсь ли я отца-мать, собираюсь ли хорошо учиться, помогаю ли всем, кто просит. Бывало, и не ответишь: смотришь, заслушавшись певучим, свободным от забот голосом, и тут уж бабушка выручит — похвалит за что-нибудь, и радуешься: не подвела тебя перед своими подружками, — и горы готов свернуть после этого!

Бывало, и в пасмурную погоду собираются, а мне теперь все те дни, часы, минуты кажутся солнечными, светлыми, безвозвратными...

Когда не стало бабушки, я впервые подумал о том, что когда-то и меня не будет... И может, потому живет во мне ее образ, не умирает, ее жизнь продолжается в моей, в моих братьях и сестрах, в наших детях и никогда не кончится... Жаль только, что не помню — меня тогда еще не было — бабушкиных родителей, и тем более ее дедушку и бабушку! Я слышал о них из ее рассказов... Их лица, суровые и доверчивые, иногда всплывали в моем воображении как живые и снова исчезали в тумане времени...

Я опять подумал о младшей Совке.

Отец, будто зная об этом, совсем другим голосом сказал:

— А помнишь, как после войны Федя Редчанков сватал Совку?

Я удивился.

— Столько лет прошло, забыл, конечно. Тогда слушай.

— Совка никуда не уехала? — спросил Федор, хоть и слышал, что вчера она на реку проходила белье полоскать. Как он ее не видел с огорода, уму непостижимо!

— Здесь твоя Совка,— не сразу ответил Игнат.

— А ты знаешь, отец, это из-за меня у нее жизнь не получилась...

— В чем же ты виноват?

— Во всем.

— Что, на ней свет клином сошелся? — вконец расстроилась Аграфена. — Такой герой, при таких звездочках... Да ты бы себе... Не связывайся ты с ней, — попросила Аграфена. — Ничего у вас не было и не будет.

Вмешался Игнат:

— Ничего, мать, сын у нас грамотный, при орденах. Разберется!

— И ты туда же! — вскинулась на старика Аграфена. — Все не можешь забыть эту ведьму, старую сову?

— Зря ты ее ругаешь,— заступился Игнат.— Она и тебе, и Совке сколько раз ворожила! — Игнат весь загорелся.— Знаешь, Федя, ни в бога ни в черта не верю, а один раз тоже попросил Совкину бабушку сворожить — на тебя, значит. Раскинула карты, так и так: жив твой сын, вернется при орденах и медалях и при небольших ранах, пустяковых... Ну, запаслись мы со старухой терпением и, как видишь, дождались! А ты ее ведьмой называешь... — укорил он Аграфену.— Нехорошо это.

Аграфена стала говорить что-то такое, чему и сама не верила:

— Хи-и-итрая Совка... Ишь что затеяла: ждет, когда Федя в ножки ей поклонится, и не в укромном месте, а на виду у всей деревни! Так след в след и идете... Редчанковский корень...

Сыну ее слова показались загадочными, а старик резко отклонился на стуле, размашисто хлопнул себя по коленке, просиял заблестевшими глазами, но сразу же и примолк, наткнувшись на осуждающий взгляд Аграфены. Да и как было не понять: вряд ли в деревне забыли о том случае, два года назад...

На троицу, только что кончилась посевная, настроение у всех было праздничное, и бадонские, весело приветствуя друг друга, подтягивались к магазину, ожидая,

когда продавщица Аня примет товар первостепенной важности, который в посевную куда-то исчезал.

Отработав на ферме, Совка успела переодеться во все праздничное и вместе с другими женщинами ждала, когда откроется магазин. Игнат с Аграфеной, порознь, были здесь. Или ему надоело ждать — что-то уж очень долго Аня принимала товар! — или захотелось поговорить с Совкой,— он бросил мужицкую компанию и приблизился к Совке, выделявшейся среди женщин и даже девчат. Совка заметила Игната и приветливо кивнула. Улыбнувшись ей она никогда не забывала! Этим особенном отношениям между ними завидовали даже молодые парни, которые не знали, как подступиться к Совке, выглядевшей гораздо моложе своих лет. А Игнат знал, и на разные там намеки и ухмылочки оба не обращали внимания.

«Совка, не бойсь, к чистому не пристанет!» — застучался за нее Игнат.

И она не боялась: защита и в самом деле была крепкая! За Игнатом, понимали другие, стояла пока что хоть и невидимая, но сила. Этой силой был Федя. А если говорить точнее — майор Федор Редчанков! А это уже не шуточки...

Сколько бы Игнат ни говорил с Совкой, ему всегда не хватало ни слов, ни времени, чтобы выразить свое особенное расположение к ней. Ни о какой другой невестке он даже и думать не хотел!

Сегодня она ему показалась настоящей царевной, и он так начал:

— Совка-царица, ходи всегда разнаряженной, ничего не делай, а мы будем смотреть на тебя!

— А кто же за меня работать будет, дядя Игнат? — до удивления радостным голосом спросила Совка. И нельзя было понять, чему она больше радуется: тому, что дядя Игнат предлагает ей ходить разряженной царицей, а она не согласна быть бездельницей, или какой-то ей одной понятной надежде?

Редчанковские плечи, когда-то бравшие на себя заботу о всей деревне, стали горделиво расправляться, грудь пошла вперед, но с ответом, и так уже очевидным для многих, Игнату пришлось погодить: внимание отвлек бригадир Константин Цыганков, появившийся в дверях магазина. Его там интересовало, много ли привезли продукта, из-за которого некоторые мужики вы-

ключаются из работы. Он вел борьбу не с пьяницами, а с сельсоветским начальством, что столько водки дает на маленькую деревню. Ему, работавшему бригадиром всего второй год, предсказывали, что долго он не продержится... С начальством надо в дружбе жить, а у него все наоборот. «Я кем хошь и где хошь могу работать!» — отвечал Константин. Этим он и нравился колхозникам, и, когда вино или водка заканчивались, они ему беспрекословно подчинялись.

Константин Цыганков прошел всю войну, имел два тяжелых ранения и был рассудительным на первый взгляд до равнодушия... Но это только на первый взгляд: переступать черту, которую он наметил, нельзя было.

Из магазина он вышел сильно нахмуренным и тут же подал голос:

— Ты мне, дядя Игнат, всех молодых доярок сделаешь царицами! А коров кто доить будет?

Но вышибить Игната из колеи ему не удалось.

— Как же это ты, Константин, учился, учился, а самого главного не знаешь? — ехидно спросил старик.

— Чего это я не знаю? — готовый придраться к Игнату за митинг возле магазина, когда дел везде невпроворот, поинтересовался бригадир.

Игнат, заранее предвкушая, как будет посрамлен Константин Цыганков, многозначительно глянул на Сокву и с удовольствием ответил:

— Да царица-то, милый мой, всего одна бывает! Или вас в школе учили по-другому?

От взрыва хохота и одобрительных возгласов жалобно звякнули стекла в магазинном окне.

Продавщица Аня, не сдержав любопытства, но и с некоторой обеспокоенностью на миловидном лице: над чем смеются, не над ней ли? —глянула на крыльце. И ничего не поняв — гудят мужики! — скрылась в прохладе своих владений, приятно пахнущих туалетным мылом и конфетами.

Ничего не скажешь: быстро прилетела сдача бригадиру!

Ответ Константину понравился, и он смеялся вместе со всеми — сам был находчив и ценил это в других. Сообразил: сегодня ему не справиться с Игнатом — его вся бригада поддерживает: ишь как нацелились на магазин!

Но, отойдя к штакетнику и поправляя сбрую на своем иноходце, все-таки ответил:

— Защитил Игнат царицу, а ему взяли да голову и отрубили!

Не совсем понятно сказано, но самые сообразительные оценили бригадирову шутку.

— Что за намек? — спросил Игнат.

— А то, что задаст тебе Аграфена! Спать сегодня, наверно, врозвь будете...

Теперь над Игнатом засмеялись, да еще, наверно, громче, чем над Константином.

Бригадир, считая, что они в расчете, почти неслышно уехал верхом на своем маленьком резвом гнедом жеребчике.

А люди смотрели на Игната.

Он стоял с затуманенными глазами и вдруг, глядя только на Совку, как подкошенный, рухнул на колени, вытянул вперед руки — он не только красотой восхищался, он один за всех бадонских просил у Совки прощения за ее обиды...

Сделалось тихо.

Бадонским всегда, глядя на Совку, казалось: живет себе молоденькая женщина, красиво одевается, ни о чем не думает, как будто и войны не было, и все несчастья — смерть трех мужей — не у нее, а у других случаются... Вон Тоська Гавrilova тоже, как и Совка, молоденькая, а как узнала, что муж погиб на фронте, так до сегодняшнего дня опомниться не может — в старуху превратилась. А Совке хоть бы что, только краше делается!.. Все беды от нее отскакивают, как горох от стены... Или она бесчувственная такая... Или тут что-то другое?.. Не понять Совку...

Аграфена оторопела, когда увидела, как ее строптивый Игнат без всякой надобности упал на колени.

Ей даже страшно за него стало.

Совка уже не смеялась и нежнейшим голосом, как только она умела, сказала:

— Дядя Игнат, что с тобой? Встань... Разве так можно?..

— Ради красоты, единственной — можно, — сказал Игнат, продолжая оставаться на коленях. Он медленно обвел всех взглядом, как будто искал, кто с ним не согласен.

Коротким всхлипом отозвалось чье-то женское сердце. Из молодых — парней или девчонок — кто-то хлопнул в ладоши, то ли в восторге, то ли дивясь.

Ничего хорошего в дерзком поступке Игната Аграфена не видела и не представляла, как он выйдет из нелегкого положения, в которое сам себя поставил... Доштился... Придется помогать.

Аграфена и так и этак смотрела на Игната, а он — ноль внимания! Тогда она протиснулась в первые ряды, к крыльцу магазина, чтобы Совка могла видеть ее и поскорей бы заканчивала комедию, которую неизвестно для чего затягивал Игнат.

— Ох, дядя Игнат... — только и сказала Совка и мечтательно вздохнула. — Смеяться будут над нами..., Вон сколько народу собралось!

Игнат знал: ничего-то Совка не боится и сказала эти слова для приличия. Совкина обходительность и ласковость всегда его покоряли, и он нередко ставил ее в пример другим женщинам, будто забывая, что тем вредит ей.

Сегодня он хорошо помнил об этом и, отвечая Совке, широко повел рукой вокруг себя:

— Пускай все смеются! Пускай у всех на душе будет праздник! И у тебя тоже!

Совка смотрела на Аграфену, взглядом спрашивая: «Что делать со стариком?»

Аграфена точно таким же взглядом смотрела на Совку. Потом махнула рукой: «Из-за тебя все, что хочешь, то и делай!»

Сузив зеленоватые смеющиеся глаза, Совка медленно убрала с лица белые, как лен, волосы, шагнула к Игнату, и все услышали не звук пощечины, которую — как некоторым казалось — заработал старик, а мелодичный, сдержаный Совкин смех. Трудно было сказать, что означал этот смех: в нем было все — и восторг, и стыд, и гордость, и насмешка, и благодарность...

«Кажется, все хорошо вышло, — вставая с колен, подумал Игнат. — И людей не рассердил, и Совку не обидел!..»

При народе Аграфена смолчала, а дома не удержалась, назвала его скоморохом, детьми и внуками пристыдила, которые все видели.

Совка всегда как будто побаивалась Аграфены. Все это на первый взгляд из-за Феди. Но Аграфена-то знала из-за кого — из-за Совкиной бабушки. Скольких парней она в молодости иссущила! Игнат до тридцати лет не женился. Это уж он Аграфене после Совкиной бабушки достался... И вот на тебе! — похожая история с Федей и Совкой...

Не быть этому, Аграфена пойдет и выскажет ей все: настало время поругаться! И тут же ее взяло сомнение: ну что она скажет Совке? Совка и так его стороной обходит, нет за нею греха, Аграфена вот сейчас все выдумала. Федя хорошо вспоминает Совку, спрашивает о ней. Так это еще ничего не значит: на то мы и люди, чтоб вспоминать... Что же делать, если Феде запомнились те букетики на всю жизнь, а Совка на другой же день все позабыла? Насильно мил не будешь! С красивыми-то вон как получается... За красоту надо расплачиваться. Не дай бог родиться красивой — лучше быть незаметной... Совку кто-то сглазил...

Аграфене страшно стало от этих мыслей. Дальше она думать не хотела, просила у кого-то прощения и сама не заметила, как начала молиться за Совку и за Федю: чтоб каждый из них был счастливым, но только порознь. Расколотое зеркало не склеишь...

И тут она подумала о том, о чем уже тридцать лет старалась не думать: тогда Феде отец навредил — а сейчас... хочет навредить она, мать. Только в эту минуту она по-настоящему простила Игната, когда поняла, как трудно удержаться от какого-нибудь поступка или отказаться от мысли, которая неотступно тебя преследует. Как так выходит: хочешь сделать добро, а получается зло? И она с этого момента сделалась спокойной, взгляд ее просветлился.

Сын сразу же заметил в ней перемену.

Каждый из них теперь щадил друг друга: Федор перестал спрашивать о Совке, Аграфена, наоборот, ждала, когда он заговорит о ней.

Игнат расспрашивал сына о военной службе, восторгался каждой его звездочкой, подробно интересовался, за что, где и когда получил он следующую медаль или орден. Вспоминал про свои геройства в германскую, но каждый раз признавался, что сын превзошел отца. Спра-

шивал, дослужится ли тот до генеральского звания. Оказывается, была у Феди такая мечта.

И вдруг он сказал:

— Я бы всю жизнь оставался рядовым, только бы Совка была рядом!

Игнат сильно огорчился: не мог представить своего сына рядовым. Ответ Федора его не устраивал, даже в шутку он не воспринимал эти слова.

— Так не пойдет,— сказал Игнат.— Я вот что предлагаю: чтобы и Совка была рядом, и ты генералом стал! А иначе для чего было бежать?

С этих пор радости в доме Редчанковых не убывало. Вновь вспыхнувшие разговоры о Совке больше никого не огорчали, хотя Аграфена втайне и надеялась, что, может, Совка не заденет Федора своим длинным крылом? Пусть бы пролетала мимо. Зачем ей Федор? Хватит с нее трех погибших мужиков...

Увидел он ее на третий день из окна, когда сидели завтракали.

— Идет твоя зазноба, — пошутил Игнат, так сказать, пошел сыну навстречу.

Аграфенина ложка дрогнула на полпути от миски, она ее насилиu поднесла ко рту.

Федор даже в лице переменился, когда Совка, принаряженная, стала смотреть на дом Редчанковых и, казалось, вот-вот остановится или свернет к ним — надо же когда-то поприветствовать свою детскую любовь, Федю-пастушка.

Она так хотела видеть его и в то же время боялась встречи с ним. Даже коров доить ходила через Школьный лес — давала лишних полтора километра.

И вот не выдержала...

Борясь с собой, она все замедляла и замедляла шаги и, когда он вышел за ворота, сделала совсем маленький шаг. Остановилась, не в силах двигаться дальше, перевела дыхание, как будто только что не шла, а бежала. Яркий румянец заливал ее щеки, и от этого она казалась молоденькой девчонкой, которую за что-то пристыдили, или она подумала вот сейчас о чем-то таком, отчего ее сразу же бросило в жар, и она никак не могла опомниться от этой запретной мысли, а чтобы справиться с собой, остановилась возле дома Редчанковых, уви-

дела за воротами стройного, подтянутого майора, покраснела еще больше и совсем растерялась.

Сказать о Совке: похорошела, и в самом деле недостаточно,—расцвела, несмотря на все несчастья, которые преследовали ее... И он, забыв все на свете, не веря тому, что видит ее, легко вздохнул и едва слышно сказал:

— Наконец-то...

Она хотела шагнуть к нему. Он увидел это ее движение и сам шагнул к ней.

— Все такой же... — Совка поправила густые белые волосы, которые снились ему и на фронте, и в мирное время.

Он вспомнил пословицу: не родись красивой, а родись счастливой! — и впервые в жизни не согласился с ней.

— Все такой же... — повторила она.

Он не знал, как отнестись к ее словам, осторожно, чтобы не обидеть, спросил:

— Неужели я нисколько не изменился?

— А ты разве не понял? Радуюсь, что не забыл... Настолько любишь меня, что даже руки не подал. И я тоже. Давай, пастушок, хоть поздороваемся...

Он долго не отпускал ее руку.

Она приблизилась, с нежностью заглянула ему в глаза и тут же отстранилась.

— Чего же ты боишься?

— Матушку твою, Аграфену Савельевну... Она вон в окно смотрит...

Он оглянулся, и в это время Аграфена медленно, с неохотой закрыла окно.

Совка заговорила быстро и обиженно:

— Четыре года пишешь домой письма, а мне ни одной строчки. Даже привета ни разу не передал.

— Я же ничего не знал...

Она как будто не слышала его слов.

— Каждый день у почтальона спрашивала о письме, а от кого — не говорила.

— Ну почему, Совка? Написала бы мне... Адрес взяла бы у отца...

— Не могла я. Дядя Игнат сам должен был сказать.

— Откуда ему все знать?

— Он-то знал... Только Аграфену Савельевну не хотел обижать..., По этой причине и я не могла спраши-

вать... Она и сейчас... Да я на нее не обижаюсь, ты не подумай,— чего-то испугавшись — наверное, того, что жалуется, — спохватилась Совка.— Так мне и надо!

— За что ты себя ругаешь?

— Тебе разве отец не все рассказал?

— Сказок я наслушался...

— Кому сказки, Феденька, а кому правда...

— Сказки забудутся, — ответил он.

— Не знаю... Сказки вон как долго живут! — И с горечью добавила: — А правда, глядишь, и забудется...

— Ошибаешься, — сказал он.

— Я все время ошибаюсь, — подтвердила Совка.

— Нет-нет, ты ни в чем не виновата... И не ты, а я все время делаю ошибки!

Она горько усмехнулась:

— Какие же у тебя ошибки... Ты, Федя, вон каким героем вернулся!

— Грех мой никогда не замолить, — глядя себе под ноги, глухо проговорил он.— И за то, что убежал из дома, не подумав о стариках, и за то, что молчал девять лет!

Раньше ему казалось, что война все спишет и что все плохое забудется. Но вот тринацать лет прошло, а ничего не забывалось: с каждым годом юношеские ошибки вырисовывались четче, делались крупнее — как будто он совершил их вот только что! — и заслоняли собой все то хорошее, что удалось ему сделать в жизни, особенно на войне, и не было выхода, не было успокоения ни тогда, ни сейчас, и он все больше казнил себя, вспоминая каждый свой шаг, каждый поступок из прошлых лет.

— Не будет мне прощения... — все тем же глухим голосом произнес он.

Совка побледнела и как-то вдруг оразу же замерзла: ей почудилось, что сейчас не жаркий июль, самая середина, а бесснежный декабрь с пронизывающим, колючим, завывающим ветром, от которого никому не спастись, — от него всем делается неуютно, а земля, не дождавшись снега, трескается... Да ведь убежал-то он из-за нее, из-за Совки! И она ждала, когда он скажет об этом... Сама она не могла спрашивать: а вдруг все не так было?

— Молчал ты долго...

В ее голосе укор, сожаление, а взгляд говорит о дру-

тот: «Ну и что, что молчал? Никто ни на кого давно не сердится! Ведь правда, Федя?»

Она помолчала и с какой-то непонятной уверенностью закончила:

— Все мы теперь, Феденька, другие стали... Все виноваты, а значит, никто!

Под этим «все виноваты, а значит, никто!» подразумевалась война, все переменившая и все перепутавшая не только в Совкиной и Фединой жизни...

Он взял ее за руку, за пальцы, которые никак не хотели грубеть от грубой работы, долго смотрел в зеленые и спокойные, как лесная глушь, глаза.

— Совка, милая... Как хорошо, что мы встретились... Какой же я был...

И тогда совсем другим голосом — до головокружения нежным — Совка сказала:

— Я и не сомневалась, что вернешься... Только думала: с женой приедешь, и обязательно она красивее меня будет! — Совка поколебалась, не зная, надо ли говорить дальше. — Ну, да теперь-то что жаловаться. Встретились же... Вот только ни ты, ни я не знаем, что делать, стоим как заколдованные... Может, Федя, отойдем от окон?

Они прошли вдоль дороги по зеленой мураве, чистой и высокой возле дома Редчанковых, остановились между домами и через голубоватый лиственничный тун видели далекие и в то же время близкие Саяны со снежными вершинами, широкую у моста речку, с которой доносились голоса купающихся ребятишек, огород Редчанковых и Аграфену, бесшумно выгонявшую оттуда куриц. И то, что она старалась не шуметь — не кидала в куриц комками засохшей земли, не кричала и не хлопала в ладоши, изображая таким образом какую-то хищную птицу, было для них хорошим признаком: смирилась Аграфена, не будет препятствовать их счастью!

Совка вздохнула, повела упругой девичьей грудью, чуть шевельнула бедрами вправо, влево, будто хотела сказать: «Вот, смотри, целая осталась, ничего со мной не сделалось! Вся твоя до капельки... И ничьей больше не буду!» Совка довольна-предовольна: помнит Федя, не забыл кукушкины сапожки!.. Не в силах скрыть своей радости, она потихоньку, как будто боялась, что ее услышат, засмеялась и совсем близко придвинулась к нему, обняла. Огромные зеленоватые глаза ее засияли. Че-

рез минуту ему уже казалось, что есть возможность начать все сначала...

Совке весело стало: столько глаз в окна смотрят, из оград, с огородов и даже с крыши! Всем не терпелось узнать, как они встретятся. Улица замерла от ожидания: никто не идет по ней! Пусть смотрят, думает Совка, разве они с Федей не стоят друг друга?! А если в чем-то виноваты, так оба! Только Совка больше, а Федя меньше... намного меньше... даже нисколько! Правильно все сделал: не куда-нибудь убежал, а на войну! Не стал ждать, когда исполнится восемнадцать! Жениха тогда из него не вышло, а солдат получился! Да еще какой солдат: у Совки в глазах рябит от орденов и медалей! Она потрогала один орден, другой... и они ей показались горячими, обжигающими — как будто Федор только что из огня выскочил и остался цел и невредим, только ордена раскалились... Вот тебе и Федя-пастушок. А с виду все такой же скромненький...

Радостно глядя на него и неожиданно для самой себя сделавшись как будто меньше ростом и слабее, Совка рассказывала, как у них было в деревне, когда шла война и после войны... Пусть знает Федя: не исчезал он из ее памяти! В трудную минуту, а их набиралось много, когда жизнь поворачивалась к Совке самой жестокой стороной, когда и дышать-то, казалось, нечем, она вдруг начинала видеть Федю, идущего из лесу с букетиком кукушкиных сапожек, предназначенных для нее одной. Никому больше он не приносил букетиков... И ей сразу же делалось легче, она начинала улыбаться, вспоминая, как любил ее еще до войны мальчик Федя.

— Последние четыре года, с того самого дня, как ты подал о себе весточку, я воспрянула духом. Ничего не знаю, что и как будет: захочешь ли ты со мной разговаривать, один ли приедешь, с женой ли? Если, думаю, с женой, все равно отобью! Мне первой приносил букетики, значит — мой! Расцветаю я день ото дня, солдатки на меня даже сердятся: ты, говорят, Совка, ненормальная... Чему радуешься? Я-то никому не говорю, что тебя жду. И, знаешь, сама удивлялась, откуда у меня вдруг столько силы взялось: девчонки запоют что-нибудь веселое, и я с ними. Одногодки мои все больше тоскливы песни поют, а я — веселые. В кино любила ходить, особенно если военное... Сижу, никак не могу дождаться, когда танки паявятся! Может, думаю, тебя увижу! Не

могла смотреть, если наш танк загорится... Правда, все больше их горели... И все равно стра-а-аху-у... Живые люди горят, вылезти-то из танка не дают.

Федор нахмурился.

— В кино-то ничего, можно воевать. Пусть бы война только в кино и оставалась.

И Совка пригорюнилась.

— Погибают, Федя, не только на войне. Чего только я за эти годы не пережила! Вспоминать страшно... Косяться на меня в деревне начали. Ну, вроде как лучше со мной не связываться... — Она помолчала и непонятно закончила: — Правильно бабушка говорила: чужим воспользоваться — себе дороже...

Невпопад, видно не справился еще с волнением встречи, отклинулся и Федор:

— А и свое взять — смелость нужна.

Выражение Совкиного лица вдруг сделалось веселым.

— Федя, что это со мной: одна я говорю!

— Нет-нет, рассказывай.

— Где же я остановилась...

Он помог ей вспомнить.

— Да, бабушка один раз слово с меня взяла, что буду молчать, и рассказала, как дяде Игнату на тебя ворожила! Я ей сначала не поверила... «Ну-у, — говорю, — это на дядю Игната непохоже! Он же такой серьезный...» Бабушка отвечает: «Был бы несерьезный, я бы и говорить не стала! За кого ты меня принимаешь?»

Федор, стараясь оправдать отца за невинную слабость, рассказал Совке, что на фронте и не такое было: под бомбеккой, артобстрелом, или когда бьют по твоему танку прямой наводкой, и кажется, ну все, конец, тут, бывало, и перекрешишься... И дело не только в том, что живому хочется остаться — это само собой, — хочется жизнь свою подороже отдать, чтобы другим, за тобой, легче было...

Потом они стояли возле начальной школы, расположенной в большом старинном доме с высоким крыльцом и открытой террасой. Ученику, выходившему из коридора, сначала бросался в глаза сосновый лес, а уж затем справа дома, болото с речкой и под горой мост с перилами; с террасы через проулок видны были только

перила. Слева, на бугре, колхозное поле с островком берескового леса, через который шла дорога в Кутулик. По сторонам дороги росла пшеница, и ласковый ветерок доносил в деревню ни с чем не сравнимый пшеничный запах, который ничто не могло победить. Через штакетник видно просторную, величиной с футбольное поле, ограду с высокой травой, соседний огород, кончавшийся возле самого леса. В этом лесу на больших переменах, еще до войны, они ели переспевшую бруснику и заячьи ягоды...

Северная стена школы обшита новеньkim тесом, будто напоминала о том, что большой старинный дом не вечен. В школьном огороде не было бани, и Федор не мог понять, куда она девалась.

— Сгорела, — ответила Совка и рассказала, как зимней ветреной ночью носила воду из китайцева колодца и обливала школьные стены...

— А вон и моя доченька идет, — ласково проговорила Совка. — Посмотри, какая выросла!

Федор смотрел в сторону медленно идущей девочки — как будто в свое и Совкино детство! Необъяснимое волнение, еще большее, чем при встрече с Совкой, охватило его, и он не знал, как с ним справиться, да и надо ли было справляться — никогда не испытывал он такого чувства! Оно было необъятным, как мир, который невозможно вместить в себя, и от этого сердце сжимает мгновенная радость или мгновенная тоска, а скорее всего и то, и другое вместе! Радость — что довелось испытать чувство, которое дается человеку в редкие минуты, а может быть, никогда, и он благодарен судьбе, что она подарила ему такой миг! Тоска — что это чувство, наверное, никогда больше не повторится, и он заранее жалел об этом. На глаза навертывались радостные слезы, которых он не скрывал, и все виделось ему в тумане, через который пробивались яркие солнечные лучи...

— Ты ей понравился... — затаенно взглянув на Федора, проговорила Совка. — Вчера за столом сидели, она возьми и скажи: «Дядя Федя в нашей деревне самый храбрый и самый красивый... Выходи, мамка, за него замуж!» Я и про ужин забыла, и ложку из рук выронила!.. Сидим, друг на дружку смотрим!.. Вот такие наши дела, Феденька... Летит времечко, не остановишь...

— Ты ей... ответила? — не скрывая волнения, спросил Федор и вдруг подумал, что судьба его теперь находится в руках Совкиной дочери.

— А он, говорю, не приглашает.

— Она сказала еще что-нибудь?

— Сказала.

Глаза у Совки сделались светлыми-пресветлыми, глубокими, и он почувствовал, как тонет в них. Как будто подразнивая его, она не сразу продолжила:

— «Надо,— говорит,— чтобы пригласил. Ты, мамка, не жди, сама скажи...» Вот я и принарядилась...

— Как зовут твою дочь?

— Лилей.

Совка видела: имя ему понравилось.

— Давай так сделаем: позовем твою дочь и пойдем к нам... Все хорошо будет,— постарался он заранее успокоить ее.

— Надо подождать, — сказала Совка.

Странно прозвучали ее слова — будто тринадцати лет не было, будто они не расставались, будто не было Совкиной свадьбы, истории с узкой, и никуда он не убегал, и стоят они друг перед другом не в пятьдесят пятом году, а в сороковом или тридцать девятом!

Все три дня после приезда у Федора было ощущение, будто он тонет в родной реке... Еще тогда, подростком, ему нравилось, как пронзительно вскрикивают на реке девчонки. Он всегда подплывал ближе, если среди них была Совка. Он знал — подплывать к девчонкам небезопасно: продолжая все так же вскрикивать, они начнут смеяться, кинутся к бессовестному и, поднимая сильными ногами столбы брызг, радугой вспыхивающих на солнце, окунут его с головой, так напоят теплой речной водой, что надолго отобьют охоту подплывать и подсматривать. И вдруг прекратятся их голоса, как будто зовущие о помощи...

Спрашивается, чего вот только что кричали?

Заманивали?

Зачем?

Чтобы посмеяться?

Или еще для чего-то?

Совка тоже вспомнила то время и пожалела, что оно уже не вернется.

Они оба, поочередно, вздохнули.

Была какая-то безысходность в их отношениях: вот только что казалось, все идет к тому, что они поймут или уже поняли друг друга, и неизвестно откуда появляется между ними невидимая стена.

Не понимая, что происходит, он спросил:

— Я не обидел тебя, Совка?

— А чем ты меня мог обидеть, Федя?

Он поспешил ответить:

— Хотя бы тем, что за три дня ни разу не зашел, — мне-то было легче зайти. Ведь ждала?

— Ждала, Федя. Только не легче тебе было... Я думала, на всю жизнь рассердишься...

Лиля стояла в проулке и, загораживаясь рукой от солнца, смотрела в их сторону, не понимая, о чем они так долго говорят возле школы и почему не идут на реку, где так шумно и весело, вода теплая, и ни за что не усидишь на берегу! Все встречи, считала Лиля, происходят на реке, и она сейчас пойдет к мосту и обязательно с кем-нибудь встретится... Она бы сначала подошла к мамке и такому симпатичному дяде Феде и постояла бы с ними, но боялась им помешать. Ах, как интересно ей послушать, о чем они говорят!

Лиля засмеялась, когда обнаружила, что ноги сами несут ее к реке. Она еще раз весело оглянулась на школу и скрылась в проулке.

Совка медленно стала говорить:

— Мне иногда кажется, Федя, что никаких мужей у меня не было, что все это мне приснилось, а были только кукушкины сапожки... Ты и кукушкины сапожки... Как будто наворожили друг другу: тебе в сапогахходить поскрипывать, а мне всю жизнь куковать...

— Совка, милая, ты же знаешь: дело не в кукушкиных сапожках, а в нас самих.

— И я так думаю, Феденька... А другой раз почудится... будто кукушкины сапожки во всем виноваты! Ты не подумай, я и сейчас мимо этих цветов спокойно не могу пройти: хоть один, да сорву... Да они у меня на оконке стоят! Будешь идти, увидишь. Что же это такое было? — у самой себя спросила Совка. — Дня три или четыре не принесешь, так я места себе не находила... Отец с матерью не знали, что со мной делать: куда ни шагнешь — везде кукушкины сапожки! Не из чего воды попить было! Они их потихоньку, чтоб я не видела, выбрасывали...

Мой отец через каждые полчаса, а когда пошло далеко за полночь, через каждые десять — пятнадцать минут спрашивал, слушаю ли я его, а один раз заставил меня повторить, на чем он остановился.

Я слово в слово повторил.

Он остался доволен и с волнением, которого я не видел, а только почувствовал по тому, как он не мог найти пачку папирос, лежавшую ночью всегда на одном и том же месте — на подоконнике, не сразу достал спичку из коробка и глубоко, с жадностью сделал первую затяжку, а потом, успокоившись или о чем-то задумавшись, молча и долго курил. А я лежал и думал: я молод, свободен, вот уже столько лет Совка (а теперь и ее дочь Лия!) не выходит у меня из головы... Надо было немедля бежать на Бадонки, наконец-то встретиться и рассказать им все начистоту! Неужели бы Совкина дочь не оценила, что я полюбил ее, ни разу не видя, а только по рассказам отца?! Ну, хорошо, оправдывал я себя, зачем бежать ночью, когда можно пойти днем? Что от этого изменится? И даже не пойти, а съездить на машине или на мотоцикле! Это же совсем немного времени: всего-то час, ну два, если дорога очень плохая!

Постой-постой, а почему все-таки не ночью?

Ну-ка, ну-ка...

Боишься?

Чего?

Сейчас скажу чего.

Дорогу-то я знал — раза два подростком ездил с отцом на мельницу.

Побоялся я бежать ночью, наверно, из-за раненого медведя...

Сейчас ведь палят по всему живому: в самый разгар лета не щадят ни зверя, ни птицу... И я, стрелявший по птицам всего один день (был у меня в жизни такой день), я, убивший всего одну птицу из тех, по которым обычно не стреляют, был уверен, что та птица не прощена мне, ее предсмертный крик я нет-нет да иногда слышу. И обязательно мне за нее отомстил как-нибудь раненый медведь...

Или это была обыкновенная трусость — бежать ночью по тайге? Или я поверил отцу, что Совкиной дочери не нужен такой, как я? Или боялся разочароваться в Совке

и Совкиной дочери — вдруг она окажется как все, то есть обычной деревенской девчонкой с накрашенными глазами и пышной прической?.. А может, я начал привыкать к более спокойной жизни? Или еще что-нибудь хуже?.. Почему, прежде чем сделать что-нибудь, совершил какой-нибудь поступок, я на сто рядов все передумаю: всего-то дела иногда сущий пустяк, а ядержанусь, как будто мне битва при Ватерлоо предстоит? Нередко я заранее настраиваю себя на поражение — вот как с Совкиной дочерью. Одним словом, человек я не очень-то уверенный в себе.

Ума не приложу, откуда взялась эта неуверенность?! В семье у нас никого таких нет: каждый отлично знает, что он делает, что ему нужно. А я свою личную жизнь не могу устроить! С красивой девчонкой лень познакомиться! Тут одних мечтаний недостаточно: тут надо действовать, а не рассуждать! Уж если отец сказал, что Совкина дочь не пойдет за меня, значит, он хорошо знал меня и был уверен, что никуда я не побегу... И вот это для меня самого загадка! Знаю, что надо не идти, а бежать, сейчас же, а я лежу, слушаю, переживаю, проникаюсь — и не больше. А может, потому и слушаю с интересом про Совку и Федю, про Игната и Аграфену, про лейтенанта, что люди эти характер имеют! Да и мой отец тоже. А вот я...

Мне хотелось поскорее узнать, чем же все кончилось, да и время приближалось к утру, и я спросил:

— Совка вышла за Федю?

Я услышал, как прозвенела тонкая металлическая крышка от баночки из-под конфет, на которую отец положил папирюс, а ответа не было.

«Наверное, не хочет заскакивать вперед, — подумал я, — будет рассказывать все по порядку...»

Но я ошибся.

До меня донеслось всего одно слово, произнесенное коротко, решительно и с огорчением:

— Нет.

— Но почему?

— А этого в трех словах не расскажешь... В этом-то и вся история...

— Какая история?

Я огорчился, наверное, не меньше, чем отец. Он это почувствовал и уже более мягким голосом сказал:

— А ты подумай.

Я долго молчал. Мне пришла в голову странная мысль: может, отец закончил так, за что-нибудь рассердившись на меня? Все у них должно было наладиться, уж, кажется, больше им ничто не мешало! Федя любил Совку... Да и Совка не была к нему равнодушна... Вдруг стало обидно, что отец не приукрасил конец, даже если у Феди с Совкой ничего не вышло. Неужели ему трудно было?

— Ничего не понимаю,— сказал я.— Она что, совсем его не любила?

— Уж если она кого любила, так только Федю, — нисколько не сомневаясь, сказал отец.

14

Утром солнце светило во много раз ярче, трава и деревья были зеленее, небо — глубже и синее... Делал я все быстро, как будто боялся куда-то опоздать. Что-то изменилось во мне после рассказа отца!

А он как ни в чем не бывало спокойно позавтракал, так же спокойно переговорил с матушкой и ушел в бригадную контору узнать, какая у него сегодня работа. А потом и матушка ушла на поле. В воротах оглянулась, долго смотрела на меня, губы ее едва заметно шевельнулись, и она медленно-медленно закрыла скрипнувшие ворота. Что она хотела сказать мне, но так и не сказала?

Я стал смотреть из ограды за реку — в ту сторону, где за холмами, в лесной чаще, живет Совка. Напротив нашего дома, за вторым мостом, отдельные сосны и лиственницы поднимаются над лесом и кажутся великанами, сторожащими свои владения. На одной из раскидистых, богатырских сосен с засохшей вершиной на той же самой голой ветке сидит старый коршун — как будто со вчерашнего дня никуда не улетал. Стена леса вдоль болота чуть не до самых вершин с высокой тенью, деревья — темно-зеленые; следующий выступ леса — еще более темный, а сверху лес освещен, сверху лес радостный, веселый, стволы сосен ярко блестят на солнце, и кажется, что они сами излучают свет. Небо чистое, только на юго-западе виднеются узкие, одно над другим, размытые, неподвижные облака. В замкнутом пространстве над болотом, между стенами леса, виден островок темного леса; за этим островком, похожим на древний

замок, полукруг замыкает дальний лес, и в углублении, с обеих сторон, лес-замок вровень с вершинами окутан синеватым дымком — как будто кто-то берет неприступную крепость. Неслышино палят пушки, и дым все плотнее окутывает замок. Стоит приглядеться, и начинаешь видеть вспышки далеких выстрелов...

Оставшись один, я полил огурцы на большой гряде возле колодца, наносил воды, подмел лужайку возле дома, на тележке вывез сор в яму около реки. Не зная, куда девать силы, взялся расколоть комлевую, всю изогнутую, скрипящую при каждом ударе топора березовую чурку. Много на ней старых зарубок, отколотых щепок, чурка похожа на каменную. Поленья получались винтовые, каждое из них я под конец с трудом отдирал от последних желтоватых волокон. Мне непременно надо было справиться с брошенной чуркой...

Я все больше чему-то радовался и все чаще оглядывался по сторонам, словно подыскивал себе занятие по-труднее, но ничего особенно трудного не находилось — все мне казалось легким, и я понял: сегодня пойду на Бадонки! Не выдумал же я мое чувство — так же, как отец не выдумал эту историю, прекраснее которой я ничего в детстве не слышал! Это была тайна, с которой я никогда не расставался и настолько привык к ней, что порой мне казалось: что-то такое я знал об этом раньше, еще до рассказа отца! И вот мне важно было не потерять эту тайну, не разменять ее... С сегодняшнего дня буду поступать, как подсказывает мой голос, — я поверили в себя, поверил в Совку и всегда буду верен ей, даже если она всего лишь посмеется надо мной! Это я уже говорю о ее дочери Лиле...

Но почему — посмеется?

Я, конечно, не красавец, но иногда бываю настолько недурен, что одна молоденькая женщина, выходившая замуж в третий раз и от этого нисколько не сделавшаяся хуже, как-то заметила — мы в это время прогуливались с нею по берегу Ангары, — что в профиль я похож на адмирала Нельсона. Я раздобыл портрет прославленного адмирала и в самом деле нашел некоторое сходство между нами, правда, только в профиль. Но с меня и этого было достаточно. Почему мне вспомнился Нельсон, не трудно догадаться: мне нужна была уверенность!

Итак, я иду!

Грохотал, дребезжал под гору ходок, в нем сидели мужчина с женщиной. Разогнавшись, лошадь бежала через стлань. Рядом с колесом, ни на шаг не отставая, бежала рыжая собачонка. Хвост у нее колечком, морда веселая — рада, что хозяева взяли с собой в лес.

— Я иду-у-у! — крикнул я березам, соснам, дороге и птицам, пролетавшим надо мной. Не думал, что именно эта дорога будет для меня самой желанной, самой необходимой... Я не понимал, почему иду только сейчас, — где же я был три года назад, четыре, пять?

Я шел тогда, общий зелено-голубым миром, и благодарил Совку, что она помогла мне ярче увидеть красоту полей и дорог, леса и неба над его вершинами...

Расскажу, думал, Совкиной дочери все с самого начала. Она, конечно, сначала не поверит, а я буду рассказывать — о том, как давно знаю и люблю ее. Она удивится и, может быть, придет в такой же восторг от моего рассказа, как я — от рассказа отца!

Жадно всматриваясь в каждый поворот дороги, старался угадать, что же за этим поворотом: какой лес, какое поле и даже какие облака? Я как будто смотрел старый фильм, который видел очень давно и который мне понравился, хоть я в нем ничего не понял, только смотрел, радовался и не мог произнести ни слова. Помню, как отец с улыбкой поглядывал в мою сторону, довольный, что взял меня с собой. Вот и сейчас, думал я тогда, задыхнувшись от каких-то неясных ощущений, от чего-то, что ждет меня впереди! В этом сказочном мире мне предстояло совершить какой-то героический поступок, за который меня будут все любить. Какой поступок — я тогда не знал. Теперь догадывался: я хотел полюбить всех, хотя бы понять, это и было бы моим героическим поступком, и не надо заботиться о том, чтобы и меня все любили, — это лишние хлопоты.

Или нет, ни о чем я тогда не задумывался, просто был самым счастливым человеком на земле. И вот оказывалось: чтобы сделаться счастливым, мне надо единственное — понравиться Совкиной дочери!

А если у нее есть жених?

А если она замужем?

Почему я ни разу об этом не подумал?

Дорога прямая, узкая, деревья сомкнулись вверху, и я шел по бело-зеленому коридору из берез и сосен; за

стволами едва заметно заголубело маленькое круглое пятно; оно скоро превратилось в густо-синее, и я понял, что подхожу к реке. Издали несколько сосен у дороги кажутся красными. Ближние сосны отодвигаются — и мгновенно открывается вид на реку. И вот уже виден на том берегу высокий дремучий лес, поднявшийся тремя уступами и замкнувший небо, и кажется, что дальнеे дорога никуда не ведет.

У горизонта накопилось облаков, они обходили солнце, не приближаясь к нему, — держали путь на север.

Четкие косые тени деревьев пересекали дорогу.

Синий коридор над заросшей дорогой сузился, сошел на нет, и посветлело впереди закругленным лезвием широкого охотничьего ножа — это дорога сделала крутой поворот, и мне какое-то время казалось, что я иду не на Бадонки, а домой. У самого леса над черной водой — ослепительно белая прерывистая цепь солнечных вспышек. Вспышки будто плыли, но когда я пригляделся, то увидел: они качаются на волнах на одном месте, движутся только волны. Вспышки играли, манили к себе, но только обратишь на них внимание — исчезали. Река блестела от берега к берегу треугольником, острие которого кончалось возле моих ног. Я шел, и сверкающий треугольник двигался вместе со мной.

Я разглядывал Тагну, бежавшую из Совкиных краев, из предгорий Саян, и радовался, что родился у этой же реки, и так же, как Совкина дочь, в хороший день вижу далеко за лесом зубчатые вершины Саянских гор...

Дорога, по которой я шел, осталась в моей памяти с детства, и я узнавал ее то в одном, то в другом месте. Как меня околдовывало это узнавание: Совкина дочь ходит по этой дороге, где-нибудь вот здесь собирает грибы или ягоды!.. Один раз мне почудилось, что она стоит за деревьями с распущенными волосами — только что искупалась в реке и не успела одеться, — но в следующее мгновение она уже в легком сарафане промелькнула за другими деревьями... Я слышал ее затаенно-глубокий, зовущий смех, прошел в глубь леса, откуда снова послышался смех, но там никого не было. Что-то похожее еще мальчишкой я слышал в нашем лесу недалеко от деревни, когда собирал в березовый чумашек темно-красную морошку... Тогда, я помню, долго сидел на кочке, не зная, что делать: и морошку жалко бро-

сать, и собирать боязно— как будто у кого-то воруешь...

Когда до Бадонок осталось километра два, я пошел медленнее, останавливался, чтобы лучше рассмотреть все, что окружает деревню. Каждая береза, сосенка, кедр, куст лозняка или черемухи, пень около дороги казались мне до того милыми, что я дотрагивался до них. Даже кочки на болоте казались мне особенными. Камни высокие, ярко-зеленые, не то что у нас! Ручейки, ямки с водой между кочек были для меня самыми чистыми, и я несколько раз напился из них. Вода конечно же пахла болотом, но никогда ничего вкуснее я не пил!

Из-за леса вдруг раздалась песня из одних женских голосов. Песня быстро приближалась, и я увидел: на двух фургонах бадонские ехали с покоса. Впереди, слева, виднелась луговая дорога из множества черных тропинок, протоптанных скотом; она выходила на песочную, с прибрежными камнями дорогу, по которой я шел. Хотелось увидеть поющих женщин, и я прибавил шагу. Оба фургона проехали впереди меня. Я жадно всматривался в лица, но было далковато, и в каждой женщине и девчонке мне чудились Совка и ее дочь... Выехав на дорогу, круто поднимавшуюся в гору, лошади пошли шагом, песня смолкла. Женщины о чем-то оживленно побороли, и я снова услышал последний куплет:

Замела следы его метелица,
Не слыхать ни песен, ни шагов,
Лишь одна, одна дорожка стелется
Посреди нанесенных снегов...

Я сразу же полюбил женщин, весело смотревших в мою сторону, их песню, которую слышал в нашей деревне еще мальчишкой, и то, как празднично выехали они с луговой дороги, ярко освещенной солнцем.

Одна из женщин, чернявая, молоденькая, делавшая вид, что хочет соскочить с фургона, звонким голосом позвала меня на цыганский манер:

— Не скучай, молодой, интересный, садись к нам!
Догоняй, что ли?!

— Горя знать не будешь! — пообещала другая, сидевшая с ней рядом.

— У него, поди, своя есть, а то бы он припустился за нами! — отозвалась третья женщина.

Но чернявая, одетая ярче других и роста маленько-го, очень уж задорная, перекричала всех и снова по-звала меня, указывая на место с собою рядом. На фур-гоне засмеялись и запели какую-то незнакомую песню. Я, сколько ни вслушивался, не мог разобрать ни одного слова. Мотив у нее был разудалый, он как бы продол-жал разговор, который женщины только что затевали со мной.

Я скоро отстал, жалея, что не воспользовался при-глашением.

15

Совкин дом я узнал издалека: он стоял на краю де-ревни, в лесу, среди старых сосен, которые каким-то чудом уцелели здесь. И несколько берез, тоже старых, со-хранились! Дальше шел мелкий, вырубленный лес с огромными, не успевшими состариться пнями. И сосны, и березы, скрывавшие дом, невольно привлекали к себе внимание, заставляли остановиться; так и казалось: они приглашают отдохнуть в их тени на старой, глубоко вросшей в землю скамейке! А потом из дома выйдет красивая молодая хозяйка и приятнейшим голосом спро-сит: издалека ли я и куда держу путь? Я буду долго пить холодную колодезную воду, отрываться от ковши-ка и восторженно смотреть в ее приветливые, ожидаю-щие глаза... Может быть, так начнется мое знакомство с Совкиной дочерью?

Я сел на скамейке в тени березы и стал смотреть на дом. Красноватая железная крыша, водосточные трубы, высокое крыльце, большая ограда — все, как рассказы-вал отец. Да и я стал припомнить этот дом: я его при-нял за школу, когда мы с отцом, двадцать лет назад, проезжали мимо. И беседка была, но только покосив-шаяся, с почерневшей, полуразрушенной крышей, и это сильно огорчило меня: почему никто не отремонтирует беседку? Сразу войти в дом я не решался и рассматри-вал высокое крыльце с подновленными перилами, кото-рые уже никто не собирался красить. Беседка стояла метрах в пятидесяти от дома, вокруг нее замерли от предвечернего зноя березы и сосны, возле которых про-шла какая-то другая жизнь...

Мне жаль было этой ушедшей жизни! Скоро и бесед-ки не останется, кто-нибудь вырубит деревья, державе-

ют водосточные трубы, и уже ничто не будет напоминать о тех днях. Мне казалось, что я слышу веселый смех, который когда-то раздавался из беседки, вижу старшую Совку, тогда еще совсем молоденькую, в соломенной шляпе с широкими полями, проходившую мимо беседки или стоявшую здесь, что-нибудь говорившую кому-то или что-то отвечавшую... Мне врезалась в память ее соломенная шляпа с большими полями, которой, как утверждал отец, ни у кого в деревне не было, и когда она ее надевала, то от Совки не то что глаз оторвать нельзя — это само собой, — а удивительно было, что она живет не в большом городе, а в маленькой, никому не известной деревушке, и мой отец по этой причине восхищался ею еще больше и во время своего рассказа сделал еще одно замечание, которому не поверить нельзя было: в Совке таилось много талантов, она не давала им выхода и, наверное, из-за этого больше всего и страдала...

Первым делом я привел бы в порядок беседку, покрасил перила, сменил на крыше покоробившиеся листы железа, водосточные трубы...

Меня тянет к моей прежней жизни в деревне, мои руки соскучились по самой простой деревенской работе, но я завяз в городе и не знаю, как из него выбраться. Я занимаюсь там не своим делом, вся моя городская жизнь сплошной обман и выдумка. Надоело мне жить в большом городском доме, в маленькой квартире, с неизнакомыми людьми! Наверное, муравьи из одного муравейника больше знакомы друг с другом, чем я с жильцами в моем подъезде, один из которых усиленно курит по вечерам на лестнице и бросает окурки под мою дверь... Я даже не знаю, как он выглядит, а только слышу через стену его сердитые шаги, а в одиннадцать, когда звуки в доме стихают, в его квартире начинает грохотать какая-то несуразная музыка, записанная на магнитофонную ленту. Но не слышно ни живых голосов, ни танцев под эту музыку, и тогда начинает казаться, что я живу в пустыне, а музыка напоминает чудовищную грозу, после которой не бывает дождя.

Мне говорят: привыкнешь, никуда не денешься!

Но зачем привыкать?

Я снова огляделся, прошел по дорожке к крыльцу, увидел, что дом на замке, и вернулся к беседке.

Спрашивать, где Совка, где ее дочь, ни у кого не хотелось: пусть Совка с дочерью будут первыми, с кем я

заговорю на Бадочках! Узнавать о них что-нибудь я тоже не хотел. Да и что могут рассказать о них односельчане, когда я сам знаю больше. Совка с дочерью даже не представляют, какого защитника нашли во мне! Конечно, если это им потребуется...

Я все поглядывал на высокие, глухие ворота и вдруг услышал откуда-то из леса певучий и, как мне показалось, тревожный голос. И все стихло. Волнение, какого я давно не испытывал, охватило меня. Я весь обратился в сторону леса, стараясь уловить каждый звук, каждый шорох, которым заранее придавал какое-то особенное значение. За стеной сарая послышались чьи-то легкие, торопливые шаги, и непонятно было, в какую сторону они исчезли. Затем до меня донеслись странные шорохи — как будто какая-то птица, касаясь большими крыльями гладкой стены сарая, взлетела на крышу или на сосну, стоявшую близко к сараю. Я невольно взглянул наверх, но там никого не было. Я знал: в Совкиной роще, в дуплах старых берез и сосен, живут большие птицы, и немало их прилетает сюда из ближнего леса. Начнет темнеть — и сова или филин подадут свой голос... «И вот уж кому раздолье на краю деревни — летучим мышам! Здесь их, должно быть, сотни!» — подумал я. Мне всегда было интересно наблюдать, как они бесстрашно летают в темноте, но мало приятного, когда летучая мышь, кажущаяся ночью огромной, ненужно страшной посланницей из какого-то исчезнувшего мира, вот-вот сядет или уже села на твою белеющую в темноте рубаху... И сколько нужно смелости — ведь ты еще мальчишка! — любопытства, непонятного азарта, мгновенного прозрения, чтобы понять: летучая мышь беззащитна и не надо стряхивать ее с себя, тем более ударять... Я один раз выдержал и долго хвастался этим...

Все тот же тревожный, проникающий в сердце голос раздался из Совкиной рощи. Это был конечно же человеческий возглас, таинственный, как крик ночной птицы... Такого мелодичного, проникновенного голоса я, кажется, ни разу в жизни не слышал и, может быть, не услышу никогда!

Я просмотрел, когда девушка спрыгнула с высокого заплата. Качались цветущие тарелки подсолнухов, среди которых она стояла, и я мгновенно почувствовал себя виноватым: я что-то нарушил, вторгся в чужую жизнь. Эти и еще какие-то смутные мысли захлестнули

меня, и я стоял, наверное, растерянный не меньше, чем она.

Что ее удерживало подойти ко мне?

И тут же она исчезла...

Мне даже на миг показалось, что никого не было... Но все еще, как будто осуждая меня, желтыми головами качались на широкой гряде подсолнухи и такая же высокая крапива возле заплата...

Хлопнула за углом дома калитка на огороде, и передо мной выросла до изумления стройная девушка в зеленом сарафане, сильно расширенном книзу. Я сравнил ее сарафан с маленьким парашютом, на котором она только что спустилась на землю если не с облаков, то с высокого добротного сарайя... На загорелых ногах синие матерчатые туфли — точно такие же, как у моей младшей сестренки, и на сердце у меня сразу же сделалось теплее. Грудь девушки высоко поднималась, взгляд — спрашивающий, и я догадался: кто-то ей сказал про чужака, она чего-то испугалась и бежала всю дорогу.

Я извинился, что зашел не вовремя да еще расположился в чужой ограде как в своей. Сказал, что известия у меня самые хорошие.

Девушка продолжала смотреть на меня с недоверием.

«Неужели они ждут какой-то беды?..»

Всеми силами души мне хотелось отвести от этого дома любое несчастье.

Она вдруг успокоилась, и моя тревога уменьшилась, а потом и вовсе... не исчезла, нет, а заслонилась радостью встречи с Лилей.

Я нисколько не сомневался, что передо мной Совкина дочь, но все-таки спросил:

— Ты — Лилия?

— Да-а.

— Вы сейчас ехали с покоса?

— Нет, я была на ферме. А потом пасла телят возле речки. А потом...

Лиля не стала дальше говорить, отчего-то смущаясь, но быстро справилась с собой, вприщур посмотрела на меня, слегка наклонив голову к плечу, и, словно под защиту, отступила к старой березе с огромными полузасохшими ветвями с мелкими листьями, дотронулась дадонью до ее толстой, потрескавшейся коры, глянула

наверх, как будто хотела понять, долго ли еще жить березе.

«Уж не ее ли я видел перед Бадонками только что искупавшейся и промелькнувшей среди деревьев?.. И сарафан был, кажется, точно такой же... Как быстро она его набросила на себя...»

Что-то дикое, я хочу сказать, свободное было в ней.

Она засмеялась, заметив мою неловкость, и я, не преувеличиваю, потерял дар речи, когда она подошла ко мне: какое там в невесты — поговорила бы, и то ладно! А как хотелось сейчас же сделаться своим Лиле, ее единственному дому, непохожему на другие дома, и старому лесу, окружавшему их усадьбу!

— Вы к нам? — спросила Лиля, и уже в самом ее голосе было приглашение.

Я кивнул. Мне показалось, что я и в самом деле разучился говорить. Кивнул еще, наверно, вот почему: с Лилей надо говорить по-особому, а как — я не знал: все слова казались мне неточными, приблизительными, бесцветными...

В ее движениях и в глазах иногда как будто проскачивала короткая разноцветная молния и ослепляла меня. Я никак не мог отделаться от этого странного ощущения и успокоил себя тем, что эти короткие молнии — от ее молодого тела, от синего неба, от солнца, бросавшего на землю красноватые лучи, от которых и река, и стекла домов, и дрожащий воздух, прогретый за день, как никогда, казались праздничными, обещавшими, что завтра снова будет такой же хороший день.

— Я вас где-то видела...

От ее слов тепло разлилось по моему телу. Но ведь этого не могло быть!

— Ты, Лиля, видела, наверное, моего отца...

Она веселее взглянула на меня.

Я продолжал:

— Мой отец часто приезжал к вам на мельницу и меня иногда брал с собой. Но тебя тогда еще не было... Хотя мне кажется, что ты всегда была! А меня, можно считать, совсем не было, пока я не услышал историю о Совке, а потом о тебе.

Сказал-то я искренне, из самой глубины сердца, но что-то не понравилось мне в моих словах, и я, огорчясь, что поторопился с признанием, как бы выставил наружу самое сокровенное, ждал, что скажет Лиля.

Я не зря боялся: она меня тут же посадила в лужу, иначе это и не назовешь.

— О том, как вы говорите, я читала в книге, только не помню в какой. Может, в кино слышала...

Меня охватила тоска.

— Ты не любишь кино? — спросил я, потому что сам чуть не на каждый фильм, который мне понравился, ходил по два раза: выходжу с сеанса и сразу же, если достану билет, иду на второй. Это у меня, наверное, еще с детской привычки осталось. Но тогда я и по три раза смотрел и находил радость в том, что знал, что за чем идет и кто что скажет. Знал, где начнется музыка и где она кончится. Заспорившие после кино мужики нередко обращались ко мне за помощью: надо было подтвердить — говорил или не говорил какой-нибудь герой такие-то слова и почему поступил так, а не иначе. Я мгновенно отзывался на такую просьбу, шел рядом со взрослыми и чувствовал себя очень нужным человеком. Кончался спор, я еще некоторое время плелся за мужиками, а потом присоединялся к своим ровесникам, ревниво относившимся к моему временному авторитету у взрослых и даже иногда говорившим: «Чего же ты отстал? Иди с ними». И тогда я шел один и в это время уже оказывался среди тех, кто был младше меня. Они, сами того не зная, крепко выручали меня.

Лиля долго обдумывала ответ и наконец сказала:

— Если в кино нет леса или хотя бы одного дерева — такого, как у нас, — то не люблю.

— А если в кино хорошая речка?

— Тогда на берегу должен быть лес, — с прежней настойчивостью сказала Лиля.

— А если речка в цветущей степи и поблизости ни одного дерева?

— Я не могу без леса, — сказала она и своей нежнейшей рукой снова погладила старушку березу с темно-зелеными листьями, вдруг начавшими тихо шелестеть вверху, будто отвечавшими ей.

Я отошел к беседке.

Она не села ни рядом со мной в беседке, ни поодаль, где под соснами тоже была скамейка и тоже старая, на которой я сидел перед этим, а остановилась на лужайке, ярко освещенной солнцем, и, казалось, не на меня смотрела, а слушала сильнее зазвучавший к вечеру хор кузнечиков.

— Вам что, нравится сидеть в беседке?

— В городе, Лиля, я как-то не замечаю беседок, а в вашей я бы каждую свободную минуту сидел и о чем-нибудь думал или с кем-нибудь говорил...

Я со значением посмотрел на нее, давая понять, что конечно же думал бы я только о Лиле и говорил бы только о ней.

Лилина красота оказалась еще более неожиданной, чем я мог себе вообразить. И дело не в том, какие у нее нос, рот, губы, фигура, — меня сразу же околдовало выражение ее глаз, которые были не зелеными, как у матери, а черными, — именно такие глаза сравнивают с омутом! Если бывает светлый омут, самый глубокий и самый светлый... Они казались огромными из-за своего выражения, из-за блеска, из-за недосказанности!

— Лиля, ты не поверишь, но я люблю ваш дом, беседку, березы и сосны очень давно.

— Любите? — Она зашла с другой стороны, внимательнее и строже посмотрела на меня.— Дом, беседку, березы и сосны... — повторила она.— Как же вы их любите, если, наверное, не помните?

— Мне вчера отец рассказывал про ваш дом еще интереснее, чем в первый раз!

Лиля что-то не понравилось.

— О нас много чего говорят... Мы уже привыкли...

— Отец мне всю ночь рассказывал!

— Всю ночь?

— Если бы ты слышала, как он рассказывал!

Лиля не удержалась и присела на краешек скамейки, с которой я только что поднялся.

— И обо мне тоже? — спросила она.

— И о тебе.

— А что он мог рассказать?

— Он уверен, что ты на меня даже смотреть не захочешь...

— Почему?

— Настолько ты красивая...

— Да ну-у, я такая же, как все. Вот мама у меня красивая... Только ей всю жизнь не везло.— Лиля заглянула мне в глаза и сама чего-то смущилась.

«Если она смущается, — подумал я, — то, может, не все потеряно?»

— Садитесь, — пригласила Лиля, — а то неудобно: я ведь моложе вас...

Я без особой радости сел.

— А вы не сказали, зачем пришли.

И тут я окончательно понял: ни за что не смогу вот так сразу рассказать обо всем! Это надо встретиться несколько раз и говорить, говорить, говорить! Чтобы Лиля поняла, зачем я пришел, что я чувствую и что я понял за эти последние два дня, понадобится... То есть мы не должны вообще расставаться с нею! Но разве я мог сказать об этом?

Я знал: есть любовь с первого взгляда, — и даже начал склоняться к тому, что только с первого взгляда и бывает любовь, а не постепенная, с какими-то узнаваниями, выжиданиями, когда и чувства-то никакого нет, а так, одна видимость, обман себя и других. Удивительная вещь получалась: на самом-то деле я умнее, а говорю иногда такие глупости, что сам же себе противен, и не могу понять, отчего это происходит: почему я говорю не то, что хочу, и не то, что думаю? Почему я надеюсь, что потом скажу, когда-нибудь? Время-то сейчас быстрое, а я живу так, будто мне отпущено лет двести, самое малое!

Лиля, наверное, думала, я молчу, потому что сказать мне нечего, а я не мог говорить, потому что слишком многое надо было сказать.

— Мне еще в детстве понравился рассказ отца о Совке и Феде, и я пришел.

— Зачем?

— Увидеть вас. Вчера я вдруг понял: если не увижуясь, не поговорю с вами, то жизнь моя будет неполной, даже более того — бедной.

— Это правда?

— Чистейшая.

Чего-то не понимая, а может, все понимая, Лиля предупредила:

— Не смотрите так долго в глаза.

— Мне нужно запомнить, какие они у тебя.

— Разве не видно, что они у меня черные?

— В рассказе отца есть одна неточность...

— Какая?

— Что у тебя глаза зеленые...

— Поняла-поняла: он — по маминым глазам...

— Но, по-моему, это не он, а я так подумал: Совка и ты — для меня иногда одно и то же лицо... Ведь он

рассказывал вчера о Совке, когда ей было столько же, как тебе сейчас!

— Интересный у тебя отец: мы незнакомы, а он рассказывает... Значит, хорошо к нам относится... Надо у мамы спросить, может, она его знает.

Я поколебался и сказал:

— Он знаком был с Игнатом Редчанковым: останавливался у него ночевать!

Лиля нахмурилась.

— Мама не любит об этом рассказывать и говорит, что никто ничего не знает.

И тут у меня сорвалось с языка:

— Она про кукушкины сапожки говорила?

В Линых глазах как будто сверкнула коротенькая молния.

— Это ее любимые цветы. Но только не мои. А вы откуда знаете?

Мои слова произвели обратное действие: Лиля не засияла, а даже как будто вся сжалась, как-то уж очень холодно взглянула на меня. Все же было что-то в этой истории запретное.

А может, ей нелегко разговаривать со мной? Я уловил ее недоверчивый взгляд, особенно когда гладко говорил, будто по книжке. Но что делать, если я столько читаю! И в этот свой приезд я захватил томик Толстого, в котором «Казаки» и «Два гусара». Трижды я читал их в городе. Но совсем другое дело прочитать эти две повести в деревне, на покосе около своего дома, среди солнца и воздуха, трав и цветов, гудения пчел и бесчисленных мушек, больших и маленьких черных муравьев и даже красных, добравшихся сюда из леса! Сильнее пригревает солнце, и ты явственно начинаешь слышать голос самого Толстого, его призыв любить все живое, и вежливо смахнешь надоедливо настойчивого комара, осторожно, чтобы не раздавить кого-нибудь в траве, пересядешь от солнца, участливо подумаешь: сможет ли красный муравей отыскать дорогу и вернуться домой? Ведь для этого ему надо преодолеть, самое малое, пол-километра высоченной луговой травы и осоки или суметь, не блуждая, выбраться через покосы к стлани и, подвергая себя опасности, двинуться домой по глинистой дороге, по которой идут люди, коровы, едут машины... А если муравей угадает под дождь? На стлани через болото и засыхающую речку нет ни одного дерева, и

укрыться можно только под мостом, если муравей окажется от него поблизости...

Оторвешься от книги, чтобы порадоваться на окружающий мир, который ты недооценивал, а великий писатель помог тебе, — и жить захочется сильнее, чем прежде! И с такой неохотой закрываешь книгу — много дел, хоть покос еще не начался.

Я зачитываюсь нашим девятнадцатым веком! В двадцатом я тоже нашел для себя хороших писателей и предпочтение отдаю тем, кто подражает классикам. Мне нравится в литературе неторопливость, основательность, глубина, и уж что-что, а свою неторопливость я вынес оттуда.

Не успел я об этом подумать, как Лиля чему-то улынулась — конечно же моей неторопливости! — и пригласила меня в дом.

16

Клонившееся к верхушкам деревьев солнце отражалось в окнах и своим ослепительным блеском делало все еще более загадочным и радостным.

Меня поразила картина, по всей вероятности, художника-любителя, висевшая, как зайдешь в дом, слева, над кроватью, застланной покрывалом, будто сотканным из разных цветов и листьев, какие можно увидеть в Сибири на нескошенном лугу. На картине Совкин дом с красноватой железной крышей, с низко опущенными над землей водосточными трубами. Дом окружают сосны, на которые я только что смотрел в ограде; стволы у них под цвет домашнего сливочного масла, и от этого сосны кажутся новенькими, взявшими и сразу выросшими! В углу просторной ограды столпились молоденькие березки, напоминая девчат в белых фартучках и зеленых платочках, собирающихся пойти в гости к соснам или еще что затевающих. На них задумчиво смотрят старушки березы, но подойти к беспечному хороводу не решаются: они и тем довольны, что хорошо молоденьким березкам! По двору с полным ведром идет красивая женщина... У художника столько любви к дому, беседке, деревьям, что сразу же понимаешь: это все из-за красивой женщины! Что-то древнее, вечное виделось в этой картине: дом среди старых сосен, поблескивающие от утренней росы крыша и лужайка, на которой что-то старательно клю-

ют куры — наверное, хозяйка сыпнула им горсть зерна; колодец с почерневшей драньевой крышей и с бадьей, сохнущей на краю етырехугольного сруба; пролетающая вдалеке большая птица, скорее всего ворона; плотная изгородь, скрывающаяся за стволами берез, сосен и пересаженных из леса кедров... И в центре этой утренней картины — женщина с ведром, все собой оживляющая! И все освещено яркими лучами невидимого солнца! И никак не отделить Совку от дома, от колодца с маленькой двускатной крышей, от поблескивающих росой листьев деревьев, от летящей птицы — для меня все это было вместе, одно не существовало без другого...

Лиля — не из-за моего ли внимания к картине? — тоже не удержалась и долго смотрела на свою усадьбу, так удачно нарисованную художником, потом, не сказав ни слова, скрылась за высокой перегородкой на кухне, зазвенела посудой, и только тут я вспомнил, что весь день ничего не ел. В двух деревнях — Артухе и Черемшанке — жили мои родственники, но я не стал заходить к ним, считая, что у меня будет время на обратном пути. Нигде я не задерживался и все равно пришел, как мне казалось, поздновато.

Как она легко все делала! Будто сами собой на столе появились ложки, вилки, стаканы... Сказка продолжалась: алюминиевые ложки и вилки казались мне серебряными, стеклянные стаканы — хрустальными, старинный самовар — из чистого золота...

— При бабушке он всегда блестел, — сказала Лиля, неизвестно когда переодевшаяся в платье с короткими рукавами. — Теперь мы чайник кипятим. А самовар — по праздникам. Я вообще-то с бабушкой согласна: из самовара чай вкуснее. И наливать из него интереснее.

Лиля лучинками разожгла самовар возле русской печи, бросила в него несколько больших, погасших углей, подхватила, как маленького ребенка под мышки, выбежала на крыльце, спустилась по ступенькам, поставила на траву — так, чтобы его хорошо было видно из окна, и чуть не бегом исчезла на огороде. Мне было приятно, что Лиля делает все так, будто я довожусь ей родственником, которого она долго не видела и в первую минуту даже не узнала.

В том, что мы с ней ни разу не встречались, было какое-то недоразумение....

Я с наслаждением вдыхал слабый, исчезающий запах дыма, оставленного разожженым самоваром, все больше чему-то радовался и думал: «Лиля меня хорошо встречает, а там время покажет: полюбит — буду самым счастливым человеком, не полюбит — восприму как должное, — не могут же все быть самыми счастливыми...»

Я посмотрел в окна, и в каждом из них был виден лес, близко подступавший к дому, и представил, как в бурю или в сильный ветер гудят и раскачиваются деревья, как огромные тени то появляются, то исчезают на полу, на стенах, на потолке... И на миг Совкин дом показался мне маленькой хрупкой лодочонкой, которую в шторм океанские волны бросают как попало, и в лодке — ни одного мужчины, и некому подбодрить женщин, не хватает крепкой мужской руки... Я с сомнением взглянул на свои руки, сжал и разжал правую и почувствовал, как мускулы мои наливаются силой, и мне захотелось, чтобы скорее наступил покос. Косить я умел и любил. Грести сено и складывать его в копны, а потом в зарод было для меня не работой, а праздником! И если не удавалось приехать домой, то я косил сено у кого-нибудь возле города бесплатно. Не брать же деньги за работу, от которой делаешься моложе и сильнее!

Двери в доме были открыты, я услышал Лилю песню, звуки которой оборвались, когда она поднималась по крыльцу.

Лиля вошла радостная, мне кажется, про себя она еще продолжала петь, но я не был уверен, что ее песня имеет хоть какое-нибудь отношение ко мне. И мне все равно было хорошо. Она положила на стол только что сорванные, пахнущие солнцем и ночью молоденькие огурцы и горсть зеленого лука. Сало в маленькой веселой тарелке, нарезанное маленькими кусочками, и в большой — белый-белый домашний хлеб еще раньше появились на столе. И синяя, с отпотевшими боками голубика в эмалированной чашке, и коричневый глянцкий кувшин с холодным молоком, принесенный из погреба. И вдруг неожиданно, как и все, что она делала, Лиля остановилась, оглядела стол — не забыла ли чего поставить? — убедилась, что ничего не забыла, первая села и пригласила меня.

Но чем внимательнее она была ко мне, тем как будто дальше я отодвигался от нее...

«Она всех так встречает, ко всем приветлива...»

Я медленно протянул руку, взял хлеб — и сразу же комнату залила тихая, такая знакомая и вечно новая музыка, идущая издалека, — это солнце, выйдя из-за сosen, осветило стол и нас с Лилей. Я разрезал самый лучший огурец на две длинные половинки и одну подал Лиле, весело наблюдавшей за мной. Думал, она откажется, проговорив что-нибудь вроде этого: «Ах, какие нежности!» — или наградит меня насмешливой улыбкой, но она взяла, глаза ее блеснули. Ел я медленно, это у меня всегда так, даже если я буду стараться, у меня все равно получится медленно, — и все боялся, что обед скоро кончится и будет ли потом все так же хорошо, как сейчас. Лиля, опередив меня, разрезала новый огурец и одну половинку подала мне. Или ей было приятно это сделать, или она хотела быть со мной как бы в расчете? До чего только не додумаешься, когда нет уверенности в себе! Но почему я прибедняюсь? Все-то у меня со сложностями: я их не хочу и сам же иду им навстречу...

И вот, пока я таким образом рассуждал, то есть медленно ел да на Лилю взглядел, она меня, видно, хорошо поняла и сказала:

— Мне бы, Николай, поговорить с вашим отцом, а вам — с моей мамой.

Сказала с такой ясностью во взгляде, с такой доверчивостью и полностью меня обезоружила.

— Разве мы не говорим? — упавшим голосом отвечал я.

— Ваш отец мне понравился,— ласково проговорила она, а моего вопроса как будто и не слышала.

— А как же я, Лиля? — В голосе моем, кроме безнадежности, ничего не было.

Она взглянула на меня как-то уж очень отстраненно, словно бы отодвигаясь от стола, чтобы посмотреть: а может, я и в самом деле ничего? Но того, что ей хотелось увидеть во мне, она не увидела, и ее полноватые губы капризно вытянулись, приоткрылись, и, кроме вздоха разочарования, я ничего не услышал.

«Ну, что я могу сделать, если вы мне не нравитесь?» — говорил ее взгляд. А может, мне так казалось? Не знаю.

Меня как будто черт за язык дернул, и я, сам не знаю зачем, сказал:

— Отец не хотел, чтобы я шел к вам...

Лиля недоверчиво взглянула на меня, и я вот чему удивился: она угадала, что я говорю неправду, — это матушка моя не хотела, чтобы я знакомился с Лилей, а отец просто-напросто не верил, что я пойду на Бадонки, и уж вовсе не верил, что я смогу понравиться Совкиной дочери, — из-за того, что весь я какой-то разобранный: там, где надо действовать, я только рассуждаю! Я и сам не люблю себя за это, но, я уже говорил, это у меня само собой получается.

Как будто продолжая уличать меня в обмане, в котором я не был виноват, Лиля спросила:

— Почему ваш отец не хотел, чтобы вы шли к нам? Я этого не поняла.

— Отцу не нравится во мне...

Я отлично понимал, что гублю себя своими же словами. Но не мог же я обманывать Лилю! Хотя, кажется, она сама разбралась во мне.

— Я знаю,— ответила она.

— Что ты знаешь? — не очень-то весело спросил я.

Лиля не торопилась с ответом, и я понял: не хочет меня огорчать.

И тогда, чтобы утешить себя, я с еще большей острой вспомнил о Совке.

Лиля будто прочла мои мысли:

— Мама вторую неделю в больнице. В Иркутске. Вы бы знали, как она не хотела ехать!

Услышав эту новость, я сильно огорчился.

Лиля нисколько не удивилась, что я все так близко принял к сердцу, но взглянула на меня теплее. Ее взгляд ободрил меня, и я убежденно сказал:

— С Совкой никогда ничего не случится... Совка будет жить вечно!

— Бабушкины сказки,— ответила Лиля, но посмотрела на меня куда внимательнее, чем за все время нашей встречи, я бы даже сказал, проникновеннее, и, может, это мне почудилось, взгляд ее наполнился нежностью. Жизнь показалась мне в тысячу раз интереснее!

Я видел: она хотела поверить в мои слова, но что-то ей мешало. Может быть, то, что эти слова о том, что Совка будет жить вечно, говорю я, а не кто-то другой?

Она улавливала малейшее мое движение, угадывала, что я скажу. Я терялся от этого и делался глупее.

— Вы себе невесту ищете? — пристально глядя на меня, спросила Лиля.

— И да, и нет, — ответил я.

— Вот, видите, какой вы!

— Какой? — не понял я.

— Неопределенный. Так нельзя.

«Будь что будет, — подумал я, — сколько можноходить вокруг да около!»

— Свою невесту, Лиля, я нашел давно, еще в детстве. Сегодня я в этом окончательно убедился!

Лиля поняла, что я говорю о ней, но ничуть не смущилась. Она медленно раздавила губами несколько больших голубичных ягодин (такая голубика, я замечал, растет только на болоте) и устремила на меня свой взгляд — глаза ее делались все больше и больше и стали такими, какими мне представлялись иногда до нашей встречи, — Совкины глаза! Голубичный сок сделал Лилины губы еще более яркими. Она что-то очень серьезно обдумывала.

— Не надо, Лиля, ничего не говорите — так будет лучше.

«Столько лет ждать и за одну минуту погубить все?! Не-е-ет, я лучше еще подожду».

Она опустила глаза, разгладила цветастое шелковое платье на полных коленях, а я умирал от любви к ней и не знал, как сказать ей об этом.

Почему я попросил Лилю ничего не говорить?

Что будет лучше?

Для кого?

И тут же нашелся ответ: если она полюбит меня, то хорошо будет мне, а Лиле — плохо. Мне хотелось сейчас же признаться ей в своем давнем чувстве, и больше всего я боялся об этом говорить! Слишком быстрым для Лили было бы мое признание. Ведь у меня не любовь с первого взгляда, а самое глубокое, никогда не покидающее меня чувство — как будто я с ним родился!

— У меня к вам просьба, — сказала Лиля, — зайдите к маме в больницу. Она вам обрадуется, вот увидите!

«Что с ней? Неужели что-нибудь серьезное?» — одним взглядом, но таким встревоженным, как будто Совка не только Лиле, но и мне была матерью, спросил я.

Лиля постаралась успокоить меня:

— Мама в общем-то здорова, ни на что не жалуется, только глаза болят. Говорит, что это от слез. В поездах

не любит ездить: как сядет в вагон — так сразу голова заболит...

— А сейчас как?

— Пишет, что доехала хорошо.

— А раньше она к врачам обращалась?

— Что вы! Я ее насили уговорила!

Чтобы достать конверт с адресом, Лиля села рядом со мной, открыла ящик стола. Когда она протянула мне конверт, ее длинные пальцы коснулись моей руки, а Лиля как ни в чем не бывало смотрела на меня широко открытыми глазами, и у меня было ощущение, похожее на то, какое я испытал, когда находился в предгорьях Саян и с обрывистой скалы смотрел вниз... Она как будто не замечала, что мы сидим так близко, — я ощущал жар ее сильного молодого тела, когда она нечаянно касалась меня. Она, сама того не зная, вселяла в меня новые надежды, и я снова верил, что жизнь моя только начинается. Лиля что-нибудь доставала и не торопилась от меня отклониться, а когда садилась, то глубоко вздохала. Я с волнением перечитывал адрес на конверте. В Совкином почерке мне все нравилось — рисунок каждой буквы, выведенной густыми химическими чернилами, и что буквы были большие и неровные, похожие на школьные, и даже точка в конце адреса! Но почему на конверте девичья Совкина фамилия — Карагодина, а не Королькова, по мужу?

— А они не расписывались, — сказала Лиля. — Вы ведь знаете, мой отец погиб на фронте?

Я кивнул.

— Мои дедушка с бабушкой тоже не расписывались, а всю жизнь прожили, как другим и не снилось! Ну, кто сейчас построит такой дом для своей невесты? А дедушка построил. Вы не думайте, тогда он молодой был... Ну, вот как вы... Представляете, как они любили друг друга: на один день не могли расстаться!

Лиля посмотрела на меня так, будто успела во многом разочароваться, а человека, которого бы она полюбила на всю жизнь, нет и не предвидится.

«Лиля, я вас очень люблю, — хотел сказать я, — так люблю, как никого на свете!»

Я ведь, оказывается, давно ее любил, но по-настоящему, до безнадежности, влюбился вот сейчас, когда увидел ее! Теперь-то я не сомневался, что смогу бросить город, — зачем он мне без Лили? Чувства мои смеша-

лись: в одно и то же время я был самым счастливым человеком и самым несчастным! Я как бы проваливался в небытие и возвращался из него обновленный... Неужели она не понимала, что и я так же думаю, что мы с нею похожи, что мы созданы друг для друга?! И какая это будет ошибка, если пути наши разойдутся! Я готов был кричать: что со мной, почему я не говорю тех слов, которые шел сказать? Ведь они были! И сейчас есть! А потом... потом Лия выйдет замуж за того, кто ее не любит, а я женюсь на той, которая не любит меня?

Я начал быстро говорить, и, когда мне казалось, что вот-вот я скажу что-то очень важное, то, что и нужно было сказать, Лия чуть-чуть дотронулась до моей руки своими нежнейшими пальцами: не надо.

— Да вы не переживайте,— стала успокаивать она меня.— Я же ничего не говорю, вы хороший человек... Я чуть не влюбилась в вас...

Мы пили чай с новым голубичным вареньем, и вот что я услышал от нее:

— Я полюблю кого-то и выйду замуж. Вот и все.

— А если он тебя не полюбит?

— Полюбит,— уверенно сказала Лия.— Ведь это будет зависеть от того, насколько сильно я полюблю. Ну, а если не полюбит, пусть идет своей дорогой.

Не было отчаяния, не было того, что вот я отвергнут и все кончено,— ко мне возвращалась далекая, такая знакомая и вечно новая музыка, которую я услышал, когда мы с Лилей сели за стол и когда солнце вышло из-за сосен и осветило нас и всю комнату... И вот что меня утешало: как я лучше делался от хороших книг, картин, песен, так же я делался лучше от знания того, что в мире, совсем недалеко, можно сказать рядом, живет Совка. Может быть, от восторга и от самой чистой любви я робел перед ее дочерью, и ее неполный отказ только подтверждал то, о чем я только что говорил,— она была гостеприимна, она позволяла очаровываться ею, она подсказывала мне, как и Совка, что-то большое, огромное, чего я никогда не должен забывать. И когда я проникнулся этим чувством по-настоящему, когда я хорошо буду знать, кто я, зачем я, без чего я не смогу жить, тогда мне и в любви повезет. Лия, как и Совка, подталкивала меня к этой мысли пусть даже неосознанно, потому что они и были всем этим миром, к которому я, то-

же неосознанно, всегда стремился. Но теперь, когда я осознал это, жизнь моя сделалась во много раз привлекательней, и никакие неудачи не сломают меня.

17

...Жену я себе выбрал, похожую на Совку,— волнистые длинные волосы, только у Совки они белые, как лен, а у моей жены — черные, цыганские. Взгляд, фигура, движения были Совкины, как я их себе представлял. Глаза у Совки, мне это хорошо запомнилось, зеленые... И у моей жены тоже.

Однажды я пришел на свидание под хмельком, и она ни за что по этой причине не хотела выходить за меня. Задержав ненадолго свой таинственный взгляд на мне, она уже собиралась пройти мимо, но я поклялся, что выпил случайно, и начал рассказывать про Совку... Она заинтересовалась, заслушалась и потом никак не могла понять, чем я сумел ее околовать: она как будто не хотела и — пошла за меня. Ей показалось тогда (да и сейчас кажется!), что я рассказывал о ней самой, сочинял, глядя на нее. А Совка — выдумка, то есть не выдумка, а моя будущая жена Лариса...

— Зачем ты меня сюда привез? — как-то вырвалось у нее, когда мы прожили в огромном пустом доме неделю, а она все не могла привыкнуть к печали, растворенной в самом воздухе даже в яркие, солнечные дни.

К нам здесь хорошо относились, а нас не покидало чувство какой-то несправедливости: мы с женой, как и все уже немногочисленные жители моей деревни, не только не видели никакой пользы от того, что ее надо сносить, но считали это покушением на святая святых.

Мой младший брат, дольше всех моих братьев и сестер державшийся в родной деревне, в конце концов тоже уехал из отцовского дома. Остановился он в районе на самой крайней и новой улице Солнечной, где причудливо извивается речка Заларинка и все лето зеленеет большой кочковатый луг, безраздельными хозяевами которого стали домашние гуси. И в город брата моего ничем не заманишь, и отцов дом, еще крепкий, самый большой в этом краю, стоял пустым. Ограда очень скоро заросла лебедой, полынью, коноплей, на ко-

торой с утра до вечера раскачивались воробы, не обращавшие на нас никакого внимания — как будто знали, что мы здесь не хозяева. Польнь постепенно редела — мы ее ломали на веники, подметали в избе, на веранде, на крыльце... После зеленого веника свежий печальный запах держался долго, и мы скорее бежали в лес за грибами, где нам становилось легче. А когда возвращались, то из-за моста, от Первой дороги, идущей вдоль болота по лесу, открывался вид на деревню: отсюда она казалась нетронутой, и от этого обмана делалось еще тяжелее на душе. Радость, что деревня будто бы целая, была кратковременной — всего лишь на миг.

В другой конец деревни, скрытый лесом, моя жена боялась ходить: днем и ночью оттуда доносились крики и стоны Шуры Петровой. Шурины зять с дочерью и ребятишками, когда закрыли начальную школу, а потом и ларек, переехали на центральную усадьбу — всего за пять километров. Шура не могла смириться, что деревни, в которой она прожила всю свою жизнь, и дома, веселого, из круглых бревен, не будет. Она продолжала навещать свой старый, но еще крепкий дом, оставалась ночевать в нем.

Успокаивалась она, когда пасла около дома свою черно-пеструю корову со спиленными рогами...

По ночам Шура бежала к соседям, все хотела что-то сказать им. Двое внучат, ночевавших с нею по просьбе матери, убеждали бабушку, что соседей нет — уехали. Она внимательно слушала их, но как будто не понимала, о чем они говорят, или не хотела верить, и шла смотреть снова: может, соседи вернулись?

Женщины, ходившие собирать ягоды за харгантуйский мостик, зашли к нам. Они бы прошли мимо — «рассиживаться некогда», — но их привлек необычный высокий букет самых разных лесных цветов, стоявший на голубом подоконнике. Привлекло их еще и то, что окно в брошенном доме было распахнуто и радостно поблескивали никем не разбитые стекла. У нас был транзистор, и как раз в то время, когда женщины с ведрами проходили мимо, на улицу, через распахнутое окно, доносился голос Лидии Руслановой, исполнявшей лучшую свою песню: «Окрасился месяц багрянцем...» Мои односельчанки, жившие теперь на центральной усадьбе и никак не могущие к ней привыкнуть, заглянули через подоконник в комнату, похвалили, как у нас чисто прибра-

но. У каждой из них при этом промелькнуло по лицу выражение нескрываемой горечи: исчезает родная деревня, и от чисто прибранных комнат делается еще тощнее.

Еленка Грачева быстро, как будто боялась, что ей помешают, сказала:

— Объявили бы, что деревня останется, я без всякой машины бегом бежала бы домой и все бы на себе перетаскала! — И с безнадежностью и в то же время решительно махнула рукой: — Пошли, бабы, хоть на крыльце посидим!.. Бутылка есть, Николай? — немного успокоившись, вдруг поинтересовалась Еленка.

— В подполье стоит, холодненькая. «Столичная», — чуть не в один голос ответили мы с женой.

— Нам хоть какая, лишь бы была, — отчаянно сказала Еленка. — Помянем родную деревню, скоро и этих домов не останется, и некуда вам будет приезжать. Разве что с палаткой... Как цыгане...

— Мы теперь все на цыган похожи, — невесело засмеялась Нина Сиротина. — Вот хоть бы меня взять: живу там, а вижу себя все время здесь!

— Тело — там, а душа — здесь, — уточнила Еленка. — Жили, горя не знали, так нет — надо... чтоб лучше было! Кому лучше-то? Вот вы мне, бабы, объясните, может, я и вправду отсталая какая?

В этих ее словах, как она их сказала, как посмотрела на меня, был упрек — и я виноват в том, что рассыпалась деревня. Я рад был ее упреку: значит, не совсем махнули на меня рукой, значит, своим считают, и значит, думалось мне, Еленка всыплет мне, долго таиться не будет. Даже оттого, что я подумал об этом, мне легче стало — женщины сразу же сделались ближе, роднее, как будто я с ними и не расставался. Найдется, за что мне всыпать — ох найдется! — но вот сидим, говорим, смотрим друг на друга, и ни одна не трогает меня, даже как будто рады, что хоть вот сейчас приехал, не забыл. И я полюбил их еще больше. Они как-то по-особенному взглядывали на меня: может, хотели представить, увидеть себя на моем месте и как бы они тогда жили... Не-е-ет, не нравилась им моя жизнь: она им и вовсе казалась цыганской!

Еленка опять уставилась на меня красными от бессонницы глазами, словно требовала объяснения: кто распорядился убрать деревню, кому пожаловаться? Но я молчал: мне было интереснее их слушать. Да и что я

мог сказать? Всю кашу им приходилось расхлебывать, я-то оказывался в стороне...

— Для нас стараются, а мы, дуры, не понимаем! — не то в шутку, не то всерьез сказала Еленка.

Все разговоры теперь сводились к одному: скоро не будет деревни.

— Ниче, бабы, — в первую очередь себя утешала Нина, — будем проводывать деревню — за черемшой приезжать, за ягодами, за грибами... Подумаешь, пять километров!

Еленка не согласилась:

— Пока туда да обратно едешь, уже набрала бы. То ли дело было: не надо трястись на мотоцикле, трактор гонять с тележкой... Идешь к лесу, он навстречу ветками машет, как будто дождаться тебя не может! И-и-и — ни грибов, ни ягод не надо, так и подмывает побежать к нему, скорее в нем оказаться! Мне другой раз кажется: шла бы по Первой, по Второй или по Третьей дороге всю жизнь!

— Там таких дорог нету, — Нина Сиротина вздохнула. Там — это значит на центральной усадьбе колхоза. — Ни реки, ни ручейка, ни лужка.

— Хорошо вам, — сделала неожиданное заключение молчавшая до этого Гая Котова. — Уедете и видеть не будете. Как будто так и надо, издалека-то. А как нам?

— Будем привыкать, — сказала Нина. — Больше ничего не остается.

— Как это не остается? — снова встрепенулась было притихшая Еленка. — Брошу все и уеду на край света! Вот увидите, девчата.

— Где он, край света? — спросила Гая.

— Знаю где.

— Ты бы, Еленка, не хвасталась, — укорила ее Нина. — Знаешь же, что никуда не уедешь: будешь бежать домой впереди поезда!

Бабы представили Еленку, бегущую впереди поезда, и засмеялись. Еленка тоже засмеялась, но не очень весело — подружек поддержала.

Лариса принесла закуску — с иркутского рынка огурцы, красные помидоры, копченую колбасу — и, что выглядело уж совсем по-праздничному, каждой женщине дала по яблоку. Яблоко с сохранившимися двумя листочками — Еленке. Еленкино лицо засветилось, как у

девочки, но горечи, засевшей глубоко в сердце, эта маленькая радость не смогла победить. Она еще больше расстроилась.

— Зря принесла закуску... Нам чтоб погорчее было! Ничего нам не надо, кроме вот этого красенького яблока с листочками... Пусть дома лежит на столе, я буду смотреть на него с дочкой...

— Да твоя Ирка его сразу съест!

— Нет, она сначала листочки оборвет.— Еленка стрельнула хит्रющим глазом на Галю и Нину, сразу же оттаявших и от первой рюмки, и от Ларисиной приветливости.— Вы на мое яблоко не зарьтесь,— довольным голосом проговорила Еленка и на всякий случай спрятала яблоко в кармашек коротенькой шерстяной кофточки.

И уже перед самым уходом добродушная Нина Сиротина укорила Еленку:

— Ты че это, подружка, когда шли сюда, заикнулась и не рассказала?

— А у тебя языка нету?

— Да я не умею.

— А че тут уметь — рассказывай.

— Ты видела, тебе и рассказывать.

— Мне так мне,— согласилась Еленка.— Я никого не боюсь. Ну, значит, плакала-плакала, выла-выла Шура Петрова, что деревни нашей не будет, а потом перестала. Ну, думаем, слава богу, проплакалась. Ведь и нам не легко было: ложишься вечером — она воет; утром чуть свет встаешь — а она еще не перестала, да так дико, не знаю бы, куда сбежала. А станешь с ней говорить, еще тошнее. А потом тихо стало. Поехала я с Иришкой вечером на Булыки — картошка у меня кончилась. Пшеница на Ильинке, сами видели, колос к колосу! Собирались не сегодня завтра из нашей бригады комбайн послать. А вижу — кто-то жнет вручную! Вечером поле нетронутое было, а утром с Иришкой возвращаемся — на Ильинке, возле самого леса, снопы стоят. Думаю, сон мне снится! Серпами уж сколько лет, как перестали жать. Теперь-то, наверно, и серпа ни у кого не найдешь. «Иришка,— говорю,— это суслоны стоят, что ли?» — «Какие,— говорит,— суслоны?» А я у нее спрашиваю: «Сноп к снопу приставлен?» — «Да, приставлен». — «А ты,— говорю,— не обманываешь?» — «А ты что,— отвечает Иришка,— не видишь?» — «Вижу,— говорю,— но

глазам своим не верю...» Кто-то ночью пшеницу серпом жнет и снопы ставит. Страшно мне стало... А Иришка глядит на снопы, составленные в суслоны, и радуется. Соскочила с телеги, подбежала к суслону, внутрь заглядывает: кажется ей, что кто-то там спрятался. Мне от этого еще страшнее стало... «Ну их,— говорю,— снопы эти, поехали». А Иришка мне: «Почему ты не хочешь подойти к суслонам?» Слово ей это понравилось... «Боюсь»,— отвечаю. Иришка к другому суслону подбежала. Ей весело, не понимает еще, а у меня мурashki по спине. Что, думаю, за колдовство? На вторую ночь и на третью опять кто-то до самого леса суслонов наставил... Да, главное, тайком. Навроде как нечистая сила колхозу помогает... «Покараулить бы надо»,— говорю я бригадиру. А он смеется: «Зачем караулить? Какая нам разница, кто жнет. Лишь бы поскорее убрать!» — «Да ну,— говорю,— тебя». И правда, бабы, мне не до шуток было. А саму так и тянет ночью посмотреть: кто жнет? Да идти одна боюсь... И вот что удивительно: жнет кто-то ночью, а на земле — ни одного колоска!

— Наверно, днем потерянные колосья подбирает,— сделала предположение Нина.

— Днем, тебе говорят, никого нету... Днем там ездят, и никого не видели.

Галя покачала головой:

— Жнет крадучись... Зачем? Это же...

Еленка обвела всех взглядом, отодвинула недопитую рюмку, тяжело вздохнула:

— Не хотела я вам говорить...

— Да мы уж сами догадались,— робея, проговорила Нина, и выражение ее лица изменилось: из задумчивого оно сделалось плаксивым.

— Шура жнет,— совсем тихо сказала Еленка.— Вы только, бабы, представьте: ночь, луна светит, на семь километров ни души, и одна жнет, торопится... И это уже которую ночь...

Еленка долгим взглядом смотрела через болото на высокий лес, за которым еще перед войной появились маленькие ильинские поля, которые только недавно закончили корчевать — так много до последних лет стояло на них гигантских лиственниц и высоких пней. Теперь два поля соединились в одно, а на маленьком, третьем поле, которое было еще дальше от деревни, и работала по ночам Шура.

Галя зябко передернула плечами и, ни на кого не глядя, проговорила:

— Что-то зашло ей в голову... Докторам бы ее надо показать.

— Только стронься, потом никто не поможет,— уверенно сказала Еленка.

— А ты че, была доктором?— спросила у нее пригрунившаяся Нина.

— Не была, а знаю.

— Ты у нас профессор,— сказала Нина.— Мы уж, так и быть, не будем с тобой спорить.

Женщины объяснили, кто из них где живет, пригласили в гости и, полюбовавшись букетом цветов на подоконнике, ушли.

18

Когда не осталось никаких сомнений, что деревня доживает последние дни, я как-то иначе стал на все смотреть. Раньше, бывало, когда мои отец с матерью были живы, я то сено кошу, то лрова заготавливаю, а в свободную минуту еще за грибами, за ягодами схожу; теперь же, когда мы с женой вот уже третий раз жили в пустом доме и делать ничего не надо было, только приготовить поесть, я даже за ягодами не хотел ходить. Мы слонялись по опустевшей деревне, а если уходили в лес, то недалеко и ненадолго.

Один раз, подходя к нашему дому от реки, с огородов, я взгляду на окна и вздрагиваю: из крайнего к старой избе окна смотрит до боли знакомое женское лицо в платке с яркими алыми цветами. И тут же я вспомнил: это маки в старом кувшине освещены последними лучами солнца, стекло блестит, и кажется, что в окно из избы смотрит женщина в платке...

Я вдруг обнаружил, что мне интересно сидеть на высоком крыльце нашего дома, с которого хорошо видны болото, возвышающийся уступами лес и вершины Саянских гор. Я ничего не мог с собой поделать: ну вот, иду за водой, за дровами, утром растапливаю плиту, помогаю жене, только чтоб не останавливаться, и неожиданно обнаруживаю, что сижу на крыльце или на поваленном заборе на огороде, смотрю на исчезающую речку, меняющиеся облака, на лес, чей-нибудь дом или колодец... Знаю: все это уйдет, только лес да облака оста-

нутся, ну и дорога еще, та же самая дорога... И я смотрю на дорогу до боли в глазах...

Два года назад, когда печаль исчезновения сильно коснулась моей деревни — уже не было школы, магазина, бригадной конторы — и когда я стал внимательнее приглядываться ко всему, что ее окружало, мы с женой увидели необычный туман. Никогда я не видел такого тумана! Лариса пришла в еще большее изумление... Мы ничего не могли сказать друг другу и только смотрели, что проделывает туман. Нам казалось: он знает, что мы на него смотрим, и о чем-то предупреждает... Я видел, как он протягивает к нам свои руки, приоткрывает древнюю завесу, что-то подсказывает, доверяется и не верит нам...

Долго мы вспоминали этот туман. Мы словно были посвящены в какую-то тайну, и никому о ней не рассказывали...

Была, как и тогда, вторая половина августа, дни стояли жаркие, а над болотом не только такого, как в тот раз, но и вообще не было тумана — из-за того, что за полмесяца не прошло ни одного дождя.

Но вот однажды, когда закатилось солнце и деревне подкрались первые сумерки, Лариса — мы только что пришли из ближнего леса — выбежала из-за веранды, где она подкармливала сойку, прилетавшую в одно и то же время, и крикнула счастливым голосом:

— Скорее! Появился!

— Кто?

— Туман!

Такой восторженной я ее давно не видел, и мне отчего-то стало неловко и как будто стыдно — может быть, оттого, что она восторгается, а я нет.

— Не нужно мне никакого тумана, я уже и забыл о нем, — как можно равнодушнее ответил я.

Она недоверчиво посмотрела на меня, схватила за руку, сделала движение к лесу.

— Ну идем, идем! Посмотри!

Однажды услышав, как я огорчился, что нет больше тумана, Лариса стала наблюдать за молчаливым болотом. После сильной грозы, не дававшей нам спать, и проливного дождя, который шел всю ночь, туман снова появился.

Забывая о крапиве, подстерегавшей нас везде, даже на тропинке в ограде, мы кинулись — она впереди, я за

нею — на огород, на чистое место и остановились шагах в пяти от провалившегося колодца. Сначала я не увидел никакого тумана. Лариса показала в противоположную сторону — в «гнилой угол» над харгантуйским болотом. Едва родившись, туман, помедлив, вдруг устремился по болоту, как будто гнался за кем-то... В «гнилом углу» болото круто поворачивало вправо, и, соответственно, лес полукругом тоже поворачивал вправо и скрывался за ближним лесом, деревенским. Перед самым болотом, напротив Ушканки, возвышалась одинокая раскидистая сосна... Как в сыром месте выросло такое могучее живописное дерево, для меня было загадкой. Создавалась иллюзия, что возле сосны болото заканчивалось, и в этом почти квадратном углублении быстро накапливался туман. Он заполнил своей молочной белизной узкое пространство — как будто отрезал его от болота — и некоторое время не двигался, оставляя незакрытыми верхушки дальнего леса. Огромная одинокая сосна словно удерживала туман, не давая устремиться ему по болоту. Я успел заметить, как вытянутое облачко тумана, брошенное рукой густого тумана, вдруг отделилось, а может само образовалось, и помчалось по болоту, нисколько не увеличиваясь.

Остановилось оно напротив нашего дома.

— С тем туманом, который мы видели два года назад, не сравнишь... — с сожалением сказала Лариса. — Тот туман был колдовской... Я после него долго не могла уснуть. Впервые в жизни такое видела...

Я согласился с нею.

Лариса ждала, что я еще что-нибудь скажу, и, может, не о тумане, а о наших с нею взаимоотношениях...

Не знаю, то это было или нет, чего она ждала от меня, но я сказал:

— Столько лет жил здесь, перевидел столько туманов, а ты и в тот раз, и сегодня первая заметила...

Она была довольна.

— Да я все время ждала...

— Я тоже ждал, а увидела ты.

— Смотри-смотри! — вскрикнула она. — Вот это да-а-а... Он — живой!

Как будто рассердившись, что мы ругаем его, а точнее, сожалеем, что он не такой, каким мы его видели однажды, туман повел себя словно рассерженный фантастический зверь: он несколько раз изменил свои раз-

меры и очертания, оторвался от болота, поднялся чуть не вровень с вершинами деревьев, как будто что-то там высматривал, упал книзу, обшаривая корни деревьев и непролазную чащобу, и кинулся к высокой стлани, где когда-то был мост с перилами.

Я, как и в первый раз, ждал встречного тумана.

Но его не было.

И вдруг...

— Встречный туман! Смотри!

— Где?! — еще радостнее, чем я, вскрикнула Лариса, не понимая, куда я смотрю.

Я указал рукой.

Она все равно не видела.

— Надо же... ты видишь, а я нет, — чуть не до слез огорчилась Лариса.

Но это оказались ярко белевшие в первых сумерках частые стволы молоденъих берез на той стороне болота, куда я в детстве ходил за морошкой. Самое настоящее облачко тумана, только неподвижное!

Лариса все равно обрадовалась, когда увидела это неподвижное облачко.

— Какая интересная подделка, — поспешил сказать я, нисколько не жалея, что ошибся.

— Никакие это не березы, — сказала Лариса. — Днем я их там не видела.

Сумерки сгущались, и я не мог опровергнуть ее. А чтобы я не противоречил, она обняла меня, и я согласился, что берез там никогда не было...

Туман крадется узкой полоской возле леса, кажется, вот сейчас он растворится среди частых деревьев... Странное ощущение: вершины Саян на горизонте, за лесом, похожи на облака, а облака — на горы...

В сумерках, внизу за огородами, не видно траурно черневшей днем слегка извилистой ленты дороги, выходившей к мосту, которого теперь не было. Не было видно и густых зарослей лозняка, тянувшихся по всей длине болота у леса и близко к огородам, вдоль реки, которую старательно осушали и, не скрою, к моей великой радости, так и не смогли осушить. Не видно этих светло-серо-зеленых шаров и шершавой, начинающей желтеть осоки, никак не желающей превращаться в мягкую траву...

Камыши исчезают, меньше стало трилистника... Нет желтых кувшинок и белых лилий...

На фоне только внизу просветлённого после дождя вечернего неба, строго нахмутившись, чернеют треугольниками крыши брошенные дома... Я не слышу — стою далеко,— а только чувствую, как тихо журчит, всхлипывает в зарослях лозняка неглубокий ручей, который еще недавно был хоть и маленькой, но речкой; он усугубляет свое положение еще тем, что из года в год сужает себе дорогу — заносит клинообразное, не свое русло песком и илом, как что-то враждебное, и в этом немыслимом старании укорачивает свой век.

19

Так чему же радуюсь я, идя ранним утром в лес?

И пустующий огород, и погубленная речка, и поредевший лес, и цветущее болото такие же, как вчера и завчера. Так почему же сегодня я смотрю на них без вчерашней расслабленности и обиды на бывшего председателя, который извел речку, и на нового, который добрался теперь до деревни? Рушилась деревня, и мне казалось, что рушится весь мир! Твердая опора уходила из-под моих ног, я это ощущал, хоть и давно жил в городе. Пока деревня стояла, я был спокоен, даже беспечен, любые мои неудачи делались мелкими и сами собой исчезали, стоило мне появиться в родной деревне, и даже не появиться, а издалека увидеть крыши домов. Еще только сойду на станции с поезда, сделаю первый радостный вдох и до родной деревни еще семьдесят километров, а райцентровский воздух уже намного чище городского, даже как будто слаще, он уже свой, и я не замечаю, что в нем, как и в городе, пахнет железом, разогретым на солнце асфальтом, сгоревшим каменным углем, я только чувствую запахи полей и соснового леса и с жадностью вглядываюсь в лица на автобусной остановке. Особенно любил смотреть на молодых женщин: какая-нибудь тогда, раньше, могла стать моей женой...

Из-за неподвижной гряды облаков над Школьным лесом вот-вот появится солнце, и тогда немного поутихнут толпы звенящих комаров и мошки, так облепивших мою одежду, что она кажется покрытой светло-серыми пятнами, которые лучше не трогать. С лица я гоняю комаров березовой веткой. На стлани, не успевшей просохнуть от последнего дождя, все еще окутанной густым

белым туманом, нет ни одного свежего следа, я первый. Даже птицы на меня, так рано идущего, смотрят как на своего — далеко не улетают.

Сворачиваю в лес по Третьей дороге. Она самая широкая, самая старая, со множеством светлых луж и объездов, с клюквенным болотом по правую сторону, на котором, правда не каждое лето, живут журавли. Мне все время кажется, что где-то здесь, недалеко от журавлинного болота, вот под этим молодым сосняком, в котором растут чуть ли не все грибы, была когда-то деревня... «Да, была,— скажет мне потом один из старожилов.— Это не ты догадался, а это в детстве тебе говорили, ты забыл и только вот теперь вспомнил...» И войны здесь не было, и затопления не было — Ангара от нас далеко,— а деревни исчезали по-тихому. Не верилось, что и на месте нашей вырастет такой же лес, по которому, вот как сейчас я, будет бродить мой правнук и верить и не верить, что когда-то была здесь деревня и что родовые корни его здесь, под этим лесом, как и мои, на Буграх, на которых я побывал только в прошлом году. И сумрачно мне стало, оторопь взяла, сожаление, что в начале моей жизни и когда уже был подростком два или три дома оставались на Буграх, говорят, жил еще в одном из этих маленьких домов какой-то старик, какой-то мой дальний родственник. Неизвестно, кем и когда он похоронен... И ведь никакой особой давности нет — за полвека все оказалось преданным забвению, и ни креста, ни могилы — кругом стоит лес, и в нем — следы старых пожарищ...

Я стоял на дороге, охваченный чувством, до этой минуты незнакомым мне или знакомым лишь на словах или по догадке, что не просто так я живу на земле: от меня многое ожидается, многое спросится, и я готов был к этому — воспоминания укрепили меня. Я жалел о потерянном времени, которое не просто же так было мне отпущено, а с каким-то значением. Я появился на свет, стал подрастать, и на меня стали надеяться отец с матерью. А потом на тебя надеются все, даже те, кого ты никогда не видел и не знаешь, и неважно, что с теми людьми тебя разделяют огромные материки, моря и океаны,— расстояния ничего не значат. Однажды тебя кто-то подведет и, что самое горькое, предаст один из самых близких твоих друзей, уйдет любимая женщина, но главное — чтобы ты никого не подвел и тем более

не предал. Тогда жить можно, тогда есть на что на-
деяться...

Никогда и нигде эти мысли не приходили ко мне с
такой остротой, никогда я не осознавал себя так глубо-
ко, как здесь, на родине моих предков...

Я смотрел на широкий просвет над клюквенным бо-
лотом, по которому сейчас расхаживали два журавля.
Чья-то тень промелькнула недалеко от дороги и скры-
лась за деревьями. Или мне почудилось, или я на самом
деле увидел тень боковым зрением? Комары отступи-
лись, и я стою не шелохнувшись и смотрю в ту сторону,
где скрылась тень. В ушах позванивало от лесной тишины,
которую перед этим нарушила своим криком желна,
как будто предупредила лесных жителей о моем присут-
ствии. Не помню, чтобы я еще когда так долго стоял и
ждал чего-то... Мое терпение было вознаграждено: ка-
кая-то птица плавно, по кругой дуге, перелетела с дере-
ва на дерево. Какая птица, я не разглядел за густыми
ветвями берез, старых осин и ольшаника, в последние
годы захватившего на вырубках огромные прост-
ранства и заглушающего в этих местах все осталъ-
ное.

Под прикрытием ольховых кустов, стараясь насту-
пать только на мягкую траву, я прошел по дороге, а
точнее, по объезду с высокой колодиной, заросшей кро-
хотными елочками, возле которой даже в плохое лето
попадались самые разные грибы, скрытые от глаз кочка-
ми-великанами, на которых можно было сидеть, свесив
ноги, и треугольником соснового леса, в самом начале
очень густого, непролазного, из которого всегда вылетала
какая-нибудь птица, а то и целый выводок. Их, навер-
ное, привлекал маленький, поначалу невидимый ручеек,
бивший из-под старой матери-колодины. Человеку даже
напиться из него было трудно, и я подумал: «Вот он,
ручей, из которого пьют только птицы!»

Тихое, светлое, вдохновенное место! Птицы посмат-
ривали на меня из своих нехитрых укрытий и ждали,
когда я уйду. «Тирли, да-да, тирли, да-да!» — вдруг
запела синичка, похожая на пушистый одуванчик, в ко-
торый воткнута узкая щепочка-хвостик. Синичка до того
распелась, до того ей самой понравилось, как она умеет
петь, что она не знала, что делать от удовольствия, и
быстро, как попало прыгала с ветки на ветку вверх-вниз,
вправо-влево, даже другие синички заслушались, смотре-

ли на веселую синичку, только изредка меняя место, чтобы лучше слышать. Одна из них подлетела к певунье и не то угостила ее, не то просто дотронулась до нее, восхищенная ее пением и весельем. «Ну тебя, ну тебя, ну тебя!..» — начала капризно выговаривать та, как будто хвасталась своими способностями, и я невольно заулыбался.

Я вообще не хожу с ружьем по лесу, птицы об этом очень быстро догадываются и подпускают совсем близко. Большая птица, подслушав мои мысли, снялась с березы и плавно, как будто я видел ее во сне, села на толстой безлистенной ветке старой осины. Я ахнул: это была молоденькая сова! Раньше я встречал старых сов, а это была молоденькая, вот почему я не сразу узнал ее. Я был в восторге, мне виделся в этом какой-то хороший смысл. Я мог разглядеть каждое перышко, но видел только ее большие загадочные глаза, в которые смотрел не отрываясь и чувствовал себя заколдованным: ноги мои задеревенели, и сам я, казалось, вот-вот превращусь в какое-нибудь дерево, на котором будет сидеть сова! Я знал про вечный взгляд совы, слышал что-то про ее мудрость, но не ожидал, что сова может быть такой красивой!

Она давно обнаружила меня и, как будто зная, что я не опасен, медленно, как настоящая красавица, поворачивала голову, улавливая малейшее движение и даже, кажется, дыхание, которое я старался сдерживать. Я разглядел высокие, царственные брови, яркое ожерелье, которым не может похвастаться ни одна красавица в мире, и — что меня поразило еще больше — привычную гордость в осанке... Сова поворачивала голову так, будто смотрелась в зеркальце! Еще секунда, казалось мне, и она сбросит с себя редкостные разноцветные перья и сойдет на землю красавицей в человеческом обличье, счастливая оттого, что кончились чьи-то злые чары, и легко вздохнет от великолепного и чуждого ей наряда! Я готов был превратиться в обгорелый пень, только бы она не улетала; я умолял не бояться меня и придавал этому какое-то особенное значение; я, как и она мне, посыпал какие-то сигналы, которыми пользовался только в раннем детстве, когда не хватало слов или когда слова вовсе не нужны были и даже мешали. В эти мгновения, наверное, я был похож на моего прашура, душа которого принадлежала природе, и он со страхом и лю-

бовью преклонялся перед ее могуществом и красотой. Как я завидовал ему в эту минуту! Сколько всего мне нужно преодолеть, чтобы мать-природа снова, как и прежде, считала меня своим сыном, наконец-то опомнившимся от дурного сна!

Сова таращила глаза в мою сторону, коротко и быстро поворачивала царственную голову — она не видела, но знала, что я стою на дороге возле заросшей колодины, из-под которой выбивается маленький, спрятанный в траве ключик, который увидишь, когда он вспыхнет на солнце. Она оказалась доверчивее других сов, и эта ее доверчивость была для меня дороже всего на свете. Как недавно Лариса была счастливой, когда ее с любопытством разглядывали два журавля, что-то сказавшие ей, так и я был счастлив доверчивостью совы-красавицы.

Ветерок стих, и я оказался легкой добычей для комаров. Нисколько на них не сердясь, неожиданно подумал: и маленькая синичка, и утренний ветерок, неизвестно откуда взявшийся и опять исчезнувший, и прокричавшая желна, и настойчиво звенящие комары, и густой, сопротивляющийся ольшаник — все защищает сову! Но какие это слабые защитники, даже вместе взятые! Как я раньше не понимал этого?!

Сова насторожилась.

И вдруг вслед за первыми лучами солнца вспыхнула за деревьями разноцветная молния, удар грома был настолько силен, что вздрогнули и закачались деревья, смолкли птицы, и я услышал далекий гул самолета, преодолевшего звуковой барьер и мчавшегося в сторону гор.

Скоро птицы запели еще громче, и я вспомнил о Совке.

Я не удивился, когда узнал, что и она, и дочь не захотели жить в большом селе, где ни леса, ни реки, ни ручейка, и переехали в маленькую деревню еще дальше в тайгу, к самым горам, и никто не смог сказать точно куда. И я нашел себе утешение: пусть не будет наших четырех деревень — бог с ними! — пусть они превратятся в одну большую, — но только бы осталась Совка! И я нашел себе еще одно утешение: не надо допытываться, в какой именно деревне она живет, — разве я буду не прав, если скажу: она живет в каждой из них.



Р А С С К А З Ы

МНЕ СКАЗАЛИ ЦЫГАНЕ...

В детстве я побаивался цыган — слышал, что они воруют детей. И я представлял: укради они меня, поездил я с ними, и у меня вместо синих глаз и светлых, почти белых волос станут такие же, как у цыган, черные глаза и черные волосы.

В нашей деревне после войны то в одном, то в другом доме бегом закрывали двери, когда видели, как по двору шла цыганка. Если ей удавалось поворожить, то, когда она выходила, за нею посматривали, чтобы она чего-нибудь не стащила в сенях.

К нам цыгане заходили свободно. Отец отказывался ворожить и отвечал: «Я все знаю, что со мной было... А что будет, узнаю...» Цыганка получала кусок хлеба, несколько картофелин и уходила.

Мне, хоть плачь, хотелось поворожить: не терпелось узнать, сколько я проживу, сколько у меня будет детей, стану ли я начальником.

Моей мечте — «дать ручку цыганке» — суждено было скоро сбыться. Два шатра стояли недалеко от нашей деревни на берегу речки, ярко синеющей среди высоких кустарников и островков берескового леса. Мы видели над лесом дым цыганских костров, по реке к нам в деревню доносились громкие песни цыган.

По косогору, заросшему папоротником и костяникой, скрываясь за соснами, мы все ближе подходили к шатрам, притворялись, что собираем ягоды, а сами разглядывали, что делают цыгане. Громкий говор, резкое движение кого-нибудь из цыган — и нас как ветром сдувало с косогора. Мы не бежали, а скатывались к дороге и, обгоняя друг друга, мчались к деревне.

Иногда у меня получалось так, что было одинаково и до ребят, далеко убежавших, и до цыган, даже до цыган иногда было ближе, но один пойти к ним я не решался — садился на дороге и ждал. Дорога петляла между деревьями и кочкастыми зелеными болотцами, долго никого не было видно. Смотрел я в обе стороны: с одной стороны ждал ребят, с другой — цыган. Но всякий раз неизменно появлялись мои отважные друзья и ни разу — цыгане.

Мне первому надоело бегать, и перед вечером, когда мы пришли домой, я долго обдумывал, как пойду завтра к цыганам один.

Только стало заходить солнце, за мной прибежал соседский мальчишка: радостный, глаза блестят — я думал, кино привезли или машина приехала, а он, оглядываясь, чтобы никто не услышал из взрослых, сказал, задыхаясь:

— Пошли бить цыган! Мы будем помогать... Не пойдешь? Ты что, струсил?

Сказать отцу — и никто бы не посмел тронуть цыган, но... не выдавать же своих.

Нас было человек двадцать. С такой силой разбить цыган ничего не стоило. Мы знали каждую тропинку в

лесу, каждое дерево и колодину, попробуй догони или найди, если даже придется отступать.

За деревней свернули в Глубокую падь, старшие приказали не разговаривать. Каждый выискивал по лесу крепкий сук или палку половчее. Еще издали мы услышали песню цыган, и мне стало жутко. Мою нерешительность заметил наш предводитель Быстрая Рыба и засмеялся.

Я сказал, что не боюсь, но не хочу бить цыган. И домой идти отказался.

— Сколько у тебя камней? — спросил он, ощупывая мои карманы. — Рогатку взял?

— Забыл, — ответил я, хотя рогатка лежала у меня под рубашкой.

— Я потом с тобой рассчитаюсь, — пообещал он.

Мы уже видели за деревьями отблески костра, а потом увидели того, кто играл: молодой цыган в красной рубахе, которую отблески пламени делали еще более красной. Цыганят не было видно. Одна девочка, не то сонная, не то печальная, сидела рядом с гармонистом. Казалось, что цыган играет на гармонике для нее одной.

Цыган перестал играть, а цыганская песня еще какое-то время продолжала звучать, заставляя забыть, зачем мы пришли. Я услышал, как стоявший рядом со мной соседский мальчишка выронил сук, по-змеиному скользнувший около моих ног. Кто-то выбросил камни. Наверное, всем хотелось, чтобы цыгане пели не переставая. Но песня, как будто пламя костра, взметнулась к беззвездному небу и неожиданно смолкла. Девочка как будто проснулась, отклонилась от костра и зажмурилась.

Я думал, мы посмотрим, как цыгане сидят у костра, и уйдем, но раздалась тихая команда — и в костер, поднимая столбы искр, полетели палки, сучья, камни из рогаток. Я был оглушен криками и беготней цыган. Сначала кинулся вместе со всеми к деревне. Помню, какой-то толчок, вдруг осветивший в моих глазах ночной лес, пригвоздил меня к земле. Я повернулся, чтобы видеть грозно гудевший табор, и ждал, что будет. На меня, тяжело дыша, налетел старик цыган, остановился с занесенным надо мной топором, что-то выкрикнул и метнулся за убегавшими.

Очнулся я, когда цыган крепко сжал мою руку и повел меня к табору.

Цыгане по одному возвращались из леса на освещенную поляну, громко кричали, и я не мог понять — убили они кого-нибудь или нет. Цыганка, оглядываясь, перевязывала голову гармонисту и что-то быстро говорила. Девочка, что сидела до этого рядом с гармонистом, испуганно выглядела из шатра, состоявшего, кажется, из одних разноцветных заплат. Цыгане, успокаиваясь, все плотнее придвигались ко мне. Я струсил, ожидая расправы, и вдруг отчетливо услышал, как цыганские кони щипали траву за табором.

Старик цыган (теперь я разглядел его белую бороду и длинные, до плеч, кольцами черные волосы) усадил меня рядом с собой. Глаза у него были желтые и пронзительные, они, казалось, видели меня насеквоздь; глаза эти, наверное, видели еще и под землей метра на три, и я понял, что не смогу сказать ему ни одного слова неправды. Я представил, как говорю имена тех, кто приходил бить цыган, и ужаснулся: я — предатель!

Старик ни о чем не спрашивал. Он молча смотрел то на меня, то в землю и был спокоен. В таборе сделалось тихо, один громкий голос цыганки прозвенел над поляной; она отправляла цыганят спать. Девочка лет пяти, соскочив с телеги, босой ногой наткнулась на пенек в траве, быстро села, схватилась ручонками за ногу, вся сжалась в комочек — я с изумлением смотрел, как она изо всех сил старалась не плакать. Старик сбил пенек обухом топора и вернулся к огню. Сбитый пенек упал в костер раньше, чем он подошел ко мне и сказал:

— Иди домой.

Я сказал, что не хочу идти домой. Цыгане переглянулись и покачали головами.

— Завтра к нам приходи. Услышишь, как цыгане играют на гитаре.

Я шагнул в темноту. Старик остановил меня и сделал знак рукой двум цыганам. Они проводили меня до самого дома, повернувшись, чтобы уйти, но я попросил их постоять около ворот. Залез по холодной, скользкой лестнице в погреб, на ощупь поймал в бочке штук пять огурцов и вынес за ворота. Они спрятали их в карманы и ушли.

— Где ты ходишь? — услышал я с порога голос матери. — Чего в погребе делал?

— Огурцы доставал.

— Куда ты их дел?

- Цыганам отдал. Они меня домой провожали!
- Ты ночью в лесу был у цыган? Скажу отцу. Увезут, будешь знать!
- Пусть везут.
- Тебе что, дома плохо?
- У них лучше.

Мать щелкнула меня по голове. Я вспомнил лицо цыганской девочки, вытерпевшей боль, и рассмеялся.

— Будет больно, как достану ремень! — И мать пошла за ремнем.

— Не больно, — повторял я за каждым ударом ремня, — не больно, не больно...

Я вывел ее из терпения, и она отхлестала меня по всем правилам.

В постели, ощупывая рубцы от ремня, я задумался: за что меня наказали? В сенях я услышал шаги отца и поглубже залез под одеяло.

— Что случилось? — спросил он, дважды вешая кепку, падавшую с маленького гвоздя на пол.

Я притворился спящим. Они немного поговорили на кухне, и оттуда послышался строгий голос отца:

- Где он?
- Спит уже.
- Завтра я с ним поговорю.

Я представил разговор, который ждет меня завтра с отцом, встречу с Быстрой Рыбой и, от бессилия что-нибудь изменить, сразу же уснул. Всю ночь мне снилось, как Быстрая Рыба топит и топит меня, не дает подплыть к берегу. Я звал на помощь цыган.

Кто-то выдал всех до одного, и по деревне с утра слышались вопли моих доблестных друзей. Меня будили завтракать, но я лежал и боялся открыть глаза. Отец очень быстро вернулся из бригадной конторы, и я услышал над собой его голос:

- Поднимайся.

Поднялся я быстро, но долго искал кружку и мыло. Несколько раз, как перед праздником, намыливал руки, лицо, шею. Отец наблюдал за мной.

- Садись завтракай.

Я старался есть как можно дольше. Скрипнули ворота. Неполная ложка, которую я медленно нес ко рту, остановилась в воздухе.

— Идут твои цыгане, — услышал я громкий, рассерженный голос матери.

Я повернулся к окну: к нам шли двое молодых цыган, провожавших меня вчера, и с ними старик цыган.

— Ну, будет тебе! — пригрозила мать и, кажется, сама чего-то испугалась.

Я изумился, когда увидел цыган в избе. Все трое были одеты во все новое: голубые, зеленые сапожки, желтые рубахи с широкими рукавами, ремни с медными пряжками-драконами... Старик был в черных сапожках, рубаха красная, пуговицы ярко-белые, светящиеся, плисовые шаровары, поверх рубахи длинная жилетка с четырьмя карманами — два по бокам, вверху карманчики поменьше. Волосы у всех расчесаны и блестят. Даже отец растерялся, подавая всем троим стулья. Старый цыган сел, а молодые остались у дверей и были похожи на стражей, охраняющих своего вождя. Они даже представить не могли, как мне хотелось сейчас же сделаться цыганом! Старик белками глаз покосился на молодых цыган, и те тоже сели. Старик не начинал разговора, пока отец не принес себе стул.

Неторопливость и уверенность цыган окончательно убедили отца, что меня следует наказать без промедления, что он мне и пообещал тут же выразительным взглядом. В другой бы раз я постарался выскользнуть из избы, но сейчас при цыганах не боялся. Отцу не понравилось, что я во все глаза смотрел на цыган и не хотел замечать ни его, когда он опять взглянул на меня как на чужого, ни матери, которая ласково — наверно, догадалась обо всем — позвала меня на кухню, но я не пошел.

Старик положил руку, поблескивающую кольцами, на руку отца, я услышал глухой и суровый голос: показалось, что голос этот доносится до меня отовсюду.

— Тот еще не родился, кто обманет цыгана. Цыган десять раз обойдет вокруг, посмотрит, только потом поверит. Скорее табор провалится на дороге, а чаворо,— старик кивком указал на меня,— не дадим в обиду.

Он осторожно навалился на спинку стула и чему-то восторженно засмеялся.

Отец посмотрел на меня, вроде как недовольный, что цыгане уделяют мне столько внимания, мать стояла в нерешительности, а я готов был плясать от радости, что меня назвали по-цыгански.

Цыгане собрались уходить, но отец пригласил их по-завтракать, и они остались.

Не дожидаясь, когда мне скажут, я разжег самовар на крыльце, набросал лучших углей, чтобы он закипел скорее. Я помогал матери ставить на стол тарелки и стаканы, сбегал к колодцу за водой, достал из погреба огурцов. Пока разжигал самовар, бегал к колодцу, лазил в погреб, я боялся, что без меня произойдет что-то такое, чего потом нигде и никогда не увижу, и я мчался с ведром, расплескивая воду, и даже не заметил, что впервые налил из бадьи не полведра, как обычно, а полное ведро.

Мне бы думать о том, что цыгане побудут да уедут, а отец с матерью останутся и мне жить с ними, а не с цыганами, но я ничего не мог с собой поделать.

Молодых цыган звали по-русски — Коля и Сережа. В нашей деревне были такие имена, я к ним привык, а сейчас они зазвучали для меня по-новому.

— Зэзо,— донеслось до моих ушей. Настоящее цыганское имя!

Я смотрел на старика, не скрывая восторга. Знакомясь, он подал руку отцу, матери, а потом и моя рука оказалась в его — огромной, коричневой от загара и как будто несильной.

Я видел его вчера ночью бегущим по лесу с топором и сейчас из его рассказа узнал, что он догнал еще двух деревенских, постарше меня, но никого не тронул.

Я сидел за столом на том же месте, где сидел до того, как пришли цыгане,— у окна; из него видны ворота на улицу, половина ограды с лужайкой около прясла, угол нашего и соседнего огорода и дорога, по которой ездили в тайгу — к Саянам.

Пахло свежими и солеными огурцами, нарезанными в самые лучшие тарелки — с цветами на дне и по краям, борщом из молодой свеклы, приготовленным к обеду... Как в праздники, на столе перед чаем появилась большая хрустальная сахарница, только в ней на этот раз был не сахар, а голубичное варенье. И оттого, что в сахарнице было варенье, она сделалась еще красивее, а варенье — до невозможности вкусным, хотя я к нему еще не притронулся, ждал, когда цыгане сделают это первыми. Ярче и таинственнее дрожали на полу и стенах солнечные полосы, веселее пел самовар, и в нем отражался каждый из нас.

Вечером, в таборе, мне гадала цыганка.

— У тебя могут быть неприятности,— предупредила она.— Никому не рассказывай, что знаешь о себе, и ты будешь самым счастливым и богатым.— Взглянув еще раз на мою ладонь, цыганка строго попросила: — Поклянись, что никому не расскажешь!

Я, как умел, поклялся. Она смотрела мне в глаза, стараясь угадать, сдержу ли я слово, от которого теперь зависела вся моя дальнейшая жизнь.

Цыгане играли на гитаре и пели для одного меня. Цыганята подошли ближе. Они не понимали, что я такого сделал, чтобы мне бесплатно ворожили. Я узнал вчерашнюю девочку — она слегка прихрамывала и смотрела на меня так, будто я был виноват, что она вчера скосчила с телеги и поранила о пенек ногу. Я перестал замечать все, что видел до этого,— палатки, телеги, на которых была разбросана цыганская одежда, ведерный чайник под одной из телег и, что особенно меня поражало, два стула на краю поляны, скрытых высокой, где примятой травой и такими же высокими цветами.

Цыгане еще не разжигали костра, но я боялся, что отец или мать придут за мной и больше сегодня я ничего не увижу, и я изо всех сил таращил глаза, разглядывая девочку, стараясь запомнить, как она смотрит, как одета, и ни на секунду не забывал, что она вчера поранила ногу. Девочка засмеялась, и я снова увидел все, что делается в таборе.

Вчераший гармонист — я его узнал по перевязанной голове — взялся рубить дрова, а маленький цыганенок, не боясь, старался поймать отлетающие от жердочки острые поленья. Я подбежал к нему, как будто он такой же, как мы, деревенский, схватил за руку и оттащил от опасного места. Только я отпустил его руку, он тут же кинулся на меня драться. Его маленькие грязные кулаки так и мелькали, а лицо было залито слезами. Цыганенок был очень уж маленький, и я разрешил бить меня сколько ему хочется. Цыгане, что-то вскрикивая, стали громко смеяться над цыганенком. И в самом деле было смешно смотреть, как он дерется. Мне тоже хотелось смеяться вместе с цыганами, но я боялся, что цыганенок обидится, и, отступая, делал вид, что победа полностью на его стороне. Он ударил меня еще раза два в живот, целясь обязательно под дых, пнул по коленке.

Цыганка, которая только что ворожила мне, поймала его, отшлепала и, удивленного, но не плачущего, за-

бросила, как мячик, в палатку. Мне казалось, что он сейчас же — уж очень он был непокорный — выскочит или выкатится из палатки, но он долго не показывался оттуда.

Цыгане разожгли костер, и я ушел домой.

Лес, где остановился табор, я хорошо знал — ходил сюда за грибами и ягодами. Весной я помогал носить отсюда ведра с березовым соком, в котором было много утонувших муравьев. Я их вылавливал из ведра свежей щепкой, и некоторые из них оживали на солнце. Я запоминал лес: то встретится мне незнакомый поворот с высокой полусгнившей колодиной, внутри которой я был мог спрятаться, то появится какая-то дорога — и не так заросшая, и ямок на ней с водой больше, и лес такой густой, что в него боязно сунуться. Приметишь какой-нибудь по-особенному обгорелый пень или дерево, ветку заломишь и, робея и радуясь, иной раз бегом пропустишь по незнакомой дороге, а чаще всего идешь по ней шагом и вроде бы только на одну дорогу смотришь и удивляешься потом, как это удалось запомнить, ведь никто не просил, не заставлял. И начинает казаться, что и этот лес, и эту дорогу ты уже видел когда-то...

Не мог я понять, что это за столбики в лесу. Бывало, и новые попадутся, а больше — старые, с затесами, с какими-то цифрами... Рассказывали мне что-то про грань, но я никак не мог уразуметь, что это такое: никакой грани нигде я не видел. Кто ставил столбики? Новые — ничего, а старых я даже боялся. Но один раз набрался храбрости: долго раскачивал, отдыхал, опять раскачивал, прижавшись к нему грудью и животом. Таинственный столбик поддавался медленно, но наконец я выдернул его, с ожесточением оттолкнул от себя, и он прокатился по темно-зеленой, разомлевшей от солнца траве, оставляя красноватый гнилой след. Испугавшись, что мне попадет, я подкатил столбик к прохладной глубокой яме, но, сколько ни старался, никак не мог поставить его на место...

Здесь же я видел круглые и продолговатые холмики, заросшие молодым ельником и сосняком. Смутно угадывалось, что холмики эти не сами по себе появились, и они имели какое-то отношение к лесной грани. Холмики напоминали заброшенные могилы, и мы никогда не собирали здесь ни грибов, ни ягод... И заблудиться в этом лесу ничего не стоило. Выйдешь как будто на доро-

гу, идешь по ней, а она раз — и оборвется. Присмотришься — похоже на дорогу, а ни за что не понять, в какую сторону она свернула, потому что нет давно никакой дороги, а может, никогда и не было, ты вот сейчас ее выдумал, заблудившись.

В один из таких дней с высокого дерева я увидел в голубоватом дыму какую-то деревню и подумал: подрасту — обязательно побываю в ней! Я знал: не скоро все это будет, но мне некуда было торопиться.

Весь вечер, когда я пришел от цыган, у меня не выходило из головы: уж не из этой ли деревни приехали цыгане? Казалось бы, ну какая разница, из этой или другой, но мне почему-то хотелось, чтобы они приехали из деревни, которую я видел с высокого дерева...

Я не заметил, как очутился на улице, и, не оглядываясь — боялся, что меня позовут домой,— шел к лесу, в котором вот уже несколько дней жили цыгане. За последними домами сосны стояли в огородах, и молодой сосняк рос так густо, что кое-где заменял изгородь. Угловым столбом для изгороди служил высоко спиленный лиственничный пень с изогнутыми корнями, напоминающий огромную железную кошку, которой достают в колодцах утонувшие ведра. За высохшей стланью, перелетая с дерева на дерево, отчаянно громко кричал дятел. В другой бы раз я обязательно посмотрел, что случилось, но сегодня я только подумал об этом, и крик дятла остался позади.

Я обрадовался, когда в Глубокой пади увидел сначала одну, а потом и другую лошадь, обмахивающих себя длинными хвостами. Болото было рядом, и комарье, как только я спустился вниз, облепило меня. Я взбежал на пригорок, где было солнце, и по глубокой, мягкой от хвои и листьев тропинке, опоясывающей бугор, стал подниматься к табору. Не слышно ни говора, ни крика цыганских ребятишек, никто не рубил дрова, не шел к ручью за водой... Я остановился за длинной колодиной, где ночью меня поймал за руку старик цыган, и стал оглядываться, как будто зашел на новое место, и вдруг понял: цыгане уехали! В Глубокой пади я видел наших, а не цыганских коней...

Заблудиться недалеко от деревни — даже когда мне было четыре года — пустяк по сравнению с тем, что я сейчас чувствовал. Тогда я, говорят, сидел за этой же колодиной — не мог перелезть через нее — и плакал. И

еще говорили: плакал я не оттого, что заблудился, а что не мог перелезть через колодину. Кто-то из деревенских шел вечером по дороге, услышал и привел меня домой. А сейчас я не знал, что делать: и плакать не мог, и домой идти не хотел. Я сел у погасшего костра и зачем-то трогал большие угли, похожие на те, которыми я разжигал самовар для цыган, когда они приходили к нам.

Я запомнил слова, которые старик цыган говорил за столом моему отцу: «Нас любят только за песни...»

Ни тогда, ни сейчас я не согласился со стариком: мне нужны были сами цыгане, а без их песен я обходился и еще мог обойтись.

Я стал ходить по поляне, стараясь запомнить каждый след, ведь пройдет немного времени, и останется только черный выгоревший круг, где был костер.

Я бежал по лесной дороге и все надеялся, цыгане недалеко уехали.

Кончился поворот дороги, дальше которого я никогда не был, и я пошел шагом, чтобы перевести дух и посмотреть: может, цыгане свернули по какой-нибудь другой, которую я не заметил? У меня сразу же прибавилось сил, когда я разглядел на траве следы цыганских колес. Бежать стало еще интереснее, когда я сообразил, что бегу к деревне, которую видел однажды с высокого дерева... Дорога и лес были незнакомы, но я не боялся, это была одна и та же дорога и один и тот же лес...

Я не знал, сколько прошло времени, как я стал догонять цыган, но почему-то был уверен: до цыган мне ближе, чем домой.

НЕКОГДА

Впервые я увидел его в декабре 1945 года. Было ли это начало месяца, середина или конец — не помню. За пять километров мы ходили в школу: кто — в пятый, кто — в шестой, и только двое или трое — в седьмой.

Мы продолжали радоваться победе, как будто война кончилась не 9 мая, а вчера. На некоторых из нас были пальто, сшитые из солдатских шинелей, и почти на каждом — солдатская шапка с коротким цигейковым ворсом, которая конечно же грела плохо, а нам казалось,

что ничего теплее не бывает. На ногах у кого что попало: валенки с высокими запятыми из красноватой кожи, с вылезающими стельками, кирзовые сапоги, побывавшие где-нибудь под Кенигсбергом, ичики и даже ботинки. Все это размером побольше, чтобы можно было намотать портнянки. Один из нас щеголял в обмотках. Он настолько был рослый и крепкий, что мог бы, кажется, всю зиму ходить босиком. До октября, пока не выпадет иней, он так и делал — ходил босиком.

С подтянутыми от голода животами, но такие же воинственные, как и утром, после скучного завтрака, мы шли из школы, затевая в снегу жесточайшие бои. И только перед самой деревней, вконец обессилен, брели друг за другом. По двое старались не идти: если кто-то толкнет, то уж очень тяжело подниматься из снега.

Прошли Хоргу, укрытую густым кустарником и все еще журчащую под снегом, осталось позади сухое болото с метровыми кочками, напоминающими солдат в белых касках, и перед самой Хоргой увидели человека в длинной шинели, шагавшего совсем не по-солдатски: приближался он к нам очень медленно, то и дело его заносило в сторону, и он так же медленно вылезал из снега и как ни в чем не бывало продолжал путь. В этом неторопливом, сосредоточенном движении, в том, как человек вылезал из снега, было не только упорство, но и привычка, что он давно так ходит, — и мы узнали в нем Шалодона, неполного георгиевского кавалера, жившего от нас в пятнадцати километрах — на Булыках.

Мы стали вглядываться в Шалодона — каждому хотелось увидеть три тускло поблескивающих креста, которые он надевал иногда поверх шинели. В это время со стороны нашей деревни послышался звон колокольчиков, песни и выкрики под гармонь, на вершине горы стали появляться санные упряжки. Мы насчитали не меньше пяти. Они быстро скатывались с горы, нам уже видно было, как летит снег из-под копыт лошадей.

Шалодон шел не оглядываясь — или не слышал, или ему было все равно, кто и куда едет. В самый последний миг его опять занесло в сугроб, а может, он успел освободить дорогу, и мимо него стали проскакивать, как игрушечные, сани с широкими отводинами. Шалодона осыпало снежным вихрем, но он, казалось, ничего не замечал и смотрел не навстречу пролетающим саням, не вслед им, а поперек дороги.

На дугах первых упряжек разевались красные и голубые ленты, звон пяти колокольчиков сливался в один, обещая нам не то самую большую перемену, не то какой-то длинный урок. Мы забыли о Шалодоне и, занемев от восторга, с каким-то недетским любопытством старались разглядеть жениха и невесту, летящих впереди свадебного поезда в легкой кошеве. Хотелось побежать, броситься в самые последние сани, на которых тоже не было места, но все равно бы нашлось: уж как ни тесно, а еще одному — нашлось бы.

Странная мысль коснулась, наверно, не одного меня: Илья Андреев увозит не свою, а нашу невесту, которая почему-то взяла и быстро выросла...

Жених был наш, шангинский, вернулся чуть не из самого Берлина, ходил он еще на костылях, скоро его должны были поставить бригадиром... Невеста с ярко-красными круглыми щеками смеялась от быстрой езды, от снега, летящего в глаза, а может, еще от чего-то... Мы знали, что она из одной с Шалодоном деревни, с Булык, и что зовут ее Ольгой.

Пока сбивчиво звенели колокольчики, пока в санях громко смеялись и пели, каждый из нас тайком друг от друга повторял ее имя...

Мы с замиранием сердца следили и умоляли кого-то, чтобы жених с невестой не опрокинулись в Хорге, где сани ударялись несколько раз о кочки и, не успев выровняться, попадали на заледенелый крутой раскат. Здесь подскользывались и падали лошади, опрокидывались возы. Кошева, ударившись о кочки, пролетела по воздуху, ее занесло, но через мгновение хорошо подкованный каурый жеребец одним прыжком преодолел раскат, и кошева с женихом и невестой замелькали за высокими кустами и деревьями. С саней свалилось несколько человек, но мы за них не переживали — главное, чтобы жених и невеста были в сохранности!

Сожалея, что до моей свадьбы далеко, я, как и остальные, кто шел из школы, вспомнил о Шалодоне.

Он продолжал стоять в снегу и как будто не собирался выбираться на дорогу. Шалодон устал — ведь он прошел пятнадцать километров! — и теперь отдыхал, стоя в снегу. Мы прибавили шагу: пока он стоит, опершись на длинную палку, получше рассмотрим кресты на его шинели...

Шалодон вдруг выпрямился, воткнул палку в снег, рядом с собою. Издали казалось, что у ног Шалодона стоит винтовка. Смотрел он теперь не поперек дороги, а в нашу сторону. Он как будто хотел сказать нам что-то...

Мы даже немного оробели, когда подошли ближе. Причиной этому скорей всего была одежда Шалодона. Трудно сказать, как это получалось, но от его одежды — и от самодельной шинели без воротника, скорее похожей на зипун, и от телячьей шапки с лакированным козырьком, и от огромных веревочных лаптей, и от белых обмоток, от всей его тонкой, высокой фигуры веяло не бедностью, не дряхлостью, а, как это ни странно, генеральской строгостью. Шалодон как будто осматривал предстоящее поле сражения и усиленно размышлял, не подведет ли его наше малочисленное войско. Начинало казаться, что в маленьком лесочке перед деревней и за двумя зародами соломы недалеко от дороги спрятаны Шалодоновы пушки и пушкари только ждут сигнала.

Мы поравнялись и, сами не заметили, строем, повернув головы вправо, прошли мимо, пожирая взглядаами и самого Шалодона и в особенности колодку крестов на его странной шинели. Старик коснулся пальцами закуржавевшей бороды и усов, по-чапаевски загнутых кверху, долго еще смотрел в нашу сторону и — мы видели — перекрестил нас.

Свадебный поезд исчез, как будто его и не было, до слуха все слабее доносился звон колокольчиков, и это возвращало к действительности.

На вершине шангинского бугра я оглянулся последний раз: одинокая фигура Шалодона, неподвижно темнеющая уже в другом месте — может, он опять отыхал? — заслонила для меня свадебный поезд, незнакомых мужиков и баб, которых я хоть и не знал, но догадывался, что это невестина родня.

К вечеру жених и невеста и все, кто промчались с ними, начали тускнеть, забываться, даже показалось наутро, что никакого свадебного поезда не было, что он мне приснился... Но в деревне только и разговоров было, что Илья женится, что завтра — свадьба.

Мы сбежали с последнего урока.

Около высокого пятистенного дома, разделенного на двух хозяев, собралась чуть не вся Шангина. Невестину родню и каждого, кто не растерялся, угождали красным

вином и бражкой прямо на улице. Невеста замерзла, но шангинские не торопились отпускать ее в дом — пусть жених разорится немного на угощение, пусть каждый посмотрит, не промахнулся ли вчерашний солдат, можно сказать герой, с выбором невесты. Но при первом же взгляде было видно — не промахнулся, не подкачал. Жених и сам знал об этом и, к восторгу всех желающих немедленно выпить, потребовал выставить логушок с бражкой-медовухой на снегу в ограде — чтобы всем хватило, чтобы никого не обидеть.

Не плачь, Олюшка, не жалей...—

пели, прихлопывая в ладоши, наши матери, бабушки и старшие сестренки, и в их причитаниях — о том, что ждет замужем, — не было ни жалости, ни печали, они весело пели старинные слова, а невеста Олюшка засыпалась горючими слезами.

Не было ветру, не было ветру —
Вдруг придунило.
Не было гостей, не было гостей —
Вдруг полон двор,
Полна горенка, полна горенка!

Женщины на минуту смолкли — или слова забыли, или что-то им помешало, — и я опять услышал:

Горенка пошатнулася,
Столы дубовы повалилися,
Чашки-стакашки поломалися,
Поломалися!

В песне была какая-то хитрость, но даже через много лет я не мог разгадать ее.

Я знал: на моей свадьбе не будет старинных причитаний, заранее жалел об этом, старался и слова запомнить, и не мог оторвать взгляда от невесты, и немного сердился, что шангинские непускают ее в дом, держат на улице в одном подвенечном платье. Но мороз ничего не мог сделать с невестой — она разумянилась еще больше, сказала своей подружке, и та принесла нам пряников...

Мы пробивались к дверям, которые почти не закрывались, повисали на подоконниках — хотелось все увидеть своими глазами. В этот счастливый день никто из нас ни в какие учебники конечно же не заглядывал.

Утром меня первого спросили по истории. Я пытался говорить о свадьбе в нашей деревне, о неполном геор-

гиеvском кавалере, которого я впервые увидел... И что-то еще говорил о том, что, может быть, я видел его, когда мне было лет семь... Это называлось «собирать мох с болота», и Сергей Карпович посадил меня на место.

— Я тебе двойку поставлю,— вроде как спрашивая разрешения, сказал он, не глядя на меня и всем своим видом показывая: не хочет он ставить двойку хорошему ученику и все же ставит — за то, что не выучил урок, за дерзость, которой раньше не было. Но хотелось еще как-нибудь урезонить зазнавшегося ученика, и Сергей Карпович, любивший иногда пощутить, сказал с сожалением: — Лучше бы я тебе поставил единицу.— И тут же пояснил:— Единицу я бы потом исправил на четверку, а двойка так и останется двойкой.

Сергей Карпович достиг желаемого результата: класс засмеялся.

Позднее я подумал: «А ведь тогда Шалодона не взяли, не остановились...»

Ни свадебный поезд, ни встреча с Шалодоном сами по себе на меня бы, наверное, так не подействовали — все это вместе произошло! И то и другое одинаково интересно, даже как будто одно не могло существовать без другого... И тут для меня все окончательно прояснилось: да так оно и есть, именно потому и запомнилось, что был свадебный поезд, шел по зимней дороге неполный георгиевский кавалер, и свадебный поезд не остановился...

В эту же зиму — и опять мимолетно — мне довелось еще раз встретиться с Шалодоном.

Из кухонного окна, в котором одна или две стеклины оставались незамерзшими, я увидел со стороны леса какое-то странное движение: из морозного тумана, окутавшего болото, никак не могла вырваться тройка с санями...

Я наспех оделся, схватил сумку с книжками, кусок хлеба и выскочил на улицу.

Перед самой деревней, где туман кончался и дорога шла в гору, я разглядел необычную тройку: за коренника — сам Шалодон, пристяжные — мальчик и девочка. То, что сани с каким-то грузом везут люди, меня не очень-то удивило — кто из нас в войну и после войны не ездил с санками за соломой или за дровами?! Меня поразило, что в санки — они были чуть-чуть меньше обычных саней, на одно копыто,— впряженный

георгиевский кавалер. Раненые фронтовики на себе ни дрова, ни солому у нас, как правило, не возили: кому-кому, а для них какая-нибудь лошаденка находилась. Шалодон этот раз не воевал — он отравился газами, был ранен еще в ту войну с немцами, и казался нам таким же солдатом, как наши отцы и старшие братья... На санях стояла бочка с брусникой, Шалодон вез ее за восемьдесят километров на базар в Черемхово. Такого ни разу ни с кем в нашей деревне не было! По старому санному следу, почти по целику, Шалодон, минуя деревню, вдоль огородов выехал на дорогу, ведущую в город, и «тройка» с санями скрылась в морозном утреннем тумане...

Через два года, на летних каникулах, я спросил у одного шангинского старика:

— Как зовут Шалодона?

Старик долго, не отрываясь, смотрел на желтые металлические пуговицы на моем горняцком кителе из черного сукна, на брюки, отутюженные сестренкой, немного смягчился,— видно, моя форма ему понравилась,— и я услышал, как по-настоящему зовут Шалодона: сначала фамилию — Овчинников, потом имя, отчество — Исаак Емельянович. Старик произнес — «Исак». Я называл его, как и прежде — Шалодоном. Нравилось мне его прозвище...

Я узнал, что живет он около мельницы, на краю деревни, что редко кто из булыцких не был у него в доме. Говорили о нем ни хорошо ни плохо, как будто ничего особенного он не представлял собой. Я с этим не соглашался и пускал в ход самый сильный козырь — три георгиевских креста. Было у него каких-то три геройства, но, говорят, он не любил о них рассказывать. Бывало, начнет, а старуха тут же возьмет и остановит, и он ее слушался. Некоторых это озадачивало: герой, а боится старухи!.. Но ведь все было проще простого: она не хотела, чтобы старик расстраивался... А люди всяко думали, каких-то три несомненных геройства подвергали сомнению... Хотелось защитить Шалодона: он же не виноват, что совершал геройские поступки при царе!

Я дал себе слово: обязательно встречусь и поговорю с Шалодоном...

Но жизнь начала подкидывать мне фокусы, Шалодон на целые годы вылетел из моей головы. Даже когда я приезжал домой, то все равно никогда было сходить на

Булыки — надо помочь старикам картошку очищивать, сена накосить и скрести, дров напилить и наколоть... Да сколько еще мелких дел — не перечислишь! А на Булыки идти — вроде как лодыря гонять, да и не рядом — пятнадцать километров!

«На будущий год встречусь... Постарше буду, чем-нибудь помогу старику...»

Не знал я тогда, что с каждым годом все труднее будет выкроить лишний день, начнешь привыкать к тому, с чем когда-то не соглашался... Не заметишь, как станешь думать: «Какое мне дело до какого-то дремучего старика с царскими наградами? У каждого своя жизнь, свои заботы. Да и разве сравнишь заботы старика, отживающего жизнь, с заботами человека, вступающего в нее? Пусть хлопочут те, кому положено по штату,— сельсовет, райисполком, собес...

Когда стало совсем некогда и ни на что постороннее не оставалось не только дня, но и, как мне казалось, ни одного часа, когда ехать незачем — нет давно Шалодона, лет двенадцать прошло, как нет его,— я еду, чтобы поговорить с теми, кто знал его, жил с ним рядом, посмотреть хотя бы на то место, где стоял дом...

ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ

По утрам, когда все спали, а роса на картофельной ботве, на межах такая сильная, что до нее было боязно дотронуться, Забанка и Мойган, мокрые, по-хозяйски, только немножко пугливо, прошмыгивали в сени и скрывались за лестницей, каждый с мертвой птицей в зубах.

Я просыпался всех раньше и бежал смотреть. Оба кота были черные. Они всегда встречали меня молча и покорно отдавали самую большую добычу, заранее зная, что мне она не нужна и что я ее скоро отдаю.

Однажды Мойган с охоты не пришел. Забанка сидел под лестницей, птицу с переломанным крылом не отдал, а еще крепче схватил, сверкнул в темноте зелеными глазами и вылетел из сеней, только хвост, большой, как у лисы, мелькнул над порогом.

Я сразу догадался, что с Мойганом что-то случилось. Но почему так рассердился Забанка?

Я долго ходил по огороду, юсил палкой картофельный цвет, весь промок, а Забанки нигде не было.

И до того скучно у нас стало, что бабка сказала:

— И кому помешали... Загрызут теперь мыши.

Дед отбросил недоплетенную корзину, отпихнул ногой лозовые прутья и сердито посмотрел на меня.

— Если не приведешь к вечеру Забанку, выгоню, будешь ночевать за пряслом.

Забанку дед любил больше, чем Мойгана. Забанка никогда ничего не трогал. А Мойган даже в шкаф залезал, под низ. Там он разгибался — гарлачи, кринки опрокидывались, и молоко выливалось. Если Мойгана заставали на месте, он никуда не убегал, не прятался, а терпеливо ждал наказания. Но его никто не трогал, и он надолго переставал проказничать.

Забанка не приходил.

Я не забывал заглянуть утром под лестницу, но там валялись только старые разноцветные перья. Я очень жалел Забанку и Мойгана и не трогал перья, только недолго брал самые разноцветные, водил ими по своим щекам — перья щекотали, и я смеялся. Тогда дверь открывалась, сначала показывались длинная, похожая на осоку борода, а затем сморщеный замусоленный рукав. Дед подкладывал под дверь чурбак, глаза его в темноте поблескивали так же, как в тот раз у Забанки.

— Положи перо. Ты на что взял? — допытывался дед.

Я пожимал плечами, глядел на деда и не боялся. Я знал, что он забудет сейчас про перья и скажет примерно так: «А ну, ответь: к Широкой пади, где лес-медуница, как пойдешь — по солнцу или против солнца?»

Дед уже два раза водил меня на это место. Он говорил, что, кроме него да придавленного в прошлом году лесиной старого Тороха, никто не знает леса-медуницы. Мы до обеда плутали по кочкарнику, несколько раз переходили по упавшим деревьям речку Инку, шли где-то вдоль Пастуховой горы, проваливались в невидимые мшистые ямки с ледяной водой и оказывались в небольшой лощинке, скрытой непроходимой чащей из рябины, ольхи и, словно налитых молоком, высоких кустов волчьих ягод.

«Не трогай, — заранее говорил дед, — отрава».

Он делал еще шага три, протягивал руку, застывал, и мне казалось, что я слышу не дедовы слова, а чей-то голос из-под земли: «Вот оно, колдовское царство...»

Я слышал от деда, что если побудет здесь плохой человек, срубит или сломает дерево, то роса-медуница не придет больше, а лес засохнет. И я осторожнее пригибал к себе ветви...

Дед молчал. Он ни о чем больше не спросил, ни сколько не сердился, а только сказал:

— Не трогай перья. Пошли в лес, лоза кончилась.

Мы горевали все лето, что пропали Забанка и Мойган.

Бабка говорила, что надо взять другого, но дед не соглашался.

— Подождем! Мойган, может, и нет, а Забанка придет.

Как он угадал, но только все так и вышло.

С Ганькой Манаком после дождя мы собирали за мостом дикий лук и увидели: кто-то так и вышагивает по Второй дороге, что возле старой дегтярни.

«Забанка!» — чуть не закричал я, присел в кочках и погрозил Манаку, чтобы он сидел тише.

Вот они, огороды, а Забанка шел долго-предолго. Мы с Манаком крались подальше. Ну так и есть — Забанка! Он свернул по нашей тропинке прямо к бане и быстро побежал по огороду. Манак и я тоже припустили. Забанка оглянулся, распушил хвост и в один прыжок очутился в приамбарке. Мы окружили Забанку, я поймал его за гладкую лоснящуюся шерсть. Он стал тяжелее и вроде одичал. Только пустили в избу — он кинулся к окну, прыгнул на середину пола и стал подкрадываться к столу. Что такое? На столе, кроме черемши, ничего не было... Забанка схватил пучок и спрятался. Черемшу он не ел, но из-под стола слышалось сердитое урчание. Дед налил в большую чашку молока. Забанка не подходил. Видно, отвык или боялся. Тогда дед пододвинул чашку поближе. Забанка обнюхивал чашку, фыркал, потом шерсть на нем поднялась дыбом, и он стал пить. Дед уже опорожнил гарлач, а в чашке снова было пусто.

— Старое, — кивнул он, — подай-ка вон то, утешнее.

Забанка хотел бросить пить, но неохотно лакнул языком раз, другой, внимательно, мне показалось, мокрыми глазами посмотрел на всех нас и больше на деда, и мы снова услышали как будто редкое пожуркование ручейка.

— Куда ему столько? — раскрылись глаза у Манака.

— Не жалей, — сутился дед, — пускай пьет.

Все равно, когда не зацвел еще багульник и за мостом через всю стлань стояла не высокшая от весны лыса, Забанка ушел.

Каждый год так было. Только к осени возвращался Забанка.

Если он задерживался больше, мы начинали гадать. Одни говорили, что Забанку поймал филин. Манак с бабкой думали, что Забанка остался на зиму в норе барсука или прогнал белку. Дед помалкивал.

Однажды осенью к нам приехала тетя Гаша. Я увидел, как она поставила возле нашего заплата чемодан в голубом чехле, сорвала веточку дикой яблони. С криком: «Тетя Гаша приехала!» — я выбежал из избы.

— Тетя Гаша, тетя Гаша,— приплясывал я, ожидая леденцов.

— Медвежо-о-нок,— смеялась она, расставляя руки.— На Филиппихину елку смотрел и рос? Только меня теперь не Гаша зовут, а Галина.

И тут же в моем кармане очутилась целая горсть леденцов.

Я все время забывал новое Агашино имя, и тогда она переставала смеяться.

Тетя долго говорила с дедом и бабкой, посматривала на меня и с чем-то не соглашалась.

— Не отдам,— сердился дед.— Школа и у нас под боком.

Но потом сдался, бабка поплакала.

Через полчаса я побежал открывать большие ворота.

— Что там — спрашиваюсь,— ворчливо сказал дед, и мы вместе, дед плечом, а я обеими руками, налегли на один осевший створ. И всегда мне казалось, что створ этот, когда его открываешь, бороздит землю точь-в-точь как хромая нога у немого инвалида Гошки.

Дед подвел в поводе мотавшего шеей с белой челкой жеребчика к самому крыльцу, так что заходить в избу надо было сбоку, сгинаясь под полкой с ведрами.

Вот мы уже посидели перед дорогой, уже в ходке, выехали с тетей из ограды, дед и бабка хотели еще раз подать нам руку, как я вспомнил, что не простился с Забанкой. Я выскоцил из ходка, бегом в избу, манил, все облазил — нет Забанки. Побежал в приамбарок — тоже нет. И под сараем не было. Наверно, к бане ушел. Он всегда сидит там возле черемухового куста, и если не ловит птиц, то любит подсматривать за ними.

Забанка как сквозь землю провалился. Я звал. Вниз, к бане, шли дед с тетей. Я не мог понять, о чем они или спорили, или еще что, но дед почему-то все размахивал рукой, тряс узловатым указательным пальцем, а тетя с недоверием и недоумением поглядывала то на деда, то в мою сторону.

Я сидел возле огурцовой гряды и плакал.

Тетя сказала, что из-за какого-то кота она не намерена опаздывать, что у них в городе тоже есть кот и он нисколько не хуже, а лучше, потому что никуда не уходит.

До станции ехали мы весь день. Лыска не уставал, и наш ходок дребезжал, подпрыгивал на голых побитых корнях, старых колеях и ямках, и нет-нет да нас с тетей обдавало ржавой водой, скрытой густым трилистником и ряской. Показывались из-за «колен» и поворотов сухие полянки, на которые выбегали и смеялись сыроечки с тоненькими шляпками, синюшки, разнаряженные, с красными щеками, мухоморы, а через них, мне казалось, прыгал и прыгал Забанка...

Запоздалой осенью, когда межи и лес стали бесцветными, а дорога совсем почернела, на рябой от грязи полуторке я добирался в нашу деревню. После города дома ее показались мне маленькими, а дедов — совсем покосился. Ворот, высоких, давно-давно старых, на которых прибитые гвоздями держались кружочки солнца и полумесяца, уже не было. Их заменил низкий заплот с отполированной руками и одеждой верхней жердью. Один приамбарок, кажется, не поддался ни жаркому лету, ни жгучим холодам, ни дождям. Крепкие бревна его все так же отливали красноватой медью, дранье было целым, и только лиственничная кора, сберегавшая его, покоробилась, поломалась и кое-где свисала с крыши застывшими лохмотьями.

Дед так и не расставался с корзинами и коробами. Он бросил на лавку только что принесенную из леса лозу, заходил то с одной, то с другой стороны, не зная, что со мной делать. Он говорил и говорил и вдруг осекся,仿佛
вроде бы недовольный: сел в угол к столу и даже глядеть не хочет. Я растерялся.

Выручила бабка:

— Ты про Забанку спроси...

М..е было двадцать три. Я едва вспомнил: смешным показалось спрашивать про Забанку, да и нет его, наверно, давно. Но я послушался бабку.

— А что, дед, Забанка наш тогда так и не вернулся?

Дед качнул сухим плечом, недоверчиво скосился, взгляд его потеплел.

— Забанка... Не будет больше... Один Забанка... Э-э, браток, мало ли вот котов, а он не такой. Обойди всю сторону — и не будет, нет, не найдешь.

Что-то еще другое мучило деда, но он молчал, а застаившуюся в глазах горечь скрыть не мог. Дед посидел-посидел, повернулся ко мне голову и спросил:

— Лес-медуницу помнишь?

— Ага.

— Ну-ну...

— А сходим, дед, в этот лес?

Дед расчесал бороду и будто самому себе сказал:

— Дойдет солнце — от жары деться негде. В самый раз идти.

В лесу дед показывал, где какое дерево молния сбила, а какое — срублено.

— Э-э, мал был, не упомнишь: вот же, рядом голубицу с тобой брали. А переход не знаешь? Брусница там была-а... по-над берегом. А найди. Который год уже будто пал прошел. А бывало, и пал пройдет, а смороду, да хоть что, пригоршнями греби...

Еще давно с дедом мы едва прорыгались по осиннику, что за Шкуратовым покосом. Тогда как было: нет-нет да оставишь где-нибудь шапку или штанину расположуешь. А тут мы шли, уже Инка показалась за деревьями, а дорогу нам только раз перегородила согнутая над тропинкой береза да спиленный кондач, и над самой Инкой забелела длинная поленница дров.

Дед сердито мотнул рукой:

— Герасименок, лесу ему не хватило... Коршук, и только,— распекался дед.— До заемки руби — не вырубишь, так сюда залез, волчные глаза. Тут тебе и ягоды, и медуница, и все... А это что: столько прута срезано и брошено, столько охапок лежит с позатого лета, коню не увезти. Ну, на что ему?! Чтоб вас... Ну, подожди.

Дед больше не мог говорить и молчал и, лишь спотыкаясь на свежих пеньках и корягах, готов был плюнуть, но только и мог, что обзывал кого-то коршуками и вороньем.

Вот и лес-медуница. Дед остановился возле поломанного, изъезженного кустарника. Смородину здесь уже давно не собирали, только у самой земли еще можно было отыскать придавленные рясные гроздья волчьих ягод, немного рябины да морошку.

Дед растерянно поглядел на меня, опустился на сгнившую колодину и сорванным голосом, почти шепотом, одними губами выговорил:

— Иди-иди. Смотри, я не пойду.

От колдовского дедова царства ничего не осталось: кто-то, видно, еще давно вырубил молодой лес на частокол и жерди, кому-то понадобились и деревья потолще — и половина из них была подрублена.

Росы-медуницы нигде не было.

Я вернулся к деду, сел на колодину. Дед встрепенулся, подсел поближе, взял меня за полу пиджака и быстро-быстро заговорил:

— Порубят тайгу. И медуницу — под корень. А не знаешь — Забанка тут ходит... Только раз видел — годов пять тому будет: молоноей залетел на ту вон лесину. И чего это такое: в доме мирный, а в лесе дичает. Видать, не знаешь, — инженер к нам, хлюст раскакой-то, едет и ораву с собой волочет. Постройка большая затевается... Камень бы вроде нашли. А по мне, век бы его не было. И что вытворяют: до Мильгитуя порубку... А такого красавца строевика и к Загорью не будет. Лес-то новый, не вошел в силу. Вырубят — и помру, — тихо сказал дед. — А инженера-прихвостня... в болоте. Вот те крест, не забоюсь. Натерпелся коршуков, хоть одного...

Дед отодвинулся. Мы сидели молча, он глядел в одну сторону, я в другую. Старик не знал, что я тот самый инженер, которого он собрался топить в клюквенном болоте.

ТРИ ДНЯ В ДЕРЕВНЕ

Посвящается Александру Вампилову

По деревенской дороге идут двое.

Дорога из тропинок взбирается на гору, падает вниз, и деревня Артуха, куда идут двое, только покажется крышами домов и снова исчезает.

Перед деревней увидели старую, на изгнивших стол-

бах арку, на которой болтались остатки еловых веток, кусочек когда-то выкрашенной в красный цвет рамки удерживался на проволоке; вверху одного столба тесовые доски оборвались, в пустых ходах арки воробы свили себе гнезда.

Из-за реки по бревенчатому настилу двигалось стадо коров, позади, в лесу, слышались неистовые крики, частые и резкие удары бича. Казалось, пастухи кричат и хлопают бичами на одном месте. Наконец стадо вышло из лесу, подняло пыль, рев, деревня ожила и задвигалась. На улицу стали выбегать бабы и девки загонять коров.

Разноголосый шум, скрипы ворот, удары калиток смолкли, запахло парным молоком и пережеванной травой, сильней задымили летние печки и огни, разложенные на земле в оградах и у колодцев.

Уже недолго оставалось до темноты, и двое поспешили. Спустились в низину, разделявшую деревню. Здесь даже в сильную жару грязь не высыхала и пройти можно было по прерывистой дорожке, прижимаясь к изгороди. Они перешли, переглянулись и рассмеялись, неизвестно отчего. Может, оттого, что их коснулись волны теплого, но уже осеннего воздуха, чистый закат, голоса на реке...

Мягко ударяются в траву сосновые чурки, катятся на дорогу. Женщина и мальчик бросают пилить, приглядываются к двум незнакомым. Когда один из них — тот, что немного постарше и посветлее, — спросил, где живет дядя Константин, женщина подошла ближе и сказала:

— А вы пришли! Дом с баней... Вы родня Константина?

Она вытерла ладонью нос, лоб и щеки, прибрала волосы, выбившиеся из-под белого тоненького платочка, и стала спрашивать дальше:

— Сашка, что ли... Я и подумала. А меня забыл?

— Тетка Марфа...

— Марфа, Марфа,— засмеялась она.— Помнишь. Ну иди, Константин в доме.

Дядя Константин, огромного роста, с крупными правильными чертами лица, с белыми подстриженными усами, в клетчатой, не по летам яркой рубашке, стоял посреди двора. Он бросил на груду свежих березовых

щепок обрывок веревки, улыбнулся и пошел навстречу молодым людям.

— Здравствуй, племянник! Не слышно давно — забыл старика. Вдвоем учитесь? — И он протянул товарищу Александра широкую красную руку с плохо гнущимися пальцами. — На сколько приехали?

— Дня на три.

— Что так?

— Скоро занятия в институте.

— Да, у вас с сентября начинается... — помог оправдаться дядя племяннику. — Ну, в избу пошли, там поговорим. Где ж я выпить найду? — ломал голову Константин, закрывая за всеми дверь. — Уборочная — запретили. Спросите у Зойки: вы в гостях, вам она скорее продаст.

На вымытом, еще не просохшем крыльце магазина сидели несколько мужиков и вспоминали, как прошел у них день, говорили о незаконченном дне так, будто его уже не было, будто начался уже другой день...

Девушка, на вид ей можно было дать лет двадцать, домывала крыльцо. Она не смутилась, когда городские остановились, разглядывая ее, не сделала вид, что надо передохнуть и тем временем тоже оглядеть новых людей. Александр хотел заговорить с ней — она ему показалась знакомой, — но девушка не намерена была вступать в переговоры,-domyla крыльцо и ушла.

Зойка, сорокалетняя женщина, с черно-жгучими спрашивающими глазами. Она только чуть-чуть расположила за эти годы, одевается как на праздник, больше тридцати ей не дашь. Александра с Валерием встречает, вся зардевшись, жмет им руки через прилавок, спрашивает:

— Когда приехали?

Наклонившись полной грудью к прилавку, немного простуженным приятным голосом сказала:

— Я знаю, зачем пришли. Не могли раньше — только что последнюю отдала.

Она собралась домой — жила рядом, но теперь не торопилась. Зойке все интересно, что они будут говорить: зачем приехали, надолго ли, где живут сейчас? Зойка раньше знала, конечно, но теперь забыла.

Александр ответил на все Зойкины вопросы, оглядел магазин и спросил:

— Чья это, мы шли, крыльцо мыла?

Зойка, поочередно разглядывая молодых людей, как будто оценивая, который из них подойдет в зятя, все тем же приятным голосом сказала:

— Тася — сестры моей дочка! Забыл? Ну, конечно, маленькая была.

— Сколько ей?

— Семнадцать.

— Это около их дома три кедра?

— У них.

— Кедры-то растут?

— Живые.

— Тася что делает? Учится?

— Перед вами из города приехала — вся в слезах. Тройку или двойку получила — не говорит.

— Куда поступала?

— В медицинский.

— Туда тяжело поступать, — посочувствовал Александр своей землячке.

— Там слезы рекой льются, — подтвердил Валерий.

Зойка сказала Александру:

— Маленький ты так был похож на своего дядю!

И для Валерия у нее нашлись теплые слова!

— Друг твой все время улыбается, а глаза — серьезные.

Уходить ей не хотелось, она бы еще поговорила, но языки в деревне длинные, припишут, чего не было. Она закрыла магазин и на алятских и артухских мужиков, продолжавших сидеть на чистых ступеньках и спокойно о чем-то рассуждавших, взглянула как на пустое место.

Константин переобулся в праздничные сапоги, ходил от стола к печи и обратно, звенел чугунами и чашками — жена Дарья уехала в гости к старшей дочери, и подавать к столу было некому. Казалось: вот-вот Константин начнет переворачивать, опрокидывать все, что заденет, из-за своего огромного роста и медлительных движений. Он огорчился, что так подвела Зойка, хотел идти искать по деревне самогонки или бражки, и его едва отговорили.

Александр разглядывал фотографии над столом в больших темно-красных рамках. Среди многочисленных родственников увидел и свою фотографию. Там ему двенадцать лет. Он уже знал тогда, что скоро расста-

нется с теми, с кем рос, кого любил,— та белокурая большеглазая девочка, она жила в доме напротив, и по утрам, когда он еще спал, поливала в огороде большой кружкой из ведра и пела. Тогда он быстро вылезал из-под одеяла, оставляя младших братьев, и слушал ее, смотрел за ней в широкую щель между досок...

Он переехал в город с родными, а она — далеко в тайгу, к горам. Говорят, замужем, двое детей...

— Давно ли все было,— проговорил Константин, и лицо его осветилось задумчивой улыбкой.— Женился?— спросил он у Александра.

— Нет.

Константин ничего не сказал, только кивнул, соглашаясь с ответом.

Поужинали.

Поговорили за столом.

Вышли за ворота. Сидели на низенькой скамейке, смотрели на дома, на дорогу, потерявшуюся в лесу, на большой закат. Нигде никого не слышно.

Константин громко зевает, сидит еще две-три минуты и говорит:

— Время отдохнуть. А вы не торопитесь: нагуляетесь, придете, я двери не закрываю.

Константиново окно загорается и скоро гаснет, тень от дома длиннеет, переходит за дорогу. Луна желтела за деревьями так низко, что за нее, казалось, можно было взяться руками.

Утром Константин принес из школьного колодца два ведра воды, поставил в сенях. На молодых людей, спавших под широким ватным одеялом, посмотрел, словно никогда ничего о них не знал.

Завтракали поздно. Константин сказал, что выпросил у бригадира коня,— под вечер можно съездить за сеном к озеру, сказал, что задержалась в гостях Дарья, что год не грибной, не ягодный,— лежите себе на солнце, читайте, рвите с гряды что понравится.

Они разделись до трусов, взяли тонкое одеяло и пошли к колодцу. Расстелили одеяло на траве, легли спинами к солнцу и сразу же, как по команде, сели: не могли привыкнуть, что много солнца, к прохладной черно-зеленой траве, усыпляющему воздуху... Поднялись,

походили по горячей земле между гряд, до головокружения смотрели, как над камышовым болотом старательно летал ястреб...

Они услышали женский окрик, не поняли откуда, но тут же, через просветы в тыну, увидели на соседнем огороде женщину, державшую в подоле свекольные и капустные листья. Она издали поздоровалась, сказала, чтоб пришли в гости, и скрылась.

— Крестная,— сказал Александр.— В доме Константина у всех одна крестная. Ариной зовут.

Валерий хотел проследить, как она будет идти, мелькая между тынинами, но не видел и удивился, куда же девалась Арина.

— Думаешь, она ушла,— засмеялся Александр.— Смотри, только незаметно, а то спугнешь, она смотрит в щелки между тынинами.

— Зачем?

— Просто так. Интересно ей.

Солнце зашло за тучи, и они пошли в дом.

В сенях, куда свет проникал только в открытую дверь да узким лучом падал через маленькое, в ладонь, незастекленное оконце, они увидели на высокой полке старые зеленые тетради начальных классов...

— Неужели в десять лет бывает такой красивый почерк? Как ее зовут?

— Галиной. Бывает же так: глаза синие, длинные, белое лицо, а волосы черные, как у цыганки, густые, она плакала, когда их расчесывала... Любила кататься на лодке: сидет, держится за края лодки, смотрит на воду... В девчонок из-за кустов бросают малыши грязью, а ее не трогают...

Валерий с тетрадями стоял перед фотографией Галины.

— Она училась дальше?

— Вышла замуж за парня из своей же деревни. Я ему нисколько не завидую. Ему все время кажется, что Галина от него сбежит.

— Парень-то хороший?

— Уж что его отличало, так это лихо ездил на лошадях. Уходил в армию, подарил Галине свою фотографию с надписью: «Кого люблю, тому дарю на вечную память». Хранила ее как самый заветный клад. Сколько слез, шуму было, если фотография терялась.

— Где она сейчас?

— На востоке. Она сказала своему мужу: «Увези меня как можно дальше от дома, тогда не убегу».

Вернулся Константин.

— Ну, едем сегодня к озеру? Я думал на завтра отложить — дождя бы не было. К ночи должен пролить.

Он принес из сеней новую ременную узду в медных крестиках и кружочках, с потускневшими удилами, взглянул на одного, на другого и почувствовал себя свободней, ему даже показалось: не такой уж и городской Александр, и этот, что с ним, переоденутся за сеном — и не отключишь от сына Федора. Федор на солнце и ветрах прокалился, в плечах и ногах крепкий: заносит по высоченной крутой лестнице зараз по два мешка пшеницы. Вот только учиться не захотел... Все дальше в тайгу переселяется... На своего деда похож: тот на деревню больше из лесу смотрел...

Ехали напрямки через хутор. Колеи пропадали в глубокой, истомленной солнцем траве. И трава, и лесные цветы, примятые колесами, выпрямлялись снова, и только что сделанные две полоски следов были едва приметны и на глазах исчезали. Пятикилометровое озеро показалось за деревьями длинной густо-синей чертой. Издали похоже, что Константиново сено стоит на воде.

Константин пустил жеребца на прибрежную траву. Жеребец медленно вошел передними ногами в мелкую воду, ткнул морду в песок, резко взметнул голову, зашел глубже, коснулся вытянутыми губами воды, пить не стал.

Константин сидел под копной на доске, выловленной из озера, и дивился несерьезности своих помощников: институт кончают, учителями скоро будут, а воюют со стрекозами, как дети!

Впервые в жизни Александр и Валерий видели столько стрекоз! Беспечно, стаями, проносились они, блестя разноцветными крыльями,— длинные косые столбы водяных брызг не пугали стрекоз.

Молодые люди перестали бить длинными палками по воде, вернулись к копне.

Константин посмеялся над ними:

— Ну что, победили стрекозы? Они как летали, так и летают!

Столкнули в фургон верхушку огромной копны-красавицы. За лето Константин дважды приходил ее подвершивать. С веселыми выкриками, с шутками ребята подавали Константину то большие, то маленькие навиль-

ники, и он с одинаковой легкостью, не боясь, что наткнется на железные вилы, схватывал и укладывал шумевшее сено по углам, в середину, утаптывал его, проходя по самому краю и каким-то чудом не падая с высокого воза. Не хватало легких, чтобы надышаться от раскрытоего сена...

Александр с Валерием были огорчены, что такая работа скоро кончилась.

Константин попросил кинуть ему вожжи, жеребец стронул воз с места, и молодые люди, приотстав — им никак не хотелось уезжать с озера,— зашагали по светло-зеленой, недавно подросшей траве.

У ворот дома, закрываясь рукой от лучей низкого солнца, стояла нарядная Дарья. Она узнала, что с возом сена едут ее люди, и прошла немного навстречу.

Константин сидел на возу спиной к лошади, смотрел на уходившую из-под воза дорогу. Перед домом, не оглядываясь, потянул к себе вожжи, жеребец пошел медленнее, Константин спрыгнул с воза на дорогу, отряхнулся от приставшего к одежде сена.

Щурясь от солнца, Дарья подала руку Константина — все-таки четыре дня не виделись — и, переступая с ноги на ногу, ждала двух. Те поняли, что у ворот ждет Дарья, и пошли быстрее.

Дарья поздоровалась с племянником за руку и трижды поцеловала его. Потом к ней подошел и первый протянул руку Валерий.

Все изменилось с приездом Дарьи. Она рассказывала, расспрашивала и успевала все делать. Узнали от Дарьи, что произошло в Артухе за последнее время. Обычные деревенские новости: сколько обошелся трудодень, что бывает в сельмаге, кто женился, у кого сколько детей, кто умер... Об умерших она говорила так, будто те еще жили. Рассказала, как умерла бабушка. Последние полгода жаловалась, что ничего не может делать, плохо слышит, в глазах метляки летают... Сильно печалилась, что помрет зимой,— ямку трудно копать. На николу и хоронили — в самые морозы.

Вечером Дарья пошла звать гостей.

Гулянки особенной не затевалось, позвала родню и самых близких знакомых. Причины были, чтобы собраться, выпить, поговорить: приехал родственник с другом, перевезли сено, купили на озере карасей...

Арина приходила три раза. Она принесла бидончик

бражки, большую миску малосольных огурцов и груздей.

— Пойду воды наношу. Избу закрою, а то комары налетят,— озабоченно сказала она.

Александр едва уговорил ее присесть на минуту.

— Ну, идите,— разрешила она.— А я отдохну. Целый день на ногах.

Арина в окно видела, как они прыгали с тына в картофельную ботву.

— Вы ж ба кругом — тын завалите! Все учатся?— спросила она у Константина.

Он молча и одобрительно кивнул головой.

Гостей собралось немного.

— Тася что не пришла?— спросила Дарья.

— Перед зеркалом у нас смотрится,— ответила Зойка.— Вон каких два жениха!

Дарья как будто не расслышала последних Зойкиных слов и попросила Александра:

— Сбегайте за Тасей.

Они шли по длинному узкому заулку, образовавшемуся между двумя стенами соседских сараев. Здесь было прохладнее, чуть собьешься — лица и рук касаются согнутые стебли крапивы и ветви тонких черемух. Пахло смородиной. В конце заулка в стене маленькая калитка с железным кольцом. Открыли, прошли под сараем. Два дома в ограде стояли плотно друг к другу. Александр сказал с сожалением:

— В этом никто не живет... Старики нет, Зойке с ребятишками хватает места в новом доме.

Когда они вернулись с Тасей, стол в большой комнате был отодвинут от стены и уставлен закуской и стаканами.

— Садитесь, где кому нравится,— сказал Константин, и сразу стало шумно.

Дарья сидела напротив Константина и о чем-то говорила с Василисой, державшейся прямо и неподвижно. Высоко поднимая брови, та царственно взглядала на Дарью. Василисина сын женат на Галине, и обе женщины в душе ревниво относятся к каждому слову, сказанному об их детях, хотя и беседуют, посмотришь со стороны, мирно и равнодушно.

Пока Дарья говорила с Василисой, распоряжалась всем крестная: наливала в стаканы, придвигала ближе тарелки, заставляла пить до дна.

Зойка первая вылезла из-за стола, лёгким прикоснением ладони поправила юбку, повернулась так, что юбка, казалось, вот-вот лопнет. Она еще раз мельком оглядела себя, осталась довольна и сказала:

— А я еще выйду замуж...

Женщины похвалили Зойку: понравилось, что она никогда не унывает.

А Зойка отодвинула цветную оконную штору, и они с Тасей начали о чём-то шептаться. Потом, громко засмеявшись, стали смотреть в окно. Тася удивилась, что берёзы отодвинулись в темноте от окна. Зойка не поверила:

— Ты не пила, а мерещится тебе...

Она вытерла пальцами запотевшее стекло, внимательно посмотрела и сказала:

— Стоят на том же месте.

Уже все было переговорено о деревне, о городе, гости стали прощаться.

Белеет из темноты дорога, пахнет деревьями и травами, на западе надолго вспыхивает над лесом беззвучная молния.

Около своего дома Зойка, обхватив ладонями плечи, скользнув по белевшим в темноте голым рукам, сжалась от холода, выдохнула:

— Пойду скорее засну...

Пробежала темный заулок, открывая калитку, отозвалась: какие-то ее слова прозвучали громко и странно, как из глубокого колодца.

Втроем шли по деревне. Молния осветила край неба, лес за рекой и болото с копнами. Тася смотрела в ту сторону, где собирался дождь. До Константина оставалось пройти два дома.

— Я едва держусь на ногах,— придумывал Валерий.— Я уже не сплю два года...

Он попрощался с Тасей и свернулся к Константинову дому, в темноте высокому и огромному. В одном окне штора сдвинута, виден край стола, разросшиеся кусты цветов... За столом все так же царственno сидит Василиса. Ей о чём-то говорит Константин, а Дарья с Ариной убирают посуду.

Валерий стоял в ограде и думал: «А ведь как хорошо: ночь, луна, река. И познакомились бы... Нет, она бы не пошла со мной, потащила бы Александра... Для Таси я все-таки чужой...»

Оставшись с Александром, Тася вела себя по-другому: она перестала казаться взрослой, не старалась говорить умнее, чаще смеялась над собой и над Александром, срывала на ходу то ветку бурьяна, то полыни, обожглась о крапиву, вскрикнула, со стоном сказала:

— Ужалилась... Ой, умираю...

— Какую руку?

— Эту...

Она протянула ему правую руку с беспомощно расставленными пальцами.

— Хочешь, я возьмусь за крапиву?

— Зачем,— говорила она, смеясь и плача.— Пошли к мосту, к воде. Уже не больно. Я выносливая. Если бы днем, ничего, а ночью, неожиданно...

Зашли на мост. Наклонились к перилам, хотели разглядеть что-нибудь в белом тумане... Слышнее стали крики ночных птиц. Исчезал и снова появлялся пугающий стрекот барашка.

— Дождя просит,— сказала Тася.

Александр вспомнил, что когда-то недалеко от моста росли белые и желтые кувшинки, и он доплыпал до них — там было мелко, можно постоять и отдохнуть на крепко сплетенных корнях водяных растений... Нащупывал поближе к дну стебель и срывал... Плыл к берегу, держа кувшинки в вытянутой руке. Длинные, темно-зеленые стебли, пока он плыл, обвивали, холодили его, мешали плыть... На берегу отдавал их девчонкам — те делали из стеблей бусы.

— Я помню, росли кувшинки...

— Мало осталось: появятся — их срывают.

— Достать тебе?

Спустился к воде и стал раздеваться.

— Оденься! Под мостом лодка!

Она перелезла через перила, удерживаясь за них, неловко прошла по коротко выступавшему над водой настилу. Он тоже снизу прошел ей навстречу, отклонился от моста и увидел ее крепкие, выше колен незагоревшие ноги.

— Упадешь! — засмеялся он, готовый поймать ее, хотя сам с трудом стоял в ботинках на скользких, едва скрытых в воде бревнах.

— Я спрыгну в лодку с моста! Только держи хорошо, не качай!

Она примерилась и спрыгнула так, чтобы коснуться ногами дна лодки рядом с Александром: если она поскользнется, он поймет ее.

Доплыли до того места, где росли кувшинки. Александр нагнулся, хотел сорвать и удивился: цветок крепко держится!

«Надо с длинным стеблем», — подумал он, встал коленями на мокре дно лодки, перегнулся через борт, стебель сочно щелкнул и оторвался.

— Зря сорвал... Это желтая кувшинка...

Он подал ей новую.

— Не надо желтых! — по-детски рассердилась она. — Желтые — измена.

Он долго искал белый цветок.

— Мы еще в лесу не были, — сказала она, вылезая из лодки на мост.

Она говорила, он держал ее, подсаживая к перилам, и слышал, и даже руками чувствовал, как рождался в ней голос и звучал в ее теле.

Шли по лесу вдоль болота.

Он слушал ее, улыбался ей, взял за руку.

— Боже мой, — сказал он, — это же петухи кричат...

— Вторые петухи, — уточнила Тася.

— Я ведь знал все это...

— Что — знал?

— Как петухи кричат...

— Глупости, — сказала она.

— Да, да, глупости, — ответил он самому себе и крепче сжал ее руку.

— Смешные вы, — проговорила она счастливым голосом, — что ты, что твой Валерий.

— Может быть, может быть...

— Не может быть, а точно.

Он пришел в восторг от ее слов, хотел засмеяться и не мог. Отпустил ее руку, шагнул к деревне и снова стал прислушиваться к пению петухов.

— Сколько же я не был здесь...

— Дорогу не забудешь — приедешь. У нас зимой тоже хорошо бывает.

— И зимой...

— Что — зимой? — не поняла она.

Свернули с дороги и шли среди редких деревьев по сухой и скользкой траве.

На третий день Александр с Валерием собрались с утра в лес.

Дарья принесла из-под навеса тонкое белое ведро.

— Может, где в ягоды зайдете...

Это была та же дорога, по которой ходили Александр с Тасей ночью. Солнце поднялось к одиннадцати, но в тени и в низинах не сошла роса, сухой воздух мешался с влажным, пахло болотной сыростью, сосновой корой, дымным светом падали на деревья дрожащие солнечные пролесы...

— Подожди,— сказал Александр.— Тася где-то здесь потеряла янтарного жука.

Ходил около дороги, искал...

Но разве найдешь в лесу, в такой траве...

Из леса пришли перед вечером. Дарье, потом Константину показали, нагибая, ведро: на дне на сковородку грибов с присохшими сухими листьями, немного скрытых брусликой.

Сели за стол. Константин с Дарьей выпили с ними две рюмки вина.

— Обедайте,— сказала Дарья,— я пойду телят пригоню. А то опять останутся ночевать у Пушкиных.

За этим же столом, отметил Александр, любил сидеть Федя. Запомнилось: много лет назад видел на столе разбросанный букет колокольчиков... Александр гостили у дяди Константина день-два, потом уходил домой. Галя с Федей провожали его до нестрашного места. Дальше он шел один, кричал на птиц, вылетавших слишком неожиданно, пугавших его, гонялся за бурундуком... Возвращался назад — думал, что заблудился,— узнавал дорогу и снова шел домой...

Появлялся в гостях Федя.

Врезалось в память, как он заходит в ограду, открывает двери и стоит на пороге с букетиком цветов, красный от смущения и широкоплечий...

Вечером никуда не пошли.

Валерий чаще вспоминал о городе. Александр больше молчал. Потом поднялся с постели и, ничего не говоря, стал одеваться. Ходил по ограде и спрашивал себя:

«Я как будто забыл и не могу вспомнить что-то... Со мной такого никогда не было... такое чувство, будто что-то потерял... Вчера ночью чуть не разревелся...»

Потом он сидел на скамейке за воротами и смотрел на крупные звезды над лесом. Когда-то в этом лесу они

играли с Федей... Они знали, что там живет огромный зверь, который разрешал детям кричать на него, бросать в него палками и засохшими сучьями... Он сторожил для них цветы... Показывал грибы и самые спелые ягоды...

Утром они уезжали на попутной машине.

Константин с Дарьей стояли у ворот, и только теперь было видно, какие они старые и одинокие.

Ближе к станции деревни все меньше были похожи на ту, в которой жили родственники Александра, и ему стало спокойнее, вчерашнего вечернего чувства скоро не должно быть — вчера ему все время казалось: еще день — и он не сможет ни ходить, ни спать, ни пить, ни есть...

ЛЕСНЫЕ КОЛОДЦЫ

Старик Букин доживает свои дни у дальней родственницы. Никто не знает, сколько ему лет. Больше он лежит на широком, из сосновых досок топчане, таком же старом, как сам Букин. Подогнув ноги в самодельных носках из овечьей шерсти, почти с головой укрыввшись одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, он, не отрываясь, смотрит наверх. Валится в изголовье старинная книга с металлическими уголками, с позолоченными буквами, на страницах желто-розовые круги: книга долго хранилась между досок, под крышей.

Когда-то внук Букина, ученик третьего или четвертого класса, целое лето тайком читал эту книгу на чердаке. Начались осенние дожди, на чердаке сделалось темнее, читать стало трудно, и мальчишка вернул ее старику, кажется, так и недочитанной. Букин не только не сердится, что книга попала под дождь, а говорит об этом с трогательной улыбкой.

В другом углу пустует никелированная двуспальная кровать с панцирной сеткой. Букин давно отказался от железной кровати, и я теперь сплю на ней рядом с высокой переборкой и окном. Мне надоела городская жизнь, вечная суэта, спешка, и уже полмесяца я живу

у незнакомых людей в одной комнате со стариком Букиным.

Днем Букина не слышно.

Ночью он кашляет на весь дом, и я просыпаюсь. В мое окно видно большую, с отблеском пожара луну, на обрезанном плашней выгоне чернеют копны листового сена, в открытую форточку вливается речной воздух.

— Ночь — год,— недоволен Букин.

Утро не излечивает Букина. Подойдет он к умывальнику, на полпути вспомнит:

— Ай нет. Корчик, дай корчик.

Он держит одной рукой корец — большую, с облезлой эмалью кружку, льет воду в полусогнутую ладонь и часто дотрагивается до щек влажными пальцами.

Но что это сегодня? Букин легко ходит по ограде, поправляет доски в штабеле, приглядывается к ведрам на кольях.

— Эй, студент, будет спать! Иди ополоснись — вода под навесом.

Он снимает ведра с кольев и со словами «По рыжики сходить» ставит на зеленую траву.

Два раза перелезаем через прясло. Вызанивая ведрами, идем по ярко освещенному лугу. Хрустит быльем под ногами первая срезанная трава. Вторая трава еще не готова. Когда она поспеет, даже самая острыя коса не возьмет ее. Выходить надо рано — вторая трава тогда легко поддается и ляжет с веселым хрустом. Она долго сохнет под нежарким осенним солнцем, останется такой же зеленою и даже в полдень будет пахнуть морозом.

Останавливаемся на грани леса и поля.

Пролетел вечно испуганный дикий голубь, странный звук подала ворона, не знаешь — будешь думать: кто это? Поле убрано, не слышно людских голосов, только зимой приедут сюда за соломой, негромко переговариваясь.

От дороги донесся пронзительный скрип пускача, эхо заработавшего трактора проликовало и утонуло в реке.

— Не нагибайся,— предупредил Букин, когда я хотел поднять подберезовик.— Наберем одних рыжиков.

Попадается целая армия грибов. Никуда не нужно идти — упади, раскинь руки: сколько захватишь — и полведра. Букин шагает, что-то говорит самому себе, и я не могу ломать суравеги, грузди, березовики и подосинники. Прокидывались рыжики. Но это, оказывается, не

то — настоящие рыжики где-то дальше, на старой за-
лежи.

Едва поспеваю за Букиным.

Что напомнил ему этот лес, это время осени, когда устанавливаются хорошие дни, дожди короткие, самые грибные?

Залежь...

Широкой полосой стоит молодой лес. И внизу, и выше по стволу он был чистым и не давал тени. Здесь светлее, тонкие высокие сосны и лиственницы готовы зазвенеть от малейшего удара.

На месте этого леса когда-то была деревня... Теперь осталась избушка для пастухов и два колодца, которые увидишь, когда подойдешь вплотную — так густо разросся молодой сосняк. Название деревни исчезло, это место теперь так и называют — Лесные колодцы.

— По закрайку сюда реже заглядывают, — показывает Букин в сторону низких остро-зеленых елочек. — В этих местах я собираю рыжики с твоих лет. Тут их косить косой было...

Никогда я не видел таких небольших, толстых и крепких рыжиков. Они еще держат утреннюю воду, с готовностью хрупнут, если наступишь или неосторожно сломаешь, шляпки проткнуты прошлогодними сосновыми иголками.

Букин кладет рыжики обрезанными ножками вверх — так они ложатся плотнее и не ломаются. Свежеет его лицо, глаза стали синее, заблестели. Он уже не видит рыжиков — оттуда, где лес сомкнулся с белыми легкими облаками, где одного цвета небо и земля, виднеют молодые годы Букина... и не уйти ему отсюда никуда и не уехать.

У нас полные, с краями, ведра. Подвигаемся к дому лесной дорогой, заросшей высокой сухой травой и широкими листьями. Солнце уже высоко. Нет зноя, хотя небо грозово-синее, только к горизонту белое, тонущее; в синевато-туманном бесконечном воздухе приглушенные звуки.

Скрипят журавцы, бьют ступицы колес, за уметом рядом с колодой для воды Маланья с девчонкой выбирают картошку. Мы близко, бежит к нам, спотыкаясь на лунках с ботвой, Маланьина девчонка. Сама маленькая, быстроглазая, черная, а сандалии на ней большие — старшей сестренки, на которую я давно поглядываю нерав-

нодушно. Но она как будто не замечает меня, и я догадываюсь: она ждет внука Букина, который появится здесь вскоре, как я уеду.

— Где брали?

— А за угором,— отвечает Букин.— К вечеру нарастут.

День впереди. Букин вспоминает: надо загородить сено, тын перекопать...

Достаю воду в Лесных колодцах, пью долго, не отрываясь, до боли в висках и не напьюсь... Вижу, как растут огурцы на гряде, срываю их. Листья и стебли еще зеленые, шероховатые... Колю дрова, свежие поленья отлетают в сторону, иду за ними... Ко мне привык черноголовый капризный воробей, он ждет, когда я открою двери веранды, чтобы залететь на ночь.

Сегодня сплю на улице под черемухой. Причудливыми арками склонились над моей постелью черемуховые стволы. Позднее с размаху налетит ветер. Хлопают, будто крыльями, листья, и тогда виднее становятся темноголубые просветы между ветвями, и кажется, кто-то крадется, кто-то не спит в эту тревожную, в звездах, ночь.

Вернулись с мельницы и сгружают мешки, закрываются двери ларька, горланит пьяный Пашка.

В доме на топчане умирает старик Букин.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО

1

Давно я живу в городе и в деревню приезжаю все реже и реже — не оттого, что разлюбил и стал забывать родные места, а все больше становится некогда, город требует новых и новых усилий, чтобы чувствовать себя в нем как дома. Но даже когда мне совсем хорошо в городе, вдруг навалится на меня тоска о том, что я хоть и не хочу, а теряю самое дорогое для меня.

Иногда я себя оправдываю: я все больше боюсь ездить на родину — слишком много грустных воспоминаний в первый же день, в первый же час приезда...

Та же дорога с редкими огромными соснами, поля, как поднимешься на гору, знакомые крыши домов, и среди старых обгорелых пней и молодого березняка цве-

ты напоминают о себе одной и той же знакомой мелодией. Но прибавляется в ней какой-то новый мотив. Я оглядываюсь, чего-то не узнаю, может быть, того, что во всем, что вижу, уже нет меня, я уже становлюсь всему этому чужой.

А ведь было когда-то не так!

Стараясь догнать ушедшее, я твержу себе: все брошу и на день, два появлюсь дома. А в дни отпуска поживу дольше — не надо мне дальних поездок к морю, южного загара, не хочу я видеть вечно зеленых деревьев, не уйдут от меня церкви и княжеские дворцы...

И я сажусь в поезд. Темно-синие зеркальные вагоны бегут среди полей и леса, но это еще не мои поля, не мой лес. И в самом начале пути предательский голос — я знаю, что это не мой голос, — начинает успокаивать меня: ничего не изменится, если ты побудешь один день дома, только хуже тебе...

Что — хуже?

На этот раз я лучше, чем когда-нибудь, знаю, для чего еду. Я придумал такое, и даже не придумал, а это подсказала Ты в такой день, когда я уже привык к себе и когда все окружающее меня сплошным разноцветным кругом разделялось на части: это — белое, это — зеленое, это — красное... Я думал, что вижу те же цвета, но это были только их названия...

Ты появилась на короткое время из тех краев, где я никогда не был. Я знаю, где Ты живешь, но чтобы не потерять Тебя, я еду не в Твои края, а к себе домой.

Мне остается два часа пути. Поднимаюсь, выхожу в тамбур, долго смотрю в окно: однообразная белая пелена снега и леса до самого горизонта. Дома и станции — все потонуло в сугробах. Впервые за много лет я еду в деревню не летом или осенью, а зимой. Холодный ветер врывается в открытую дверь. Мне не хочется ее закрывать — мне нужен этот ветер, его свежее дыхание... До-стаю пачку сигарет «Наша марка», распечатываю, закуриваю. Это Твои сигареты.

Однажды Ты спросила:

— Плохо, что я научилась курить? Я сама не понимаю, зачем мне нужен дым. Хотите, брошу?

Что я мог ответить...

— А вы? Скажите, зачем вы так много курите? — И, пристально посмотрев на меня, закрывая книгу, о чем-то задумавшись, попросила: — Не надо, не отвечайте.

Мне кажется, что она все понимает, несмотря на свой еще совсем юный возраст.

Ночью мы ходили к реке.

Ты все пыталась пройти по кромке льда над черной дымящейся водой, я удержал Тебя. Быстро, сводящей с ума походкой Ты почти бежала по берегу. Я помнил и в темноте снова старался различить цвет Твоих коротких сапожек, зимнего пальто и модного теперь шарфа. Твое лицо разгорелось от ветра. Ты вдруг остановилась и сказала:

— Зима, январь, а река не замерзла! Никогда не видела... — И спокойно приказала мне: — Поднимите воротник.

— Зачем?

— Холодно.

Каждый раз мы все куда-то бежали, бежали, так и не успели поговорить.

2

В деревню приехал я вечером.

Как тихо здесь после города, как скрипит под ногами даже в темноте белый снег, как пахнет свежераспиленными дровами и дымом из печных труб!

В ограде ко мне подбегает постаревший мой друг Трезор.

— Трезор, ты хромаешь?

Осторожно трогаю его раненую ногу, нашупываю пропстрел, затянувшийся твердым костяным рубцом. «Если бы я был дома, никто бы его не тронул...»

Трезор впереди меня появляется на пороге, и, приветствуя нас, гудит, потрескивая, новая плита, уже красная с одного бока. Меня встречают родные. Лохматый мой друг уходит, оглядываясь, как бы говоря: «Ты не задерживайся, выходи на крыльце, и мы будем что-нибудь вспоминать...»

В комнатах с крашеным потолком тепло, уютно, я радуюсь своему приезду и думаю: «Когда-нибудь сюда, в этот дом, придет Твое письмо. Оно будет лежать на столе, дожидаясь меня, а может, я первый встречу почтальона и, не скрывая радости, буду держать в руках тонкий конверт...»

Твой поезд, грохоча на стыках, летит сейчас в ночь. Я слышу его низкие, тревожные сигналы, и кажется, что

нет ничего сильнее его металлического бега. Необъяснимое чувство дороги и возвращения домой будет объединять нас. Потом Ты пойдешь к знакомым. А мне надо побывать в зимнем сверкающем лесу, войти в его морозно-сонное ледяное молчание...

Я выбираю лес, который бы понравился Тебе, сворачиваю с дороги и глубоко проваливаюсь в снег. Трезор, удивленный моим поведением, медлит секунду, с лаем бросается в снежное море, и очень похоже, что он не прыгает по снегу, а плывет. Прошу его идти по моим следам, но он делает дорогу рядом со мной, обгоняет, нетерпеливо ждет: он хочет угадать, в какую сторону мы пойдем.

Солнце только взошло, и впереди деревья и снег розовые. На поляне, около черно-зеленых молоденьких елочек, согнутых от снега, краснеют замерзшие ягоды шиповника. В воздухе все меньше ледяных искр, но зато сильнее начинает блестеть снег. Плотным кольцом меня окружают сосны, вершины их очерчивают круг неба — как будто стою на дне глубокого колодца. Трезор, отряхиваясь от снега, смотрит мне в глаза: «Ну, что же ты, идем дальше!»

Кажется: вот сейчас, сейчас я войду в розовые солнечные полосы, но они отодвигаются, и с какой-то радостной болью я продолжаю тонуть в снегу... За частыми стволами деревьев синеет заледенелая, со старыми следами тропа. Дальше иду по ней. Солнце теперь оранжевое, поднялось над Песочной горой и сделалось меньше. От морозного лесного воздуха, от дымчатой снежной пыли, медленно падающей с прогнувшего дерева, от невозможности вместить в себя столько чистоты и свежести начинает позванивать в ушах. Пора возвращаться в деревню.

Над домами прямые, высокие столбы дыма. У соседских ворот стоит и смотрит на улицу древняя, в белом полушибке старуха. Валенки на ней, донизу закрытые широким платьем, маленькие, детские. На реку, к ледяной колоде, два мальчика верхами гонят на водопой табун лошадей. Дорога к водопою крутая, и под звон мальчишеских голосов слышен быстро удаляющийся топот... Все смолкло, снежная пыль осела на дорогу, а старуха все смотрит в сторону проулка, в котором скрылись мальчики и лошади...

К закату небо стало окрашиваться в грозные тона:

багрово-красные, черные столбы росли, поднимались; облака, подсвеченные снизу, дымились; неполная луна, бегущая среди длинных разорванных облаков, меняла цвет, напоминая лицо каменно-древней и властной женщины. Когда-то в детстве я видел такой же бешеный закат. И не то вспомнил, не то догадался: будет крепкий мороз!

К ночи в нашем огромном бревенчатом доме стало потрескивать в углах, на стеклах окон появились новые ледяные узоры. Кто-нибудь поднимался, подбрасывал дров в плиту, и долго, в темноте, на стенах и на полу не исчезали дрожащие отсветы пламени...

3

В городе вечерами и ночью я садился за стол и часами просиживал над белыми листами бумаги — пытаясь написать Тебе письмо. В бесчисленный раз появлялось в начале листа Твоё имя — и сразу же я видел большие темные глаза, звучали слова: «Ну, что же делать?..» И я не понимал значения этих слов. Старался найти в них что-то грустное и не находил. Два коротких банта делали Твоё лицо еще более жизнерадостным и детским.

Когда мы шли из кинотеатра (был какой-то документальный фильм, из которого я не помнил ни одного кадра), Ты сказала:

- Мне нужно побывать одной.
- Тебя проводить?
- Как хочешь.

Я остановился. Ты продолжала идти, оглянулась, и мы с минуту стояли и смотрели друг на друга издали. Потом шли рядом. Ты взглядала на меня, как будто мы только что сильно поссорились.

Больше мы не виделись.

Письмо я написал длинное, на двенадцати страницах. Никогда ни с кем не был я так откровенен за всю свою жизнь.

Утром перечитал все двенадцать страниц и сам испугался того, что в них было.

«После такого письма я ей буду не нужен. Я же тут весь как на ладони!»

Второе и третье письма были похожи на первое, и я их складывал в стол.

Четвертое получилось.

Я знал, как чуть не отправил первое письмо, и поэтому четвертое, когда оно было закончено, читал так же придирчиво. Кой-где подправил, еще раз переписал, прошел и вздохнул — нет, не скажу, что с легким сердцем,— я настолько спрятался за веселыми словами, что даже казался равнодушным к Ней. На такое письмо Она сможет легко ответить, успокаивал я себя. А уж потом... все получалось вроде бы правильно: потом я посылаю третье, второе и, когда Она привыкнет,— первое!

Я пошел на почту и, подчиняясь не себе, а какому-то чужому голосу, отправил четвертое письмо.

ЭТАЖОМ ВЫШЕ

Евгений Ильич принадлежал к тем людям, которые все время ждут: вот-вот что-то должно случиться. Но проходило время, и ничего не случалось, ничего не менялось в его жизни...

Думал годам к тридцати достигнуть многого. Но вот уже за тридцать, а ничего не достиг: нет ни любви, ни семьи, ничего — один. Правильнее было бы сказать, все это у Евгения Ильича было — и жена, и сын, и трехкомнатная квартира с высокими потолками. Раздобыл Евгений Ильич импортную мебель, телевизор с большим экраном, ковер во всю стену, коридор и комнаты были уставлены шкафами и полками с книгами... На работе его начинали любить, не прижимали, когда он вдруг выпрягался, делался грустным, ни с кем не хотел говорить, все знали: это у Евгения Ильича ненадолго и скоро пройдет.

Он уже ни к чему особенному не стремился и все больше делался похож на других. Евгений Ильич свыкся с мыслью, что ничего особенного он и не представляет собой, да и жить так, как он уже давно жил, было спокойнее и проще. Прошел бы год, другой, и Евгений Ильич остыпенился бы окончательно. Но он был в том возрасте, когда не поздно задуматься, еще молод, есть силы и при желании можно что-то исправить, переменить свою жизнь.

Последний случай вывел Евгения Ильича из равновесия. Ему позвонил Зимов, бывший одноклассник. Не виделись они лет пятнадцать.

Зимов, как только они встретились, сразу же узнал Евгения Ильича, сказал, что Евгений Ильич переменился мало, даже прически от школьных лет осталась. Разговаривал он с Евгением Ильичом как с младшим и все больше раздражал своей солидностью.

Когда Зимов ушел, довольный не столько встречей, сколько собой, Евгений Ильич как-то сразу же сник: сидел, ложился, вставал и не мог найти себе места. Как же так? Зимов, учившийся чуть ли не хуже всех в классе, Зимов, интересовавшийся только аккордеоном, имевший в аттестате зрелости одну пятерку — по физкультуре, и вот он на высоте положения, а Евгений Ильич, можно сказать, нуль...

«Чего же все-таки не было и сейчас нет?» — раздумывал Евгений Ильич, лежа на кровати с женой, к которой, ему казалось, у него не было никаких чувств. С неловкостью взглянул на нее: она спала до этого спокойно и будто во сне тоже почувствовала что-то, над чем мучился сейчас Евгений Ильич, вздохнула, как ему показалось, горько, ближе придвигнулась к нему, ее волосы, не очень густые, но длинные (она уже давно не обрезала их, боясь, что не будет счастья), коснулись щеки Евгения Ильича, и он медленно убрал их и рассердился на себя, зачем убрал. «Она несчастна со мной, а я несчастлив с нею...»

Осторожно, чтобы не разбудить жену, выбрался из-под одеяла, взял будильник и перешел спать в другую комнату. Проверил, на сколько заведены часы, все правильно: на полседьмого.

«Завтра опаздаю,— подумал Евгений Ильич.— Сколько можно не опаздывать?..»

И он, ложась на диван, не выключая света, представил, как будут взглядывать на него склонившиеся над столом сослуживцы и думать: что-то у Евгения Ильича опять случилось.

Довольный, что завтра опаздывает, Евгений Ильич поднялся, выключил свет и снова лег, подложив под голову руку: иди за подушкой не хотелось. «Сколько можно спать на мягком?— рассуждал Евгений Ильич.— Так забудешь, что и живешь!.. Час ночи,— подумал он, взял со стула будильник.— Да, точно час ночи». Ему не поправилось, что угадал время. Он хотел повернуться на другой бок — отлежал руку — и как будто бы не мог. Четко сознавая, что не спит, почувствовал то, чего никогда с

ним не было: удары сердца Евгения Ильича совпадали с ходом будильника, Евгений Ильич оказался как бы под током.

«Может, я сплю все-таки?..»

Он несколько раз открыл и закрыл глаза — нет, все происходит на самом деле: удары будильника становились сильнее и так же нельзя было отличить — стучит будильник или сердце Евгения Ильича, все было одно и то же. Одновременно Евгению Ильичу нравилось его состояние: он все осознавал, все было легким, приятным, теперь он, казалось ему, не чувствует времени, он как бы погружался во что-то бесконечное, праздничное, чему нет названия, все было похоже на огромный хор, несущийся к небу, хор, который только что находился рядом, а теперь далеко...

«Так вот оно, к чему я стремлюсь,— вспомнил Евгений Ильич.— А я было его потерял... Теперь никто не отнимет у меня... Но что же это было?.. Где я видел?..»

Одновременные удары будильника и сердца делались тише, медленнее, и Евгения Ильича вдруг испугала ясная и страшная догадка: «Да я же сейчас умру, это же вот так и умирают... Но у меня ничего не болит!» — хотел крикнуть он и еще яснее осознал, что нельзя кричать: а вдруг что-нибудь с сердцем, сильно крикнешь, и как раз этого-то и не хватает, чтобы умереть, одного крика... Как можно слабее и медленнее притронулся рукой к левой стороне груди, тут же соображая, что, может быть, делает ошибку, но уже распрямленная ладонь коснулась того места, где билось сердце, и он обнаружил спокойные и сильные удары сердечной мышцы, как всегда, никакой боли так и не было.

«Настоящий мотор,— обрадовался он,— с таким мотором жить да жить!»

Он не мог понять, сколько прошло времени, хотел посмотреть и передумал: зачем идти на поводу у времени? Утро, день, вечер, ночь — разве этого недостаточно?

Уснул он настолько крепко, что выспался за два часа к положенному времени, то есть к половине седьмого. Хорошо помнил, что нужно опоздать, но... «Раз уж поднялся, то что делать — пойду».

Евгений Ильич украдкой поглядывал на жену: догадывается ли она, что он сегодня, нет, еще раньше придумал и уж точно не отступится? Он не заметил, как заговорил вслух, негромко, ни к кому не обращаясь.

— Что ты сказал? — переспросила жена.
— Кто, я? Ничего не говорил...
— Значит, мне послышалось.
— А может, и сказал, да не помню.

Жена засмеялась.

— Ты над чем смеешься?

— Над тобой.

— Почему надо мной?

— А что, нельзя над тобой смеяться?

— Почему, можно, — согласился он. «Сказать ей или не сказать... А, как скажешь, так не сделаешь...»

«Неужели она не замечает во мне никакой странности? — спрашивал себя Евгений Ильич, провожая жену до ее работы. — Конечно, странности во мне никакой нет, это мне точно известно. Но она должна что-нибудь заметить, почувствовать, что я не такой, как вчера? Неужели ее устраивает, чтобы я был всегда тем, что я не люблю? Она смеется, когда я говорю самые искренние слова, да только ли слова! Когда весь я лучше, то поразительным образом оказывается, что я хуже. Выходит, рас проститься с лучшими моими мечтами, согласиться, что все было туман, детство, нереальность?..»

Он не заметил, как прошел четырехэтажное старинное здание с колоннами, где он работал.

«Так и есть, опоздал», — сначала с неудовольствием, но тут же следом радостно отметил он, открывая массивную, удерживаемую огромной грубой пружиной высокую дверь.

В коридоре ему сказали, что вызывает начальник.

Евгений Ильич в пальто и шляпе, без стука, как в свой кабинет, вошел и не поздоровался, что-то вроде кивка у него получилось, а может, и это было незаметно, и Евгений Ильич понравился себе пусть маленькой, грубоватой, но все-таки смелостью.

— Вас искали. Тут приходили...

— Ну и что?

— Не было, вот вас и искали.

— Да, не было.

— То есть вы опоздали?

— Я хотел опоздать, я специально опоздал, — и Евгений Ильич подал заявление.

«...Прошу уволить меня с работы по собственному желанию, так как хочу жить в другом городе...»

Начальник знал, что есть здесь какая-то шутка, паясничанье, но зачем умный, способный человек так шутит, этого начальник не понимал.

— Я бы не хотел увольнять. У вас в распоряжении двенадцать дней, подумайте.

— Ни в коем случае. Раз вы ко мне хорошо отноитесь, сию минуту.

Евгений Ильич вышел из кабинета и за порогом так легко вздохнул, будто тащил огромный воз в гору и разом бросил. Он увидел, как стал свободнее, будто бы даже подрос.

«Наверняка у меня и лицо сделалось лучше... Бежать... Бежа-а-ать...»

«Ну, а что дальше?» — подпевал какой-то голосок, который приобрел вполне реальные черты соседа Евгения Ильича по рабочему столу. Евгений Ильич, старший по чину, сейчас острее вспомнил, что Сивцов иногда взглядывал на других с каким-то превосходством, хотя Евгений Ильич видел и понимал: превосходства не должно быть. От таких людей, как Сивцов, притворяющихся добрыми, веселыми, даже талантливыми, Евгения Ильича бросало в состояние, похожее на истерию. Но такие минуты истерии бывали не часто и, как правило, после выпитого. И все сходило легко. «Вино плачет», — говорили ему, хоть Евгений Ильич плакал совсем не потому, что выпил, — плакал он, думая о лучших, прекраснейших движениях своей души, которые уходили и терялись сейчас, на глазах. «Господи, — думал Евгений Ильич, начиная хохотать вместе со всеми над каким-нибудь пустяком, — зачем я смеюсь помимо своей воли, зачем мне нужно, как я верну себя?..»

Он пришел домой и сказал жене коротко и самое главное: уволился, еду. Так же немногословно объяснил, что же он «затеял».

Жена слушала его сначала невнимательно, перебивала, потом отступила, кажется, кое-что из сказанного поняла, и как-то легко, это даже задело Евгения Ильича, сказала:

— Лучше бы я никогда не выходила замуж...

Она не уговаривала и, не переставая быть несчастной, смотрела на поступок Евгения Ильича как-то уж очень просто, будто он только и делал, что увольнялся.

«Давно нужно было так поступить, оказывается, и здесь я никому не нужен, только так, по обязанности...»

— Куда девалась... — вслух повторял Евгений Ильич и не договаривал, что же он искал.

В какой-то мере этот вопрос был обращен к жене, но она или делала вид, что не слышит, или так было на самом деле. «Мне безразлично,— говорил ее каждый взгляд и движение,— мне все равно, что нужно моему бывшему мужу». Бросив работу, он как-то сразу отдалился от нее, стал менее понятен — и давно она чувствовала, что не совсем ей повезло с замужеством. А сейчас она была уверена, что он к тому же и не любит ее...

Без любви, она считала, прожить можно, и она привыкла... Но чего он добивается — взрослый, вроде бы умный человек, а поступает иногда как их двенадцатилетний сын, который сейчас в пионерском лагере... Все хорошо, хорошо, и вдруг...

— Может, тебе к врачу сходить? — сказала она.

Впервые за весь вечер он посмотрел ей прямо в глаза.

— Ты что, серьезно?

— Конечно.

— Я здоров.

— Это тебе только кажется. Провериться никогда не мешает.

— Я здоров.

— А я не уверена. Я вызову «скорую помощь».— Она стояла как раз у телефона и взялась за трубку.

Он вдруг увидел: ему никогда не убедить ее, она его не послушает. Он только не мог понять: неужели все это серьезно и нет и маленькой доли шутки в том, что она говорит и хочет сделать сейчас? «Нужно не спорить с ней, а заговорить о чем-то другом,— сообразил Евгений Ильич,— и тогда она забудет о звонке...» Он только подумал об этом, желая поступить как можно спокойнее, и сам не заметил, как отобрал у нее трубку, отвернул мембрану, положил к себе в карман и сказал:

— Теперь звони.

— Ненормальный,— качала она головой.— Ну, кто так делает? Отдай мне эту... как она называется... как я буду звонить?

Спускаясь с чемоданом по лестнице, Евгений Ильич отметил про себя: «Правильно, что положил в карман мембранны,— теперь не смогу позвонить домой... Куда же я иду? — спросил он у себя и сам же себе ответил:— Как куда, на вокзал».

Голос диктора подстегнул Евгения Ильича.

«Сейчас прибывает или отправляется скорый или пассажирский... Не успею взять билет, так сяду, потом куплю на какой-нибудь станции...»

В вагоне он вспомнил: в какую же сторону идет поезд? Лучше, если на запад. И он был доволен, когда стронулись вагоны, что поезд шел на запад.

Всегда Евгений Ильич садился в вагон с приятным чувством пусть даже и не очень дальней дороги, когда ехал в командировку или в отпуск, а тут приятного чувства не было. Сидел, сидел и все больше не нравился себе. Он отклонился вправо и увидел себя в узком вагонном зеркале и тут же перестал смотреть, считая, что это неловко, если увидят сидевшие рядом с ним женщины. Но ему не терпелось хорошенько разглядеть себя, потому что он опять остро почувствовал: с его лицом что-то делается...

Поднялся, прошел в тамбур, дождался своей очереди, занял туалет и стал разглядывать себя в зеркале. Сделал несколько гримас... Нос, лоб, щеки, подбородок, губы... особенно губы — очень плотно сжаты, некрасиво. Вот так, теперь даже что-то есть..., приятнее самому смотреть... Надо вернуть свое выражение лица, что-то с ним случилось... Но сделалось это не за один год, наверно, разве вернешь сразу... Да-а, неприятно... Но что же будет, если все время сторожить каждый свой шаг?

Он снова посмотрел на себя в зеркале.

— Будь спокойным,— вслух сказал он,— и все пойдет как по маслу. Дело-то все в спокойствии; нет, конечно, не в обычном спокойствии, а в равновесии, а оно у меня теперь есть; не полностью, правда, но постепенно придет. Все зависит от меня, теперь будет, как я захочу... Только не спеши, Евгений Ильич,— обратился он к себе после небольшого молчания,— а то сгоришь, не хватит надолго.— Он потер быстро и сильно ладонями и вслух засмеялся.

В дверь туалета постучали.

Он еще раз причесался, остался недоволен, что слишком приглажены волосы, взъерошил их и снова причесал чуть-чуть, ровно настолько, чтобы не было заметно, что причесывался, провел ладонью по щекам и подбородку — сегодня можно не бриться, завтра — и вышел уже более довольный собой, стараясь придать своему лицу нерешительное, расслабленное выражение...

Евгений Ильич настолько был занят тем, как он будет выглядеть, что прошел свое купе, возвращаться не стал, сел, где оказалось свободное место. Но стоило ему задуматься, засмотреться в окно, и он, очнувшись, едва заметно покачивал головой, пытаясь представить: интеллигентно ли, приятно ли его лицо, нет ли в нем того ненужного, грубого, что может оттолкнуть и чего так не любил сам Евгений Ильич.

«А только ли во мне дело, если у меня недостаточно того выражения, которое мне так нужно? — оправдывался Евгений Ильич. — Отец у меня самый рядовой человек — счетовод в колхозной конторе, дед и того меньше, едва умел читать, так могу ли я один вывезти такой воз? Не слишком ли беру резко? Так и до полгоры не дотянемшь... Надо потише и покрепче взяться, тогда, глядишь, и на саму гору вскарабкаюсь...»

На вокзале, где Евгений Ильич брал билет, перед тем как сесть в вагон, пнул, так, чтобы никто не видел, попавший под ногу гладкий галечник, развеселился. В вагоне, станции через две, задумался: куда же он едет, что это за путешествие и где оно кончится?

«Постой, постой, а куда я билет взял? До Зеленого городка? А почему именно туда? — Евгений Ильич усмехнулся названию. — Тоже мне, зеленый: смотреть — ни одного зеленого дерева не увидишь, и дома черные... А-а, вспомнил: да там же у меня сокурсник живет! Как уехал по распределению, так его оттуда никакой силой не вытащишь, застрял в дыре и доволен. Может, там действительно лучше, — с сомнением подумал Евгений Ильич, но тут же понял: в Зеленый городок он не поедет, да и нет, если говорить по-доброму, никакого Зеленого городка, только одно название. — Сойду на какой-нибудь станции, где никого не знаю. Не хочу я с ним встречаться: еще жаловаться начну, советовать будет... Уж я как-нибудь сам с собой справлюсь...»

Стал ходить по вагону, будто кого-то искал, будто у него дело какое-то, натолкнулся на кого-то из пассажиров, поспешно извинился, подошел к окну. «Что это, неужели так всегда видно с поезда: все, что на земле, поделено на квадраты, квадратики, прямоугольники, как будто не настоящее, будто игра какая-то... Или еще в кино так бывает: все похоже, а только можно не переживать — знаешь, что неправда, а все равно идешь, смотришь... Ну вот же они, сосны, березы, — продолжал

смотреть в окно Евгений Ильич,— зеленая трава, колодец с крышей — самые настоящие, а похожи на декорации...»

На следующей станции не спеша вышел из вагона. Удивился и обрадовался, что вышел не просто так, а с чемоданом,— можно не заскакивать в вагон.

Дождался поезда с запада.

Ни на кого не глядя, вошел в вагон, остановился у окна и так стоял, не выпуская из рук чемодана. Мелькает все в глазах, ни на чем нельзя остановиться.

«Отойду от окна, сяду, спокойно подумаю. Надо прийти к чему-то одному, надо все по порядку, а то у меня ничего целого... Надо все наметить, расчертить и действовать по плану... Так это похоже на те квадраты и прямоугольники из окна вагона, разве я смогу жить по ним, снова воспротивлюсь и опять ни к чему не приду. Не надо мне рамок, я только что убежал из них!..»

«Кто убежал, ты?— представился Евгению Ильичу голос Сивцова.— Ха-ха-ха — убежал! Далеко не убежишь, кончатся деньги, и придешь, будем снова сидеть рядом!»

«А ведь я, в частности, и от него хотел убежать, ведь он мне противен, а я даже могу поговорить с ним,— он рад, когда я обращу на него внимание... Почему он так неважко одет? Иной раз придет на работу изжеванный, волосы топорщатся, а сидит с таким видом, будто всем остальным снисхождение делает. Чувствуется, кулаки крепкие, как будто он тут для драки. А что я о нем знаю, что так отношусь к нему? И работать вместе стали недавно, что мне известно? Все равно я не люблю его, это будет высокочка, это сейчас он улыбается, в гости зовет...»

Так почему недружелюбно смотрят на меня, особенно раньше смотрели? Только ли из хорошего чувства, что я, могущий достигнуть многоного, ничего не достиг? Нужели их раздражает, что задаром ношу в себе неограниченные возможности и непускаю их в дело? Но отчего я не стараюсь? Что меня сдерживает? Понимаю: я не хочу приспособливаться, не хочу жить в мире с теми, кого ненавижу. Но разве я ненавижу кого-нибудь? Через пять минут я готов простить.... Разве есть во мне твердость, которая так необходима? По-моему, нет во мне никаких сильных чувств, одно жалкое стремление быть хорошим в самом себе, постоянная забота, как я выгля-

жу, какой у меня цвет лица, выражение, да как я одет, да что обо мне подумаю, и таких мелких вопросов набирается тысяча. Как можно их преодолеть, добиться чего-нибудь? Чего это я заволновался,— одернул себя Евгений Ильич,— что, собственно, случилось: я жив, здоров. Так, Евгений Ильич, не пойдет, нервы, нервы... А что нервы, разве у меня были когда-нибудь плохие нервы? Я всегда сдержан, ни на кого не кричу, умею выслушать, веду себя вполне прилично, вот только, что делать дальше, не знаю,— так и это все определится, приду же я к чему-нибудь. Только надо хорошенко разобраться, что к чему, а не так, как я,— раз, два, все бросил, а что мне это даст, кроме новых неудовольствий со стороны других? Опять, скажут, выкрутасы, до этого хоть не увольнялся, а тут еще уволился...»

Появились огни в городе, когда Евгений Ильич вернулся.

Домой он не собирался идти — уехал ведь все-таки... «Надо хоть с женой не встречаться, а в общем-то ничего страшного, скажу — никуда не уезжал. Домой звонить не будут, да как раз и не позвонишь... Что же я теперь?.. Куда я себя дену?.. Пойду к Сивцову, адрес у меня есть. Даже интересно: хоть посмотрю, как живет, звал же меня! А ведь Сивцов чем-то схож с Зимовым, что-то их объединяет... Внешне они нисколько не похожи, разве что нос у них одинаковый, и у того и у другого большой нос...».

Евгений Ильич, сойдя с автобуса, поглядел по сторонам и остался доволен: много каменных домов, Ангара рядом, около деревянных, как правило, старых и двухэтажных, под окнами и вдоль тротуаров тополя, яблони, акация...

Во дворе, напротив филармонии, Евгений Ильич увидел одноэтажный, осевший на передний угол домик, с выкрашенной коричневой дверью, на которой прибит большой, из фанеры, почтовый ящик. В глубине двора стоял еще похожий домик, одна стена у него была из кирпича, и сразу никак нельзя было предположить, что там живут люди. Пахло помоями, известью, отсыревшим от непрестанных дождей кирпичом, которым была уложена дорожка. Через прикрытый ставень виден был свет. Евгений Ильич постучал, но даже после стука не перестал думать о том, что еще не поздно взять и завернуть за угол, дверь откроют, посмотрят — никого нет — и за-

кроют. Но никто не открывал, и Евгений Ильич постучал вторично. Раздались шаги, на пороге, согбаясь под низкой дверной рамой, разлохмаченный, как будто волосы поднимал ветер, появился Сивцов. В правом ближнем углу тускло горела зачем-то выкрашенная в красный цвет маленькая электрическая лампочка, и лицо Сивцова от этого было красным и грозным. Сивцов продолжал стоять согнувшись, не переступая порога, затем отступил к двери, ведущей в комнату, цвет его лица переменился — дверь в комнату была полуоткрыта, и Сивцов попадал теперь под лучи лампы дневного света. Он, как показалось Евгению Ильичу, насмешливо, без особого удивления отметил появление своего бывшего начальника, запанибрата поздоровался, сильно сжал руку, и задержал ее дольше, чем полагалось.

В маленьком квадратном коридорчике все было заставлено и загорожено, и Евгений Ильич делал шаги осторожно, боясь споткнуться или что-нибудь опрокинуть.

— Здесь я живу один,— поспешил сообщить Сивцов, как бы одновременно извиняясь за хлам в коридорчике,— а хозяйка в соседнем доме. Это все не мое. И вот там еще маленькая комната,— показывал Сивцов, отодвигая и закидывая на торчавший в стене гвоздь грязную дешевую штору.— Там я сплю.

Евгений Ильич сел на старый плетеный стул, глянул на низкий потолок, на изогнутые стены в потеках от дождя и осторожно носом втянул в себя воздух.

— Чем это у тебя — газом пахнет?

— Газом,— подтвердил Сивцов.

— Да-а, квартирка...

— Где ж я возьму лучше? Никто холостому не даст.

— Одному и тут жить можно,— стараясь придать своему голосу бодрый тон, сказал Евгений Ильич, содрогаясь при одной мысли, что ему снова пришлось бы оказаться в своей первой квартире или в этой, сивцовской.— У тебя можно остаться? Что-то домой идти не хочется.

— Оставайся. Будешь спать на моей кровати. А я здесь, на диванчике.

— Так не пойдет,— запротестовал Евгений Ильич.— Диван — мой, хотя тут же и согласился про себя, что можно спать и на кровати.

«Кажется, зря я на него нападал, вроде от чистого сердца предлагает...»

— Побудь, я сейчас приду,— сказал Сивцов.

Оставшись один, Евгений Ильич еще раз уже не так придиричivo оглядел обе комнатки, согнулся над книгами, лежавшими прямо так, на полу. Сивцов не очень увлекался художественной литературой, больше было книг по истории государств, философии, религии, о жизни выдающихся личностей.

Евгений Ильич ушел на старое место, где сидел, и как-то по-другому взглянул на вошедшего через минуту Сивцова. Тот принес большую бутылку белого портвейна и несколько бутербродов с колбасой и сыром.

«Да-а, закусочка,— поморщился Евгений Ильич.— А у меня дома банки с малосольными огурцами... Рыжики... Маслята маринованные...»

Евгений Ильич не выдержал и сказал, какая у него закуска дома.

— И у меня когда-нибудь будет,— ответил Сивцов.

«Ни черта у тебя не будет»,— хотел сказать Евгений Ильич. Ему показалось, что Сивцов доволен, что Евгений Ильич теперь — нигде.

— Я не пью,— сказал он, когда Сивцов разлил вино в граненые, меньше обычных, стаканы.

Не успели ни о чем поговорить, Евгений Ильич поднялся и сказал:

— Спать хочу.

Прошел в другую комнату, не раздеваясь, лег на кровать и через какое-то время — знал, что еще не заснул, — увидел себя уже не первый раз мертвым. Лежал он как будто бы живой в том же костюме, в котором лежал сейчас на кровати, в тех же ботинках, только не в клетчатой, а в белой рубахе («А хорошо, что в белой, в белой я всегда лучше выгляжу...»).

Собрались люди, никто не плачет, не удивляется, что Евгений Ильич умер, считают: раз так случилось, значит, случилось... Плачет одна жена, вскрикивает, падает около Евгения Ильича и зачем-то просит прощения...

«Как будто что-нибудь изменится... Не воскресну же я, хоть и прошу». И Евгений Ильич только не может понять — искренно она убивается или так, для виду. «Конечно, для виду»,— решает Евгений Ильич. И вот теперь он умер. Хорошо, если не на самом деле... а если умер совсем, тогда что?..

Евгений Ильич начинает понимать, что не очень-то он досадил, что умер: все, кто стоят около него, стали

значительнее после его смерти, а Евгений Ильич на их глазах делался меньше и меньше...

Вспоминать будут редко, и то в связи с каким-нибудь анекдотом. Посмеются, кто-нибудь для приличия скажет, растягивая, примерно следующее: «Да-а, не верится, что Евгений Ильич умер...».

И сколько Евгений Ильич ни умирал вот так, для себя только, каждый раз приходил к одному: смерть не давала того, что хотелось, настолько печально не было, даже если кто-то плакал, скорее было неприятно: Евгений Ильич оказывался как бы виноват, что вот другие не умерли, а он умер. Самое же неприятное было то, что он видел себя мертвым не тогда, когда хотел, а это находило на него помимо воли, когда он и не думал, вся эта картина смерти подкрадывалась незаметно, сама собой, и Евгений Ильич только добавлял каждый раз какие-нибудь новые небольшие подробности.

«Что-то неладно со здоровьем,— подумал он, садясь на кровати,— иначе откуда быть снам, да если бы снам, а то что-то происходит: стоит прилечь, закрыть глаза — и сразу же видишь все, что хочешь...»

Сивцов сидел, склонившись над столом, около дешевенького оранжевого абажура и что-то читал. Евгений Ильич раза три недовольно посмотрел на него: «Вот тоже личность, как будто и не слышит, что я поднялся...»

— Сивцов,— громче, чем нужно, позвал Евгений Ильич.

Сивцов оглянулся, не спеша отодвинул книгу.

— Сколько времени?— спросил Евгений Ильич и тут же догадался, взглянул на свои часы, о которых совсем забыл.— Так это еще столько до утра?! Что-то не пойму, спал я или не спал, а сон опять видел. Один и тот же сон: в четвертый или пятый раз хороню себя!

— Бывает,— засмеялся Сивцов.

— Что бывает?— Евгений Ильич искоса внимательно посмотрел на Сивцова.

— Ну, приснится чепуха. Ты ведь живой!

— Сам знаю, что живой. Я не об этом... Я вот хочу спросить тебя... не кажусь ли я... ну... хотя бы немного... странным человеком?

— Да нет.

— Ты не спеши с ответом. В поступках моих со стороны не замечалось ничего такого... как бы тебе сказать... бывал я иногда непохож на других, что ли?

- Не замечал.
- Ну, хотя бы самую малость?
- То есть как? Каждый чем-то отличается от другого... А в общем, все похожи.
- Значит, я кажусь вполне нормальным человеком?
- Ну, Евгений Ильич...
- Вот-вот, говорю же я иногда... глупость какую-нибудь...
- Все иногда говорят глупости, ничего страшного.
- Ты меня не успокаивай, мне нужно знать, мне кажется, что я кажусь нередко смешным там, где поступаю вполне серьезно. Отчего это? Я же чувствую.
- Просто ты, Евгений Ильич, мнимый человек.
- Значит, я похож на других?
- Человек как человек... А что еще?
- Не верю я тебе.
- Евгений Ильич, буду откровенным, замечал я за тобой одну странность.
- Какую?
- Ты бываешь слишком искренним человеком. Так, Евгений Ильич, жить нельзя.
- Что значит «так» и что значит «нельзя»?
- Я хочу сказать, что некоторое твое откровение не нужно и даже вредно.
- Почему ты не хочешь быть искренним? — поворачивал разговор Евгений Ильич.
- Искренним можно быть только с очень близкими людьми.
- А если и с ними не получается?
- Получится с другими.
- Да как же получится, если ты с новым человеком заранее не откровенен?
- Должен оказаться такой, с которым мне захочется быть откровенным.
- Так всю жизнь прождешь.
- Прожду.
- Ты не будешь ждать: ты же расчетливый человек.
- А ты, Евгений Ильич, не такой уж и доверчивый, — засмеялся Сивцов. — Да, я хочу быть расчетливым. И знаешь почему? Я не такой везучий, как ты. У тебя как-то все само собой выходит, стоит лишь захотеть. А мне нужно изо всех сил...
- Что-то не понимаю, — притворился Евгений Ильич, хотя отлично понял, что хотел сказать Сивцов. Только

Евгений Ильич стеснялся говорить вслух. Он-то в своей исключительности, что ли, был уверен и сомневался, когда слишком уж не везло. Но даже и тогда Евгений Ильич не заглушал полностью этого чувства. Он уже меньше верил, что оно прорвется во всю силу, потому что было упущено время и того не сделаешь, хоть караул кричи. Был уверен, что призван совершить что-то особенное, ему так часто казалось и тогда, в детстве, но когда-то он свернул не на ту дорогу, зашел, кажется, слишком далеко, и выйти, как заблудившемуся в лесу человеку, нет возможности: куда ни пойдешь, везде одинаково...

Не дожидаясь, что ответит Сивцов, Евгений Ильич, довольный своим мысленным ответом, махнул рукой: это разговор бесконечный! Хотел уйти в другую комнату и заставить себя уснуть, но Сивцов вдруг спросил:

— Евгений Ильич, а когда ты вернешься?
— Куда?
— На работу. Мы ждем.
— Как это — «мы ждем»? Да я еще сам не знаю, вернусь ли?

— А мы знаем.
— Не могли же вы заглянуть сюда и сюда? — Евгений Ильич сначала ткнул себя пальцем в голову, потом в левую сторону груди.

— Заглянули, — нисколько не сомневаясь, ответил Сивцов и, сдержанно улыбаясь, смотрел на Евгения Ильича.

— И что увидели?
— Все. Решительно все. Как ты поступишь сегодня, завтра, послезавтра...

Евгений Ильич сердито дважды прошел от стола до дивана и, глядя поверх головы Сивцова, колотя себя в грудь, сначала кулаком, потом ладонью, повышая голос, сказал:

— Кто и по какому праву может заглядывать ко мне сюда и сюда. Я этого не хочу. Не же-ла-ю!

— А повод даешь.
— Какой?
— Своим поведением.
— Тогда что же получается, за мной следят, что ли?
— Ну, зачем, — улыбнулся Сивцов. — Обычное человеческое участие. А как же иначе?

- Значит, меня ждут?
 - Ждут.
 - Все?
 - Все.
 - Я бы вернулся. А теперь вот ты вмешался, и я не хочу.
 - Евгений Ильич, приказа о твоем увольнении пока нет.
 - Мне-то что.
 - Как что? Можно вернуться.
 - Все считают мой уход несерьезным?
 - Конечно.
 - Что же получается, серьезный человек несерьезно уволился? Это как объяснить?
 - Не подумал.
 - А если что-нибудь другое?
 - Хоть бы и другое. Будешь же ты где-нибудь работать, так почему бы не там, где привыкли, где тебя знают.
 - Я ведь еще из дома ушел. Что же мне теперь — вернуться?
 - Когда ушел?
 - Сегодня.
 - Вернись, как будто ничего не было.
 - Я что ж, ни с того ни сего из дома ушел, работу бросил? Затмение нашло, что ли?
 - Бывает и затмение.
 - Очень интересно. А может, на меня просветление нашло?
 - Что же это за просветление, если тебе от него вред. Да и не только тебе — всем.
- Евгений Ильич долго молчал, покачиваясь над столом, смотрел на Сивцова.
- Евгений Ильич, лицо у тебя побледнело.
 - Знаю...
 - Да нет, вот сейчас изменилось. Ты не болен?
 - Нет.
 - А сердце?
 - Работает, как часы.
- Евгений Ильич, не глядя, почувствовал, как у него подрагивают пальцы, и, чтобы этого не увидел Сивцов, положил руки на колени, холодно, как о чем-то постороннем, подумал: «У меня руки никогда не дрожали...»

- Евгений Ильич, спать. Третий час.
- Спи, если хочешь. Я и днем высплюсь, я теперь человек свободный.
- Ложись-ка, Евгений Ильич. А завтра возвращайся домой.
- Ты считаешь, мне нужно вернуться?
- Конечно.
- Так будет лучше?
- Ну, а тебе-то самому что кажется?
- Мне как будто бы все равно...
- Да что у тебя случилось дома? Поругались?
- Вроде бы нет. Так, пустяки.
- Ну и возвращайся! Спать будешь?
- Я посижу. Сивцов, в чем тут дело? Ты мне добра хочешь, а я тебя все-таки не люблю. Ведь ты мне на самое сердце наступаешь...
- Евгений Ильич, ну что ты... как ребенок, ей-богу. Мы станем друзьями, вот увидишь!
- Никогда,—тихо проговорил Евгений Ильич и дальше з говорил громко, бледнея все больше:— Это ты убил мою мечту. Не в полном смысле ты, но такие, как ты.
- Евгений Ильич, не хочу я с тобой скандалить, да и время позднее. Утром ты захочешь, чтобы этого разговора не было, сам будешь утверждать, что нам приснилось обоим. Да ты это лучше меня знаешь. Я вижу, хорошая жизнь тебе надоела.
- Значит, я хотел бежать от хорошей жизни?
- Вполне возможно.
- Во всей этой истории я выгляжу очень смешным?
- Нет, не очень. И я мог попасть в похожую историю.
- Интересно, как бы ты себя повел...
- Может быть, так же.
- Как я, что ли?
- Ну, с некоторой разницей.
- С какой?
- Пока не знаю.
- Почему обо мне наперед знаешь?
- Ты лучше меня.
- И потому — хуже? Сивцов, почему ты так спокоен? Можно подумать, что тебе трижды нагадала цыганка, ты ей поверил, и теперь ничто и никогда не может тебя поколебать. Хорошая тебе попалась цыганка...

— Понимаешь, Евгений Ильич... ты этажом выше, тебе и покуражиться можно... Но дело тут не только во мне или в тебе — каждый, какой бы он пост ни занимал, пусть даже самый маленький, должен все делать с полной ответственностью. У меня, может, тоже бывает плохое настроение, но я не хочу показывать его другим.

Сивцов говорил, Евгений Ильич слушал, разглядывая стены, потолок и предметы в квартире.

— От чего это след на стене, что здесь было? — спросил Евгений Ильич.

— Портрет висел. Какой-то военный... Как я поселился, старуха унесла портрет к себе.

— А до тебя жили здесь квартиранты?

— Жили.

— Почему она сняла портрет, когда ты пришел?

— Мало ли что пришло ей в голову.

— И все-таки совпадение это или нет? Связано тут что-нибудь с тобой? Ты считаешь, не связано?

— Евгений Ильич, я понимаю, о чем ты подумал, и все-таки скажу: ты прав для се́бя, а я больше: я — д. . . всех.

— А для тебя кто?

— Все.

— Эти «все» даже не знают о твоем существовании. Ты для них нуль. Ты хочешь быть нулем? Нет, никто не хочет быть нулем, каждый хочет стать богом. Что же тогда получается: боги повелевают богами? Что это, по-твоему, как не война богов?

Сивцов иронически взглянул на Евгения Ильича и, считая, что это уже конец разговора, вяло сказал:

— Богов нет, есть только люди. Я тоже когда-то думал, что я — бог, но очень быстро передумал.

— А-а, значит, и тебе казалось? Только я тоже знаю, что ты не бог, но, признайся, хотел бы затесаться в боги? Потихоньку, без шума. Ничего нет, нет... и вдруг Сивцов — бог! Ты бы меня сжег в секунду!

Сивцов с улыбкой смотрел на Евгения Ильича: мол, говори, говори, я слушаю...

— Ты подлец, Сивцов!

Сивцов отклонился от стола на спинку плетеного кресла и со спины и с боков стал похож на рыцаря, защищенного панцирной сеткой.

— Я не обижусь, — ответил он. — Если бы я знал, что ты говоришь серьезно, тогда...

— Все до одного слова серьезно.
— Я не верю.
— Конечно, ты не признаешься. Тебе это не нужно.
— Но ты же знаешь, что я не подлец.— Лицо Сивцова еще улыбалось.

— Я твердо знаю, что ты подлец, нисколько в этом не сомневаюсь. Может, теперь ты обидишься на меня?

— Немного подожду. Мне важно выяснить, где и когда я подлец. Я не отрицаю: могло быть, но только, смотря как понимать. Не всегда подлость — подлость.

— Всегда,— выпалил Евгений Ильич, как школьник, хорошо выучивший урок.

— О не-ет!— многозначительно произнес Сивцов.

— Дело не в конкретном случае. Ты, Сивцов, пространный подлец. Тебя поймать почти невозможно. Ты — оборотень! Так вот, я тебя задушу, я справлюсь с тобой, я буду тебе и судья, и защитник!

С искаженным лицом, хрипя какие-то непонятные слова, Евгений Ильич медленно стал подходить к Сивцову. Тот с изумлением и восторгом смотрел на своего бывшего начальника и не собирался ни бежать, ни как-нибудь защищаться.

«Он меня не боится... Я ему не страшен...»

Евгений Ильич крикнул что-то по-дикарски и закатился истерическим смехом.

— Евгений Ильич, что с вами, остановитесь...

Красный, со слезами на глазах, Евгений Ильич, пошатываясь, сел за стол.

— Я ведь умею искусственно смеяться. В детстве научился... Посмотри, как я буду смеяться!

Сначала смех Евгения Ильича был прерывистый и как будто театральный, но скоро его уже нельзя было отличить от естественного.

— Ну, как?— спросил Евгений Ильич.— Нет, похоже на настоящий смех?

— Я бы так не смог.

— Сразу и не сможешь. Этому надо учиться...

Сивцов смотрел на Евгения Ильича с завистью:

— Да вы, Евгений Ильич, прекрасно играете! У вас талант! Я всегда чувствовал в вас что-то такое...

Утром, чтобы не разбудить Евгения Ильича, Сивцов неслышно собирался на работу: осторожно ходил по

комнате, старался не наступать на скрипевшие половицы. Так же неслышно Сивцов хотел уйти, в это время Евгений Ильич, одетый, вышел из своей комнатки.

— Спали бы, Евгений Ильич, еще только полседьмого. Я что, разбудил?

— Да нет, сам проснулся. Я же всегда в это время просыпаюсь. Едем вместе: ты на работу, а я — домой.

И, странное дело, шли до остановки, ехали в автобусе, и все было так, будто не было у них никакого разговора. Евгению Ильичу было стыдно, что слишком уж он разоткровенничался — через край хватил. «В другой раз умнее буду...»

Сивцов сошел раньше.

«Да что у меня, склероз, что ли?! — засмеялся над собой Евгений Ильич, когда увидел, что все люди выходят из автобуса.— Наваждение: ехал домой, а приехал на вокзал!»

Евгений Ильич вышел из автобуса и, зная, что дома телефон не работает, решил все-таки позвонить домой, просто так, позвонить и не дозвониться.

Поставил чемодан около телефонной будки, плотно закрыл за собой дверцу, опустил двухкопеечную монету, набрал свой номер. Автомат сработал, на том конце провода кто-то ответил голосом его жены.

«Я ошибся номером, и потому мне ответили... Но голос... точно такой же голос..,»

Евгений Ильич не удержался и сказал:

— У вас такой же голос, как у моей жены.

— Да? Очень приятно. А у вас голос моего мужа. Как вам это нравится?

— Так, может быть, вы моя жена, а я ваш муж?

— Ну что вы, мой муж уехал.

— Куда?

— Не знаю.

— Он разве не сказал?

— Представьте, не сказал.

— Так не бывает.

— Вы плохо знаете моего мужа: он может уехать и не сказать куда.

— Это ты? — спросил Евгений Ильич, считая, что он говорит с женой.

— Нет.

— А кто? Как вас зовут?

— Зачем вам мое имя...

- Имя говорит о многом.
- Ну что вы, имя — пустой звук.
- Вы так считаете?
- Да-а...
- А вы никогда не думали, что от имени, от того, как называли в детстве, может зависеть судьба человека?
- Все зависит от самого человека. А потом... имя можно сменить, это легко делается.
- Легко?
- Конечно.
- Вы все упрощаете,— сказал Евгений Ильич.
- Нет, это вы все усложняете.

И Евгений Ильич услышал короткие гудки.

«Если телефон исправлен, если это говорила жена, то почему она не сказала, как ее зовут,— я же спрашивал? Если она знает, что это я, то почему говорит как с незнакомым? Может, я не с ней говорил, а с кем-то другим? А если она так быстро исправила телефон, то зачем? Чтобы я смог позвонить? Или только для дела?..»

Две остановки — от вокзала до планетария — он почти всегда ездил на трамвае или в автобусе, а тут не заметил, как очутился перед мостом.

«И через мост пройдусь, редко хожу... Здесь и воздух чище, и народу меньше, не надо толкаться, и нервы приведу в порядок, пока иду домой».

Он шел по длинному мосту с чугунными перилами и смотрел только на решетки. Удивился, что ни разу до этого как-то не обращал внимания, что перила состоят из отдельных маленьких решеток, что они скреплены, и если смотреть на каждую из них, то решетки даже не только просты, а примитивны, того впечатления от перил и моста, которое возникало раньше, не было, огромный мост потускнел... Евгений Ильич представил, как строили мост по частям, как что-то не ладилось, и уж в последнюю очередь ставили решетки, так, чтоб не было заметно, что они держатся одна за другую, будто одна длинная решетка, пока не кончится мост... Евгений Ильич насили у оторвал взгляд от решеток и стал изучать прохожих — пошел медленнее, чтобы видели, что он прогуливается и ему некуда спешить.

Навстречу, по другой стороне моста, шла молоденькая девчонка, лицом хорошая, зачем-то губы накрасила...

Евгений Ильич оглянулся, когда она прошла, и она тоже оглянулась, пошла тише. Не представляя, зачем он

это делает, поставил чемодан, облокотился о перила и стал смотреть ей вслед. Она почувствовала его взгляд, отошла к перилам и стала смотреть вниз, где далеко была вода, не спеша повернулась спиной к перилам и внимательно разглядывала наблюдавшего за ней Евгения Ильича. Ему стало неловко, что она так бесцеремонно разглядывает его, и он хотел взяться за чемодан и идти, но что-то удержало его, и он объяснил себе: «Постою, посмотрю, да и нельзя иначе: я остановился, и она, а вдруг она это из-за меня, а я побегу, нехорошо выйдет. Нет, сделаю безразличное лицо, будто я стою не из-за нее. И она, скорее всего, по какой-то другой причине не идет: ждет кого-нибудь или так стоит». Евгению Ильичу показалось, вот сейчас, смущенно улыбаясь, она пойдет к нему через дорогу, и он крикнет ей: «Осторожней! Пусть машина пройдет!» И этот крик не обидит ее, потому что Евгений Ильич очень хорошо будет смотреть, и так же, как она, чуть-чуть улыбаться, и первый спросит что-нибудь, чтобы ей легче было спросить у него, если ей нужно...

Они все так же продолжали стоять.

Евгений Ильич уже лучше видел ее лицо, замечал ее малейшее движение, как она смотрела, чуть не пошел через дорогу, забыв про машины, сказать ей хоть что-нибудь...

«А в самом деле, что плохого, если я подойду первый?..— Но сдвинуться с места он не мог.— А-а, знаю, почему не решаюсь: боюсь, что подумает обо мне, как о других, да еще ответит, как не ожидаешь...»

Позади Евгений Ильич услышал свободный неприятный смех, громкие самоуверенные слова, оглянулся, подходили два парня, один из них размахивал транзистором, из которого доносились прерывающиеся звуки мелодии. «Что-то из Листа,— попытался уловить Евгений Ильич.— Но что же?..»

Евгений Ильич с раздражением посмотрел на парней, когда они поравнялись, таким же взглядом проводил их и взялся за чемодан: «Надо идти, чего я стою...»

Перешел мост, оглянулся: девчонка оставалась все на том же месте и смотрела в его сторону...

«Что-то непохоже, что она ждет кого-то, скорее, ей просто некуда идти...»

Он постоял немного, преодолев стыд, поднял руку и долго держал, прощаясь...

Минут через двадцать Евгений Ильич был дома. Жена не удивилась, что он пришел, смотрела на него так, будто он никуда не уходил.

— Послушай,— миролюбиво произнес он,— полчаса назад я с тобой не говорил по телефону?

Жена с недоумением посмотрела на него: ну вот, опять начинается!

— Значит, я говорил с кем-то другим,— поспешил успокоить ее Евгений Ильич. Достал из кармана мембрану, исправил телефон. Что-то хотел сказать жене (что-нибудь повеселее), но она уже взялась за ручку двери:

— Я опаздываю на работу, потом поговорим.

Она послала ему воздушный поцелуй и ушла. Дверь громко хлопнула.

Через три дня Евгений Ильич вышел на работу.

Бумаги так же лежали на столе, но это уже были частью новые бумаги, новая переписка, аккуратно оформленная Сивцовым. И все было сделано и лежало на столе в точности так же, как это делал и складывал в привычном порядке сам Евгений Ильич. Никто над ним не подсмеивался, ни о чем не спрашивал. Проставили ему рабочие дни. Евгений Ильич ждал вызова начальника, но тот не вызывал.

«Уж лучше,— думал Евгений Ильич,— чтобы меня отругали, это бы я легче вынес...»

Ему хотелось, чтобы этих трех дней не было, собственное поведение показалось детской игрой, которую ему простили взрослые...

ГОЛОС

Двенадцатый год преподавал Николай Семенович Старков историю в средней школе. И все эти годы прошли в маленьком районном городке, где самым красивым зданием была библиотека, расположенная в деревянной церкви со сбитыми куполами. Здесь же, неподалеку от школы и библиотеки, была еще одна достопримечательность: на высоком столбе с утра до ночи, над перекрестком четырех дорог, грохотал огромный белый громкоговоритель, мимо которого Николай Семенович ходил на работу, в столовую, магазин или в кино.

Был он когда-то женат. После полутора лет совместной жизни они еще два года встречались, и оба поняли: ничего хорошего у них не будет. Другие, со стороны, удивлялись: если не могут жить вместе два таких человека, как Николай Семенович и Зинаида Андреевна, миловидная, добрая, преподававшая в этой же школе математику и физику, то что тогда делать другим?

Николай Семенович хотел уехать куда-нибудь, но Зинаида Андреевна опередила его. И он остался в школе. И прочно утвердилось мнение, что он любил Зинаиду Андреевну и потому столько лет не женится.

В гости Николай Семенович ходил редко. Чем больше собирались народу, тем ему было скучнее. Он оставался общительным, но прибавилось в его характере что-то вроде замкнутости или задумчивости, которые плохо вязались с его лицом, даже при сдержанности и строгости казалось: вот-вот Николай Семенович рассмеется над самим собой.

Когда личная жизнь не получилась, то Николай Семенович нашел себе оправдание: «Это у меня характер такой, или что-то кругом меня делается не так, как мне хочется...»

Летом Николай Семенович уезжал к морю. Посмотрел Сузdalь, Новгород, Киев... На знакомство с древностью ушло у него и два последних отпуска.

Весной он получил письмо из деревни. Отец и мать звали его отдохнуть и проститься с ними перед смертью. И Николаю Семеновичу стало стыдно, что забыл стариков, отделялся только письмами и посылками. И ехать было — двое суток на поезде и часа два на автобусе.

Пришло лето, кончились экзамены в школе, и Николай Семенович приехал в деревню. Вторую неделю живет он дома, спит на свежем воздухе — в амбаре.

Однажды ночью он проснулся и сначала не понял отчего. Не сознавая зачем, что же будет, торопливо поднялся, сбросив к стене холодное одеяло, прошел босиком по грязному полу, открыл дверь и слушал, как шли по улице, говорили, смеялись и начинали петь. Он никого не видел в темноте и стал прислушиваться к одному юному женскому голосу, напомнившему что-то давно ушедшее...

Десятилетним он учился бегать быстрее всех. Один раз он пробежал до леса, упал около деревьев и услышал над собой сдержаный женский смех. Быстро сел на траву и увидел за двумя соснами Надино платье.

— Я видела, как ты бежал... Я думала, кто-нибудь за тобой гонится.— Отклонившись назад, Надя держит двумя руками неполное ведро голубики.— Боюсь в лесу. Пока собирала ягоды, забыла, а пошла из леса, вспомнила...

Надя уже восемнадцать. Матери у нее нет. Шестой год она колесит с отцом по деревням, нанимается чистить колодцы.

Она ни с кем не подружилась, и вот уже год жила в Каменке так, будто приехала вчера.

Когда он видел, как она шла куда-нибудь одна, он залезал на забор или на крышу и следил за ней.

Зимой с Песочной горы каталось много народа. Надя тоже пришла. Она нагнулась к нему — он был ей до плеча — и спросила:

— Почему ты всегда смотришь на меня? Ты что-нибудь хочешь спросить?

— Нет.

— А что же тогда?

— Ты кому-нибудь скажешь.

— А разве это секрет?

— Да.

По крутыму склону, цепляясь за редкие сосны, они вскарабкались к песочным ямам.

Надя сидела перед ним на маленьких санках и ждала, что он скажет. А он стоял независимо и гордо в своем длинном пальто с тяжелыми рукавами, сам замерз, заморозил ее и не говорил ни слова...

Один раз он сидел на перилах, умирал от жары и не хотел лезть в воду. Смотрел, как она плавала.

Надя вышла из воды, он заметил, как она шла: вода вскипала у ее ног, как будто кто-то Надю сдерживал, и она тратила много сил, чтобы скорее выбраться на берег.

Подбежала к нему, рубашка вылепила ее грудь, живот, ноги, и, как уже было несколько раз, крикнула:

— Прыгай в воду! Я буду тебя догонять и топить...

Утром его разбудили завтракать. Он крикнул через дверь, что одевается, и если до этого его приходили будить еще раза два, то сегодня он вскочил, будто забыл что-то очень важное и только вот сейчас вспомнил. Кое-как наспех зашнуровал ботинки, вышел из амбара, зажмурился от яркого света и началом дня остался довolen.

«Позавтракаю и... надо разыскать ее. Буду ходить по деревне и прислушиваться к каждому голосу...»

Два дня прошли впустую: ни одна не говорила голосом, который он слышал ночью.

«Скоро найду», — думал он дней через пять.

Прошло еще столько же, а даже похожего голоса не было. Он сам себе объяснил ночной голос: «Он только мне почудился... То есть голос был, но прозвучал он так один раз — ночью, после дождя, среди других голосов... И теперь тот ее голос не повторится...»

Каменка из тех небольших деревень, в которой за много лет не прибавилось и не убавилось ни одного двора: уехали два или три хозяина, столько же появилось новых. Неизменно оставалась в Каменке начальная школа, расположенная в бывшем кулацком доме, с крыльцом в двенадцать длинных ступенек, с резьбой над окнами и под крышей. За высокими наличниками навсегда обосновались ворчливые голуби и воробы, летом все заглушающие своим криком.

Николай Семенович познакомился с каменской учительницей. Ему даже не надо было ничего рассказывать о себе — Ангелина Ивановна Серогодская знала о нем все, что требуется знать 25-летней одинокой женщине о холостом мужчине, ждала в гости и уже начинала сердиться, что Николай Семенович поговорил с ней только один раз, когда они нечаянно встретились на улице.

Однажды, когда Николай Семенович прошел и, как всегда, сдержанно поздоровался, Ангелина Ивановна вспыхнула и, воспользовавшись тем, что на улице никого не было, первая окликнула высокомерного учителя, подошла к нему и, краснея от обиды, сказала:

— Нехорошо вы делаете, Николай Семенович!

— Что нехорошо делаю?

Даже эти ничего не значащие его слова Ангелине Ивановне были приятны. Она устала ждать и считала, что случай такой для нее единственный, что сама судьба послала ее в эту позабытую всеми деревню.

Сузив большие зеленоватые глаза, трогая на груди модную шерстяную кофту, она, едва сдерживаясь, выговорила:

— Почему вы никогда не зайдете?

Серогодская выглядела сейчас лучше, чем обычно, и Николай Семенович пожалел, что не замечал ее раньше.

— Каждый день собираюсь, и все как-то некогда.

— Чем же вы занимаетесь?

— По дому что-нибудь помогаю.

— И на это уходит весь день?!

— Весь.

— А вечером?

— Вспоминаю...

— О чём? — смущилась Ангелина Ивановна.

— Детство вспоминаю.

— Свое, что ли?

— И свое, и...

— Понимаю, — сказала Ангелина Ивановна. — Сомней тоже бывает... Ну, приходите.

— Обязательно приду, — пообещал Николай Семёнович.

— Я буду ждать, — не хотела уходить Ангелина Ивановна. — Сами знаете, как у нас скучно.

— Что ж вы никуда не поехали на лето? — с увлечением заговорил Николай Семенович. — Столько мест интересных...

→ Я ведь совсем хотела уехать. Да задержалась...

Лето было жаркое. В предгорьях Саян растаял снег, и речка, в которой купались одни ребятишки, за ночь стала глубокой. Женщины набросали досок и стирают белье напротив своих домов. Синяя вода, блеск солнца, за тайгой белые горы...

Под вечер сидел на тропинке и смотрел, как догорает день. Думал о том, что скоро кончится лето... Посмотрел дальше вдоль залитого водой зеленого берега и замер: девочка лет пятнадцати стояла на траве у самой воды. Она нагибалась, дотрагивалась руками до высокой травы, маленькими шагами бежала по затопленной траве и возвращалась на старое место.

Он перевел взгляд на ближние предметы: на низкую поленницу дров около бани, на дремавший колодец с изогнутым журавцом, на огромные кусты черемух и, как делал когда-то, не моргая и не прищутиваясь, посмотрел на солнце, выдержал, а когда отвернулся, хотел за-

смеяться,— все стало еще больше зеленым, красным, розовым...

Девочка, придерживая одной рукой платье, зашла не глубоко в воду и стояла, не двигаясь.

Он вдруг увидел: все, что росло, звенело, пролетало над водой, доносилось с улицы, стало таким же, как в детстве...

«Сейчас сорвется и убежит...»

Поймал себя на том, что волнуется, старался сообразить, о чем будет говорить с ней.

«Да, ей пятнадцать, не больше. Мне, главное, последние шаги сделать и не споткнуться, тут в траве ямки, она тогда рассмеется...»

Он шел медленно.

Она не выдержала и сказала:

— Идите скорее.

Шагах в трех остановился. Спросил:

— Вы разве меня знаете?

— Я не люблю ждать,— ответила она.

Он засмеялся.

— Я вас знаю,— сказала она.

— Я вас не видел, но тоже знаю: один раз я проснулся от вашего голоса. Вы откуда-то шли ночью после дождя...

— И запомнили мой голос?

— Я вас искал.

— Значит, у меня хороший голос?

— Даже больше, чем хороший.

— Какой же?

— Я не могу выразить в словах...

— Но я хочу знать.

— Не надо торопиться. Когда-то я тоже все хотел сразу — и ничего не получил.

Она внимательно и с осуждением посмотрела на него:

— Разве надо что-нибудь получать?

— Нет.

— Тогда зачем говорите?

— А вы знаете, сколько мне лет?

— Это разве важно?

— Очень важно. Мне тридцать два. А я хочу, чтобы мне было в два раза меньше.

— Вам не нужно — вы такой интересный человек...

— Откуда ты знаешь?

— Я же вижу.

— А если ошибаешься?
— Я никогда не ошибаюсь.
— Тебе тогда легче,— вздохнул он.
— Мне трудно,— сказала она и тоже вздохнула.— Вы со мной, как с маленькой, разговариваете. А я уже взрослая.

— Я не могу представить тебя взрослой. Вот когда тебе будет лет...

— Чепуха,— сказала она спокойно.— Идемте?
— Куда?
— Сами выбирайте. Куда скажете, туда и пойдем.
— Ты все выдумала,— постарался он сказать так, чтобы не обидеть ее.

Она не обиделась и тихо сказала:

— Вы учитель.
— Учитель. Это плохо?
— Вы на меня смотрите, будто я учусь в вашем классе.

— Я больше не буду.
— Тогда другое дело. А почему вы не спрашиваете, сколько мне лет, как меня зовут, где я живу?
— Не успел.
— Ну так спрашивайте! Ладно, сама скажу: Катя.
— Тебе пятнадцать лет...

— Вы угадали. Но в октябре мне будет шестнадцать.
— Значит, тебя зовут Катей... Очень хорошее имя.
— Вы на полном серьезе?

— На полном.

— Вам я верю. Вы все время о чем-то думаете.

Вы — умный?

— Есть немного.

Они разом засмеялись.

— Я сначала боялась, думала, подойти нельзя. А вы не очень строгий. Я вас сразу разглядела.

— Ты много читаешь?

— Нет. Раньше много читала. У меня голова кружилась, столько читала! А что пользы: умрешь — и ничего не будет.

Она вздохнула.

— Когда все уснут и никто не видит меня — очень обидно. Вы будете обо мне думать?

— Буду.

— Всегда?

— Если хочешь, всегда.
— Я тоже. Так еще жить можно. А то ведь никто, никто... как будто меня нет на свете!
— Я скоро уеду.
— Вы же вернетесь...

Она не отвела взгляда, когда он долго смотрел ей в глаза.

— Не отворачивайтесь,— попросила она,— смотрите дольше. Я уже большая, мне можно. Скажите, вы — один?

— Один,— не сразу произнес он.
— Я знала...
— Ты очень спешишь.
— Вы ничего не понимаете,— сказала она и чуть не расплакалась.

Он не знал, что делать. Она сама выручила его:

— Возьмите меня за руку. Не так, сильнее...

Через минуту она успокоилась и сказала:

— Мы с вами похожи.
— Разве это п. оло? — сказал он, как бы отвечая одновременно и себе и ей.

— Не знаю. У меня такое предчувствие... Я ведь такая дура, я ничего не понимаю в возрасте.

— Я тоже.

Договорились, что завтра встретятся, и она, не оглядываясь, пошла. Он долго смотрел ей вслед, стараясь запомнить, как она идет.

Ужинать не стал. Выпил без отдыха большую кружку холодного кваса, пришел в амбар, сел в темноте на постель и так сидел, не раздеваясь. Сжал голову ладонями, стукнул себя несильно кулаком в висок. Пригнувшись, перешагнул порог, осторожно, чтобы не оступиться, шагнул далеко вниз — на первую ступеньку, плотно вросшую в землю, скрытую лебедой и бурьяном. Запах мятых удивил его. Вдруг захотелось, чтобы ночи не было, а сразу же пришло утро... Николай Семенович видит себя двенадцатилетним...

Закатывается солнце, он идет по деревне. Около дома на скамейке сидит Надя. У нее на коленях большой подсолнух. Надя первая здоровается. Он садится рядом. Она отдает половину подсолнуха, спрашивает, куда он идет. Ее отец надолго уехал, и дома она теперь одна.

— Пошли к нам,— приглашает Надя.

Она стряхивает приставшую к подолу шелуху и, как что-то давно решенное, говорит:

— Почему тебе мало лет? Я бы вышла за тебя замуж. А пока ты вырастешь, я состарюсь.

Зашли в избу.

— Чай будешь пить?

Не дождалась ответа и налила ему и себе чаю в большие фарфоровые чашки.

Онсыпал в чашку сахар, знал, что уже хватит, но забыл, что нужно остановиться, и продолжал сыпать... Надя смотрела на него черными, как уголь, глазами. Он чуть не пролил чашку, с трудом поставил ее на стол и сидел с видом, который говорил: что хотите со мной делайте, я ничего не знаю, ничего не умею, мои руки не слушаются, мой рот не открывается...

Опомнился, когда уже сидел на стуле у окна. Ему казалось: не он брал стул, не он шел к окну — все это кто-то за него делал...

— Лампу зажечь? — спросила Надя.

Осторожно, чтобы не сломать, сняла стекло, протерла, закрыла занавесками окна.

...Горит лампа, летят на свет белые ночные бабочки, обжигаются и падают. Надя придвигает к себе лампу, медленно выкручивает фитиль. В комнате делается темно, на стекле лампы остается маленькое красноватое пятно.

— Отвернись.

Он отворачивается.

— Не оглядывайся.

Он зажмуривает глаза, плотнее сжимает веки, но они сами раскрываются. Тогда он закрывает глаза ладонями. Проходит немного времени, и он слышит:

— Повернись.

Он, как провинившийся, с которого сняли наказание, поворачивается на голос: ярко горит лампа. Надя стоит перед ним в одной рубашке, волосы распущены... Она оглядывает себя, обтягивает на бедрах рубашку:

— Посмотри, какая тонкая талия!

Он ждет: сейчас она налетит на него и, как русалка, защекочет до смерти!

Она садится на стул, сжимает руками колени, сгибается — из-под рубашки остро выглядывают ее незашитые груди.

— Погаси лампу,— слышит он голос Нади.

Он хочет выполнить ее просьбу, но забывает набрать в себя побольше воздуха — выдох получается несильный, пламя вздрагивает...

— Останься сегодня у нас. Останешься? Одной мне страшно.

Он чувствует, как его щеки краснеют в темноте и делаются тяжелыми.

— Будешь спать на моей кровати.

Постелила ему и ушла на кухню, где стояла кровать отца.

Вздохнет она, повернется на кровати — ему все слышно. Он тоже вздохнет и повернется.

— Ты не спиши? — слышит он отчетливый голос Нади.

Он садится, чего-то ждет и с ужасом думает, что Надя слышит, как бьется у него сердце.

Смутно он осознает себя погибшим, ложится, закрывает глаза и тонет в разноцветных кругах...

Утром он пробирается домой ближней дорогой. Лес и река не освободились от тумана, земля ему кажется незнакомой. Если бы не редкие крики птиц на болоте и опасно налетевшая на него ласточка, он бы оказался один во всем мире — Нади, как он ее видел вечером и утром, когда она только что проснулась, не было, — она стала похожа на угрожающий полет и крик ласточки, на траву, по которой он шел босиком, на звон кузнецов, который преследовал его. Надя смотрела на него отовсюду...

Спал Николай Семенович часов до одиннадцати.

Перед тем как проснуться, услышал частые и очень знакомые металлические удары. А когда проснулся, понял: отец отбивает косу. И Николай Семенович засмеялся от радости, когда представил, как идет за три-четыре километра через знакомый лес, находит свой покос...

— Никто не приходил утром? — спросил он у матери.

— Катя Ильева тебя спрашивала. Я пошла разбудить... Не надо, говорит, сам проснется.

Николаю Семеновичу было приятно, что приходила Катя, и в то же время ему хотелось отодвинуть разго-

вор с Катей — хотя бы на день, два. Он боялся выглядеть хуже, не так, как в первый раз, когда они познакомились.

Из разговора с матерью узнал: Надя вернулась из Средней Азии и живет в Мостовке.

«Часа два ходьбы», — представил он себя идущим в Мостовку. Удержался, чтобы не спросить, замужем ли она. «Конечно, замужем. Что ж ей, меня ждать?»

— Отец не пойдет на покос?

Мать подошла к сыну, через силу улыбнулась, а чтобы он лучше понял, надавила ему расставленными пальцами на голову:

— Неужели ты не видишь: он же пока идет от колодца, сколько раз отдыхает.

Косил Николай Семенович за двоих. Отыхал, когда точил косу, и все ему мерещилось, что кто-то смотрит на него из кустов, прячется и смотрит. Два раза бросал косу и быстро шел проверить то место, откуда, ему казалось, смотрят на него. Он даже слышал, как сучок треснул и кто-то сдавленно засмеялся...

«Катя могла прийти... Сматривает, как я кошу...»

Николай Семенович хорошо представил себя широко размахивающим косой, и все без отдыха, без отдыха... Мигом исчезла усталость, все дольше косил, не отыхая, и с каждым прокосом как будто новой силой наливалось плечо, острее видел глаз, и Николай Семенович вовремя обкашивал скрытый в густой траве пенек или корень и очень хотел, чтобы видела его сейчас Катя.

Часа за три привык к сенокосу, к молчавшим деревьям и кустарникам. Ходил пить из лесной речки, на дне которой белела трава и вздрагивали меленькие желтые цветы.

До вечера было далеко. Николай Семенович спрятал косу в березняке, постоял, вдыхая полной грудью запах свежескошенной травы, и пошел вдоль берега: хотелось посмотреть листвяк — огромную лиственницу, сваленную грозой и пожаром. Она стояла около речки, на косогоре, и, когда упала, надломленной вершиной легла над водой, поперек речки. По лиственнице переходили на ту сторону за смородиной.

В детстве Николай Семенович боялся ходить по ней: косогор крутой и лиственница, казалось, не лежала, а стремительно летела вниз. Когда кончилось детство, то все равно пройти по ней было праздником.

Лес был теперь реже, истоптан скотом, изъезжен, и Николай Семенович без труда нашел это место. Нашел — и огорчился. Пол-лиственница сгорело, когда-то гладкая и блестящая поверхность подгнила, стала мягкой и красноватой, надломленная вершина осела, скрылась в воде и была похожа на обглоданный скелет рыбы.

Николай Семенович прошел по листвяку и остановился, раздумывая: переходить ли на ту сторону? Вода чуть слышно звенела, переливаясь... Николай Семенович стоял в воде — ботинки еще не скрыло — и пробовал одной ногой: не скользко ли?

Вернулся по листвяку наверх, спрыгнул в траву, черневшую коровьими следами, и не торопясь пошел не прямо к тракту, а вдоль, в противоположную сторону от дома. Лаяли собаки в соседней деревне. Николай Семенович прошел еще на лай собак и вышел на дорогу, желтую от песка и глины. Отсюда недалеко оставалось до Мостовки. Он попытался представить, какая стала Надя, как они встретятся, о чем будут говорить, но ничего не получилось: вспоминалось одно и то же...

Он закончил среднюю школу и приехал домой к покосу. Встретился с Надей. Она не изменилась, только глаза стали еще больше и чернее. Как и раньше, гладко причесывает волосы и связывает их в крепкий тяжелый жгут. От первого мужа у нее осталась четырехлетняя девочка.

— Поедешь с нами на покос? — спрашивает Надя. Она не замечает его смущения и говорит со слабой улыбкой: — С кем гулять будешь? Все невесты деревенские замуж повыходили...

Приехали на покос.

Женщины сели в кружок и почти все говорят разом. Несколько мужиков устраиваются поближе к Наде. Отбиваясь от них, она громко и весело кричит. Бабы ревниво посматривают в Надину сторону...

Надя бежит к нему. Задыхаясь от смеха, она валится на траву, не может отдохнуть, садится раскрасневшаяся, берет его за руку и просит послушать, как бьется у нее сердце.

Наде подворачивать углы — короткие прокосы, разбросанные по лесу.

— Пойдем, — говорит она ему.

Они идут через весь покос к лугам.

— Терпеливый ты — учишься. Жизни не жалко?
Промелькнет... Давно ли я бегала, смеялась...

Он видел ее перед этим восторженную, веселую и не верил тому, что она сказала.

«Поступлю в институт, закончу первый курс и женюсь. Сегодня скажу ей об этом...»

В сумрачных низинах и на полянах кругами скошена трава. Не боится людей и не улетает ворон с высокой лиственницы. Изредка ветер донесет далекие голоса покосчиков, вздохнут шелестом листвьев деревья. Пахнет болотом и морошкой.

Чем меньше остается рядков, тем больше он волнуется. В самую последнюю минуту уговаривает себя притвориться безразличным и с отчаянным спокойствием помогает Наде выбрать место для отдыха.

Она ложится, прикрывает глаза от солнца только что сорванным бело-зеленым листом морковника. Он, не отрываясь, смотрит, как она лежит, как дышит... Она дает возможность рассматривать себя лучше, сонным движением скользит рукой от живота к груди, вытягивает ноги, сдвинув лист к бровям, внимательно смотрит на него...

Он продолжает сидеть молча и неподвижно, щеки его заливают румянец.

Надя приподнимается, у нее на ногах красными перепутанными линиями отпечаталась трава. Садится и, замолкая после каждого слова, говорит:

— Знаешь, на кого ты похож?

Смотрела ему в глаза, колебалась и сказала:

— На красную девицу.

«Сейчас скажу,— думал он.— Это же несколько слов: Надя, выходи за меня замуж...»

Надя ждет. А он, расстегнув душивший его воротник белой рубашки, сжимая в кулаки длинные пальцы, чужим голосом произносит:

— Надя...

И опять молчание.

— Ну что? Не знаешь, как зовут? Что ж мы будем за километр разговаривать — садись поближе. Я тебя все время вспоминала. Думала: приедешь — наговоримся. А сошлись, ты только «Надя, Надя», а дальше ничего не понятно. Или тебе со мной говорить не о чем. А письма длинные пишешь... Я так ругала тебя, что рано

родилась. Мне уже двадцать пять, а тебе только семнадцать... Пошли грести, а то нас потеряли...

Когда он уезжал учиться, Надя ушла вперед по дороге, спряталась за фермой среди засохших красноватых сосенок и ждала, смотрела, как машина проходит мимо...

Она хотела выбежать на дорогу, побежать изо всех сил за машиной, что-нибудь закричать ей. Но ни шагнуть, ни крикнуть, ни заплакать она не могла...

А он хотел остановить машину, соскочить, вернуться...

С ним нередко бывало: он знал, например, что для него интересно и важно, но сказать об этом открыто не мог, не хватало смелости, что ли. Почти всегда ему казалось, будто он в чем-то виноват, и он останавливался или отступал там, где его сверстники шли, не задумываясь.

Он уверял, что стоптанный каблук меняет у него походку и влияет на характер, что стыдно проситься с урока в уборную, что-нибудь жевать в классе или в коридоре.

— Старков, это правда,— спросил его однажды директор,— что ты пишешь письма женщине с ребенком?

— Правда,— сразу же упал духом Старков, считая себя исключенным из школы.

—...Запомни, Старков,— говорил директор, обнажая золотые зубы и вытирая платком белый высокий лоб,— запомни: до получения аттестата зрелости осталось не так уж много времени, и ты, видимо, его не получишь.

— Я ничего плохого не делаю...

— Ты позоришь школу.

— Но... Михаил Борисович...

— Никаких «но». Выбирай одно из двух: или учебу, или... Все понял?

Старков хотел сказать «нет», споткнулся на этом слове, на первой же букве и не очень четко выговорил:

— Все.

Больше директор ничего не говорил Старкову, но и не отпускал. Он сидел за столом, застланным красной материей, листал журналы успеваемости и, кажется, совсем забыл о присутствии Старкова.

Старков редко бывал в кабинете директора. Даже табличка на двери со словом «Директор» внушала невольное уважение и страх. Во время перемены, пробегая мимо директорского кабинета, Старков замедлял бег, говорил или кричал вполголоса, так, чтобы его голос нельзя было отличить и узнать. И сейчас, дожидаясь разрешения директора идти на урок, Старков, разглядывая новый глобус, стоявший на окне рядом с гравином, длинный ряд стульев, стены с портретами, почувствовал себя так, будто был только что после болезни. О, сознания своей никчемности среди этой чистоты, света и строгой торжественности он готов был провалиться, только бы не стоять здесь и не терпеть на себе взгляды заходивших учителей...

Оля раздвинули лес, посветлело, до Мостовки осталось километра два. Николаю Семеновичу хотелось вспомнить что-нибудь веселое. Он пошел быстрее.

«А зачем я иду? Простофиля, из детского возраста давно вышел, а взрослым не стал».

Стоял на краю огромного поля пшеницы, разглядывал ходившее волнами хлебное поле. Сорвал несколько колосьев, растер их, провеял на ладонях и не спеша разжевывал: зерна были мягкими и вкусными. Думал: «Что, если бы я тогда женился? Мог бы жить здесь, ходить по этим дорогам, растить детей... Был бы учителем в деревенской школе...»

Прошел мимо длинного зернохранилища с шиферной крышей и свернул к ферме. На скотном дворе в нос ударили запах свежих коровьих лепех и креолина. На кольях, поблескивая, сушились ведра.

Рядом с крыльцом молоканки женщина колола дрова. Лицо пухлощекое, круглое и красное. Она зарубила топор в чурку, разогнулась, и он увидел: она намного моложе, чем показалось сначала. Ресницы белые.

- Вам кого? — громко спросила женщина.
- Надю Андрееву.
- В том конце живет.

Женщина едва показала рукой и принялась колоть дрова, считая разговор законченным. И ни разу не оглянулась, пока Николай Семенович стоял, не решаясь спрашивать дальше.

Подойдя к Надиному дому, Николай Семенович остановился под окнами. Солнце, отражаясь от стекол, ослепило его. Нагнулся к окну и посмотрел, что делается внутри. Играют на полу дети — два мальчика и девочка. Самый младший сидит в перевернутом стуле и поднимает крик, как только старшие перестают двигать стул.

Николай Семенович отступил от окна, подошел к низким длинным воротам, прислонился к ним и стал рассматривать две высокие поленницы сухих дров, сложенные одна к другой вдоль острого дощатого забора. За домом сарай с двумя стайками. Метрах в пяти от крыльца, покосившись, крепко стоит одинокий листенничный столб, оставшийся от старой изгороди. К столбу прибит жестяной умывальник, под ним — лужа. Под окнами на тонкой жердочке висит белье. Николай Семенович как будто с неохотой отклонился от ворот, отшагал не спеша около домов до конца деревни, вернулся и теперь совсем медленно шел мимо Надиного дома. Старый, старый дом... Почекневшие, будто каменные, бревна, плоская крыша, маленькие окна... Над крыльцом прорезано в бревне оконце, накрест забитое двумя металлическими прутьями...

Николай Семенович пошел быстрее. Он все прибавлял шагу, будто опаздывал или боялся чего-то. Навстречу шла женщина, высокая, полная, завязанный клетчатый платок упал ей на плечи. Походка усталая. Казалось: все на свете ей надоело.

Поравнявшись, она коротко взглянула на Николая Семеновича, чуть поправила платок, и без того хорошо лежавший на плечах, выражение ее лица при этом почти не изменилось. Николая Семеновича будто иголкой колнуло в сердце: он узнал Надю! «Не оглядывайся», — сказал он себе и оглянулся, увидел, как она закрыла ворота и, не задерживаясь, скрылась в доме.

Он понял, и ему стало легко от этого: Надя его давно забыла.

А он? Что же было все эти годы с ним?

Из своей детской любви с годами он вылепил что-то вроде маленькой ослепительной статуэтки, поставил ее на своем столе, молился ей, считал ее единственным своим достоянием. Она каждый день напоминала о себе, просила о чем-то несбыточном. Послушный ее голосу, он гнался за своей детской тенью, как когда-то за

бегущими по земле тенями облаков. Но что из того, что потрогаешь или наступишь на тень облака?..

Темнеющий купол неба, на котором скоро появятся звезды, был теперь для Николая Семеновича просто куполом — и ничем больше. Все было просто: просто лес, просто купол, просто дорога, просто Николай Семенович... Николай Семенович косил сено, потом его занесло в Мостовку... Сейчас он как ни в чем не бывало идет домой. Старики не ужинают, ждут Николая Семеновича. Им хочется говорить только о Николае Семеновиче, или просто о Коле, но они стыдятся чего-то и говорят обо всем, что их окружает, смеются, что соседка Аграфена очень уж чудачит: кричит на воробьев, когда они садятся на цветущие картофельные кусты...

Весь вечер сидела у Старковых Ангелина Ивановна и ждала Николая Семеновича.

— Вот это по-нашему, по-деревенски,— говорила она, помогая налить воды в умывальник.— Сразу небось мозоли появились? Покажите-ка?

Николай Семенович протянул правую руку ладонью вверх. Ангелина Ивановна пальцами потрогала ладонь Николая Семеновича и, не скрывая восторга, сказала:

— Откуда у вас такие крепкие мозоли? Настоящая мужская рука!

Ужинали вчетвером.

Николай Семенович проводил Ангелину Ивановну и хотел уйти, но она взяла его под руку и решительно сказала:

— Нет-нет, посидите у меня. Я одна живу, никому мешать не будем. Еще раз поужинаем? — Лицо ее улыбалось, но глаза были серьезными.

— Можно,— согласился Николай Семенович.

— Я ведь колхозницей стала,— смеялась она, оглядываясь на Николая Семеновича.— До педучилища плохо представляла, как живут в деревне, а теперь, как видите, все делаю. Только еще корову осталось завести!

Ангелина Ивановна смолкла на полуслове, прислушалась:

— Опять ко мне идут. Ну хоть бы трезвые...

Она с огорчением вздохнула и в каком-то бессилии села к столу.

— Можно войти? — спросили один за другим два парня, заранее виновато улыбаясь.

Толю Алещугова Николай Семенович узнал — Толя похож на своих старших братьев. Второй парень незнакомый.

— Леша. Амбросов.

— Артухский? — спросил Николай Семенович.

Толя рослый, степенный, может долго сидеть неподвижно и смотреть на Ангелину Ивановну. Он часто приходит — надеется покорить ее сердце. Леша маленький, худенький, весь какой-то острый, брови срослись на переносице. Заметно, что ребята выпили.

Минут через десять Николай Семенович прощается с Ангелиной Ивановной. Она не сразу отпускает его руку:

— Приходите, Николай Семенович!

Призывно горели окна в доме учительницы. Ангелина Ивановна отодвинула штору и долго смотрела в темноту. Николай Семенович спохватился: он стоит в открытых воротах и его хорошо видно. Сделал несколько шагов по направлению к школе, увидел: кто-то сидит на углу школьной завалинки, жжет и бросает в темноту спички.

— Катя! — узнает Николай Семенович. — Ты не спиши?

Катя облегченно вздыхает:

— Я думала, ждать долго придется...

Катя перелезает через школьный забор, отодвигает жердь, на которую закрыты ворота. Николай Семенович входит, Катя закрывает ворота. От школы и забора лежит огромная тень, они делают шаг и оказываются в полной темноте. Трава в ограде большая, тропинка заросла. Они идут к школьному крыльцу. Наверху крыльца заставлено партами, на партах лежат скамейки. Николай Семенович с Катей переставляют парты так, чтобы за одной из них можно было сидеть. И Катю, и Николая Семеновича разбирает смех: пока они двигают парты, кажется, что грохот слышен на всю деревню.

Катя первая садится за парту. У Николая Семеновича ничего не выходит:

— У меня ноги не вмещаются!

Они сидят и говорят всю ночь, и иногда Николаю Семеновичу кажется, что Ангелина Ивановна стоит за крыльцом и прислушивается к их разговору.



ДОМ НА ПОЛЯНЕ

Повесть

1

В конце зимы на Татарской зaimке заболел Иван Федосов. Смерть не однажды подкарауливалася его, но Иван Захарович всегда показывал ей кукиш. «На, подавись,— говорил он.— И деньгами моими подавись, дай только подняться».

Иван Захарович просил жену Марью привезти врача, но та слушала плохо. До деревни четыре километра — за час дойти можно. Конюх, он же и сторож, си-

лит сейчас в бригадной конторе, дрова в плиту подбрасывает. Попросить его — даст коня. До больницы оттуда еще пять километров. Навряд ли врач окажется ночью в больнице, домой надо идти будить. Поедет на заимку или не поедет, неизвестно. Скорее всего пошлет кого-нибудь из помощников. Или скажет: вези Ивана сюда! Можно бы с конного двора вернуться на заимку, а потом уж с Иваном в больницу, но и это лишнее. Таблетки, уколы... ничему этому Марья не верила и сама за шестьдесят два года в больнице не была ни разу. Придет смерть — ничто не поможет.

Об этом она и сказала Ивану.

Иван медленно повернулся на другой бок, вытер рукаром лоб и стал смотреть в окно, выходившее на Широкое болото, занесенное снегом. Под лучами мартовского солнца снег на болоте блестел, и даже из окна смотреть на него больно. Сразу за болотом почти отвесно возвышается Белопадский бугор, деревья полегли на нем, не выдержав крутизны.

Дважды прогремел выстрел: кто-то охотился по насту на диких коз. После выстрелов Иван заметил: ходики тикают медленно, вот-вот остановятся.

В облаке пара вошла в избу Марья, прогрохотала около печи поленьями.

— Марья, подтяни гирю.

Не взглянув на Ивана, она пошла к часам. Долго разглядывала стрелки, оглянулась и спросила:

— Которую куда?

Иван скомандовал:

— Маленькая пусть так будет, большую на тройку ставь.

Марья подтянула гирю, толкнула маятник.

«Ну вот, вроде бы легче стало», — подумал Иван, слушая, как бодро зашагали ходики. Он снова посмотрел в окно, представил, как солнце растопит снег, как заревет вода, обрушиваясь с бугров на болото, как Марья вынимает зимние рамы, обливает их кипятком и соскабливает ножом тесто с присохшими лентами газетной бумаги, как белит печь и моет в избе к Маю и как потом, будто за день, появится зеленая трава, покроются листьями деревья, засинеет речка Индон, — и впервые стало страшно, что не доживет до полного тепла.

Сам бы Иван ничего не знал, он и раньше, последние два года, подолгу болел зимой, но верил, что болез-

ни у него никакой нет. Напугали иркутские врачи. Постукали его по всему телу, повертели, как пушинку, и столько дали предписаний, что выполнить их все невозможно. Какая болезнь — толком не сказали, но Иван видел, как один врач, который постарше, заметно хмурился, дескать, дело дрянь, и смотрел так, будто Ивана в живых уже не было.

Иван вышел из кабинета и снова занял очередь в этот же кабинет. Он еще первый раз, как зашел в кабинет, понял, что нужно, но не знал, как об этом сказать, и теперь в очереди у него было время все обмозговать.

Врач не понял, что Иван зашел к нему второй раз, а когда узнал его, то сделал очень внимательное лицо. Но Иван не хотел говорить при другом, молодом враче, и тогда тот, молодой, ушел. Сбиваясь, Иван начал говорить. Врач слушал Иванову путаницу, напрягаясь до предела, и наконец понял, что Иван предлагает взятку, чтобы его лечили не как всех — разом, а отдельно.

Врач сначала подумал, что ослышался: во-первых, взяток он не брал, во-вторых, никак не мог предположить, что у плохо одетого, сработавшегося человека могут быть лишние деньги.

Иван повторил свои слова, но уже короче и тут же увеличил сумму до двухсот рублей, прикидывая, что на старые деньги это все-таки не двести рублей, а две тысячи.

— Это все бесплатно,— сказал врач.

Иван положил на стол две пачечки красных бумажек — двести рублей. Врач взял со стола деньги, подержал их в задумчивости. И пока он так держал деньги, у Ивана стрелой пронеслось: «Не возьмет,— значит, мне скоро труба...» Рука врача медленно, как неживая, разогнулась. Иван обиженно поджал губы: «Бери, не даром даю, здоровье себе покупаю...» Он следил за выражением лица врача, а больше всего за его лбом, прорезанным глубокими морщинами до выпуклых складок, и Ивану казалось: лоб у врача, должно быть, мягкий, как будто без костей.

— Возьми деньги,— сказал врач.— Они тебе пригодятся.

— Это, доктор, не деньги,— отвечал Иван, долго пристраивая во внутреннем кармане трикового пиджака двести рублей.

Врач не очень вежливо посмотрел на Ивана и, меняя тему разговора, спросил:

— Далеко ехать?

— Триста километров будет. Двести двадцать в поезде, оно ничего, а семьдесят — в холодном автобусе.

— Как же ты доедешь?

— У меня, доктор, в районном центре у брата медвежья доха лежит...

Ивану хотелось развеять мысли врача насчет своей невеселой жизни, сказать, что в райцентре у него не одна только доха,— в райцентре, и еще по двум городам, лежат в сберкассе двадцать тысяч новыми деньгами.

«Почему я не похвалился? — вспоминал Иван свой разговор с врачом.— Он бы тогда на меня по-другому взглянул: и двести бы рублей взял, и лечить бы взялся не так. А то что за лечение — одни разговоры: не пей, брось курить, не простывай... Рецептов дал для виду. Что это за рецепты и что за лекарства — в городской аптеке таких лекарств бери сколько хочешь и у себя дома в участковой больнице! Приеду — напьюсь,— думал тогда Иван.— И курить буду. И насчет простуды посмотрим — это тоже наше дело...»

Шел Иван по Иркутску, смотрел на спешащих, толкающихся людей, удивлялся, как это смело городские люди переходят улицы. «Куда же ты лезешь! — хотел он крикнуть женщине, нагруженной сумками.— Раздавит!..» Но шофер затормозил легковую машину и только фарой слегка, будто шутливо, подтолкнул у женщины сумку.

И воробы были в городе смелее, чем деревенские: люди идут и тут же, под ногами, воробы прыгают. Иван не мог понять только, почему городской воробей чернее деревенского. А когда понял, засмеялся: да ведь они прокоптились, сажа с крыльев летит! Ну и жизнь!..

На вокзал Иван пришел часа за три до поезда. В городе нечего было делать, а на вокзале сидишь, поезд ждешь, не прокараулишь, и поговорить есть с кем — или из своего района кого встретишь, или из соседнего.

За полчаса до отхода поезда Иван занял в жестком вагоне место получше — дальше от окна. Когда ехал сюда, сдуру уселся у окна, чтоб лучше видеть, где какие города, деревни. Ничего интересного не увидел, а спину застудил.

Ивану хотелось курить, но он боялся потерять место: люди бесцеремонно садились, кто где хочет.

— Занятая,— отвечал Иван, когда входившие хотели сесть с ним рядом.

— Вся полка?

— Вся.

— Лез бы ты, батя, на верхнюю полку, если хочешь спать.

— Мне хорошо на первой. Понял?

— Ты не один в вагоне.

— Я не привык тесниться,— отвечал Иван, на всякий случай расстилая на полке новенькое пальто-москвичку с широким, чуть не в полметра, цигейковым воротником.

Когда пассажиры наконец устроились и поезд начал набирать ход, Иван не торопясь прошел в тамбур и, вроде бы наперекор доктору, закурил, пристально разглядывая, как январский мороз разрисовал окна в тамбуze.

2

К середине апреля Иван уже был на ногах. В полдень, когда солнце пригревало сильнее, выносил из избы маленькую скамейку, ставил ее под избой и сидел час или два, пока Марья не начинала стучать в окно.

Надышавшись запахами лесного ветра, подтаявшего снега, Иван поднимался, чтоб пойти в избу, но тут же забывал, что барабанила в стекло Марья, и сидел еще минут десять — пятнадцать. Лицо его, освещенное теплыми лучами солнца, облаженное ветерком, делалось свежее, мягче. Сидя на скамейке, согнувшись или привалившись спиной к избе, Иван ловил себя на том, что задумывается, и опять ему было не ясно — от болезни это или от чего-то другого. Но болезнь, кажется, прошла, а ощущение неясности, зыбкости осталось.

Марья стояла на крыльце, молча разглядывала Ивана.

— Чего ты сидишь? Иди обедай!

— Что мне твой обед,— глядя себе под ноги, отвечал Иван.

Он прихватывал с собой скамейку и нехотя поднимался на крыльцо. На столе стоял чугунок с толченой картошкой, заправленной поджаренным салом, сверху картошка взялась красноватой огненной коркой. В алю-

миниевую миску налита молодая простокваша. Осталось только нарезать хлеб и — садись, ешь. Иван поковырял ложкой в чугунке, хлебнул раз-другой из миски и вылез из-за стола.

— Не будешь есть — сдохнешь, — сказала Марья.

Иван сел около плиты, хотел закурить крепкого «Севера», но пачки оказались пустыми. Оторвал клочок газеты и закурил дешевой махорки. Не справившись с длинной самокруткой, загасил еще довольно большой окурок, хотел положить в ящик, где хранилась махорка, но передумал и с силой кинул окурок в плиту. Снял висевшее над кроватью новое полупальто-москвичку, новую цигейковую шапку и стал одеваться настолько нерешительно, что, казалось, вот-вот повесит пальто и шапку на старое место.

— Куда ты? — нелюбезно спросила Марья.

— В деревню.

— Кто там тебя не видел? Кому ты нужен? Не ходи, не надоедай людям!

Иван взялся за дверную ручку, привычным движением толкнул плечом дверь и плотно закрыл ее за собою.

Твердо Иван не знал, зачем он идет в деревню. Ему казалось: пройдет он заброшенный кирпичный сарай, поднимется на бугор, за кладбище, и, как пойдет справа от дороги поле, — вот где-то там или чуть подальше ему станет ясно, что его погнало в деревню.

Поднялся в гору вдоль сгоревшего кладбища, и дорога стала сворачивать вправо, к Татарским полям. Чувство, охватившее Ивана, было непохоже на то, с каким он каждый год в такое же время шел себе да шел по знакомой дороге, и не было ему ни тоскливо, ни весело — тосковать особенно не над чем было и особенно веселого ничего не ожидалось — все обычно, все как всегда. А сейчас, похоже, нырнул Иван под воду и не может вынырнуть. Не глубоко нырнул — ярко светит над водой солнце, протяни руку — и она окажется наверху!

Недалеко от дороги, вдоль заячьей тропы, застыли и сделались ледяными глубокие следы охотника. Снег затвердел, и белому не надо бегать по тропе в сильный мороз и греться — грозные петли, оставленные неопытным охотником, висят над тропой и покачиваются от ветра впустую. Иван подумал: «И я, как заяц, по одной и той же дороге бегаю. Летом заяц много дорог переме-

нит, а у меня зимой и летом одна — от зaimки к деревне...»

Кончилось поле, до последнего поворота недалеко осталось. Мост близко, за мостом деревня. Вот они, дома, люди ходят. Он остановился и поглубже медленно втянул в себя воздух. Прошел еще немного, зорко взглядываясь, как будто через заборы, стены и сараи хотел увидеть все, что там делается. Медленно, но не очень глубоко, так же, через ноздри, втянул в себя воздух — запахи стали отделяться один от другого. Иван сначала различил, как пахнет свежеиспеченным хлебом, дымком из кузницы и сеном, нападавшим с саней по обеим сторонам дороги. Пахло подтаявшим снегом и лесом; таких запахов и на зaimке сколько хочешь, но около деревни они были сильнее.

Даже после болезни Иван нисколько не устал — привык бегать, но по проулку в деревню поднимался медленно. Огороды начались, сейчас из проулка покажется сестрин дом. Мимо окон вряд ли пройдешь незамеченным: если не сама Наталья, то ребятишки обязательно увидят. Прильнут к окнам, будут смотреть, пока Иван не скроется. Знают, что родня.

Сегодня бы Иван зашел к Наталье и конфет с пряниками купил бы ребятишкам — племянникам, но ак раз возле Натальиного дома Ивану пришла в голову мысль, которая ему понравилась, хоть и не была новой: ни к кому в дом он не пойдет, а лучше посидит в бригадной конторе, послушает, что говорят люди, сам что-нибудь расскажет, может быть, в карты сыграет с мужиками, и — опять на зaimку!

«Большое дело,— думал Иван,— когда у тебя на книжке двадцать тысяч. Сидишь с мужиками, говоришь о том о сем, с собой у тебя какая-нибудь измятая трешка, а всем кажется, что твои карманы набиты деньгами, и, смотришь, то один, то другой зовет тебя пообедать или поужинать, да еще бутылку поставит. Интересно иметь много денег: тебя же и угощают! А ты вроде бы потом втройне рассчитаешься!..»

За таким размышлением Иван не заметил, как прошел мимо Натальиного дома и очутился в бригадной конторе. Мужики встретили Ивана хорошо, будто скучились по нему. Два лучших места предложили: сядись у плиты, где теплее, или за столом, где почетнее. Иван посидел у плиты, а потом перебрался за стол.

Пальто, шапка, сапоги — новенькие, Иван с собой вроде как праздник принес. Мужики одеты по-будничному, заросли щетиной, дымят самокрутками и городскими папиросами, как будто думают над чем-то важным и пока что неразрешимым.

Натальин муж, Трофим, здесь же, как назло Ивану, чисто эдет, побрит. Из всех он один кое-как поздоровался с Иваном и тут же отвернулся, будто они не дольше, как вчера, виделись. Но Ивану это маловажно, он давно решил: чем дальше от родни, тем лучше.

Веселее, чем с другими, Иван здоровался с шоферами и трактористами — это народ молодой, с ними скорее кашу сваришь: за бутылку, а то и бесплатно и дров тебе подвезут, и соломы, и сена...

Иван сидел около стола и молчал — что в этом особенного? — а некоторым казалось, что Иван не просто молчит, а знает что-то такое, чего другие не знают.

Мужики не помнят, кто из них и когда последний раз был в Иркутске, а Иван оттуда недавно. То, что он ездил в больницу, никому не интересно, шангинцам кажется, что Иван был в городе по какой-то другой причине.

— Правда, Иван, что когда ты был в Иркутске, цепкий вечер в ресторане «Байкал» пили за твой счет? — не удержался все-таки, подковырнул Ивана Натальин муж.

— Кто тебе сказал?

— Земля слухом полнится! Говорят, пили одно шампанское вместе с официантками!

— Было дело,— подтвердил Иван.— И тебе стаканчик бы поднес! Или ты отказался бы?

Ничего смешного Иван не сказал, а мужики захочали чуть не все разом. Сразу не понять, над кем смеются: над Трофимом или над Иваном? Смеются, конечно, над тем и над другим, но больше всего — над Трофимом. Доказать, что Иван не был в ресторане, не докажешь. В самом деле, почему бы Ивану не бросить на пропой сотню-другую? От двадцати тысяч не убавится! Но не поэтому смеялись над Трофимом. Натальин муж долго надоедал Ивану — выспрашивал деньги...

У Ивана с Марьей детей не было, и Трофим считал, что Иван должен помочь своей многодетной сестре. Сама Наталья ни за что бы не отважилась просить денег

у Ивана — знала, что не даст,— но с ее молчаливого согласия потрясти Ивана с Марьей взялся Трофим.

Марья сразу же разгадала далеко идущие планы Иванова родственника и встречала его хмуро: угощала как полагается, но говорить с ним не хотела — уходила на огород или в лес и не возвращалась, пока Трофим не уйдет в Шангину.

Ни в каком ресторане Иван не был, никого не поил, но мужики поверили Ивану, и ему начинало казаться, что так оно и было.

3

Дорога на Татарск настолько знакома Ивану, что он и не заметил, как прошел Татарские поля, и очнулся перед заемкой, где лес по обеим сторонам дороги стоял так плотно, что, казалось, вот-вот старые сосны через дорогу коснутся длинными лапами друг друга. Среди густого леса кусок полуусгнившей изгороди, которой не дают падать молоденькие сосенки и березки. Несколько жердей, свисающих как попало между кольями, напоминают, что когда-то была здесь поскотина. Были и ворота на Татарск. Иван только что прошел в том месте, где они стояли.

Давно на Татарске нет домов, только один — Иванов, а ему часто виделось: цел Татарск, стоит как прежде со всеми домами и постройками, с колодцами, и у каждого дома — черемуха; так же, как в Шангине, бегают по Татарску ребятишки, лают собаки, кто-то с самого утра хлопает и хлопает вальком на реке...

Кажется, это было вчера. Четыре или пять телег, фургон впереди, в цветных платочках и кофтах бабы, мужики — их поменьше,— и все они, как нарочно, разместились у самых колес, подростки и огольцы. На фургоне самый смелый народ, и хоть кто правит — Гавриленок или Пашка, Васька Кряк или Карась — знают: на фургоне тихо не ездят. Дорога все с горы и с горы, переворачивается вправо, влево, обрывается вниз, колея размытая, глубокая, не то что вовсю — рысью нельзя, так и свалишься. Фургон далеко, но хорошо слышно, как там вскрикивают, поют, хохочут.

Сбегая вниз, лес расступился, пошел густой березняк и ельник, и неожиданно показался Марьин доч, огор-

женный тыном вперемежку с пряслом; лиственничные тынины выгорели на солнце и стали оранжевыми. Лес уступами подходит к Марьиному дому, за лесом, через Индон, синеет Широкое болото.

Фургон ждет всех на Татарске. Яшка или Панас крикнет под окно: «Иван, а Иван, собирайсь!» Иванова жена, молодая, красивая, в надвинутом на лоб платке, выйдет, скажет: «Он вперед ушел». И тут уж все равно: раз к нему завернули, то делали остановку. Пили у Мары холодную, только что из колодца воду и квас. Бежали к Индону. Речка широкая, до середины не дошла — и назад. Успеешь еще раз или два намочить голову или в долбленой лодке круг даешь.

Выходил ли дядька Иван из дома с корзиной из широких лучинок или неожиданно, словно колдун, показывался на дороге из лесу, нравилось смотреть на него. Среднего роста, с лохматыми бровями, сухощавый, он все время смеялся, слушал внимательно и приговаривал: «Так, так, так...»

Теперь уж не вспомнить, где — в Василевом или Федькином майдане — гребли сено, и там лежала вывороченная с корнями вековая лиственница, и из-под нее был холодный, обжигающий ключ. В обед наливали в бутылки и чайники воду, ставили в холодок, а потом обливались. Вода радугами вспыхивала на солнце, се ребром падала на траву. Взвизги девчат и молодиц, охи мужчин раздавались по лесу, и в эту неразбериху вплетался звонкий голос дядьки Ивана: «Ай, ну еще! От полезно! Убегай — догонит! О-ха-ха-ха-ха! От народ веселый!..»

Ночевали в длинном балагане, накрытом драньем и берестой. Перед рассветом, когда табор замолкал, Иван все сидел у огня. Костер гас, но Иван не притрагивался к валежнику и смолью, набросанному к огню со всех сторон. Он сидел, задумчиво обхватив колени, и смотрел в обступившую его ночь. Какая-то птица все время спрашивала: «Где-е? Где-е?» Иван поднимался и сам себе говорил: «Пойду коней посмотрю. Тут ходили, а теперь не слыхать».

Возвращался он по той же дороге. «Ходют. В падину спустились». Костер гас, и в темноте Ивановы сапоги, будто начищенные, блестели от росы.

Не ложился Иван. Смотрел на черневший среди покоса зарод. Радостью наливалось сердце Ивана:

«Сколько сена стоит, моему бы скоту на две зимы хватило! Да трава какая — ни одной осочины, ни разу под дождь не попало... Ветерок с утра, росу сдуло... Да разве такое богатство в два часа сгрести?!»

Но вот что удивляло Ивана: и поздно грести начали, и работу бросили засветло, а два таких зарода поставили! Как будто кто-то, старателейный, помогал им, пока долго обедали, обливались водой, делали набеги на морошку и голубику, рассматривали древнего ворона на вершине лиственницы, гонялись за ошелелым зайцем, которому никак не удавалось заскочить в лес. Только раз зародчики подгоняли криками девчат, парней и мальчишек-волоковозов, когда солнце ненадолго спряталось за тучи и где-то над Саянами громыхнул гром.

Ни одной капли дождя не упало, сделалось еще жарче. Логун с ключевой водой, спрятанный в тени берез недалеко от зарода, нагрелся, вода в нем была немного холоднее болотной, в которой парни — особенно те, что учились в городе,— то и дело ополаскивались до пояса или смывали пот с лица. Те, что из деревни никуда не уезжали, и к логуну ходили реже, и до пояса не умывались, и лицо не ополаскивали... Зато парни, прожившие в городе не одну зиму, как-то иначе смотрели на Ивана... Видел он какую-то связь между собой и теми, кто уехал в город,— как будто он в чем-то был ближе к тем, уехавшим. Иной раз он готов был побежать за молодыми людьми и что-то такое спросить у них...

На первый взгляд шангинцам лучше: у них электричество, радио, да еще много наберется, чего нет на замке. А зачем все это Ивану? При лампе ему даже лучше — и видно все, и глаза не портишь! Кино посмотреть Иван может в той же Шангине... Да и что он в этом кино увидит? То ли дело смотреть на Индон, лес, горы — сразу за домом! И дорога на Татарске без пыли. А в Шангине машина проедет — пыль столбом! Не зря горожане едут летом в лес. А Ивану никуда не надо ехать, он — в лесу!

Иван с Марьей остались верными Татарску! Всю тоску об исчезнувшей деревне Федосовы взвалили на свои плечи... Деревенским легче было тосковать о Татарске всем вместе. А вот попробовали бы каждый в отдельности, как Иван с Марьей!

С попутной машиной Иван доехал до Бабагая. Сидел рядом с шофером, а не в кузове, где еще два пассажира, которых бросает по кузову, как пустые ящики. Пока машина пробирается по длинной и неровной стлани, по левую сторону от которой в холодной воде плавают утки и гуси, Иван смотрит, куда ему лучше пойти — в контору или в магазин. Контора сразу направо, как проедешь стлань, магазин — налево и дальше. Около магазина толпится народ. Привезли чего-нибудь, или у мужиков какой-то праздник. Вот жизнь пошла: что ни день, то праздник! Хорошо бы, шофер поехал в ту сторону, Иван бы сошел возле магазина, посмотрел, чего привезли, или узнал бы, что за праздник.

Шофер свернул налево от стлани, с ветерком домчал Ивана до магазина и остановился, будто прочитал Ивановы мысли. Главное, еще спросил, когда подъехал к магазину:

— Сюда тебе?

Иван кивнул, довольный, что все так идет хорошо.

— Миронов будешь или Колесников? — спросил Иван у шофера, так как всех бабайских запомнить не мог. Другое дело — шангинские!

Шофер, кучерявый, лобастый, веселый парень, ответил, что Миронов.

Иван не стал уточнять, как зовут парня и которого он Миронова сын. Миронов, и ладно. Иван так и думал: по кудрям видно!

На глазах у публики Иван с важностью вылез из кабины. Захлопнуть шоферу дверцу он ни в коем случае не позволил — будь ты хоть Миронов, хоть Колесников! Он ее распахнул широко, когда вылез, а потом сам захлопнул, с одного раза. Когда шофер за тобой дверцу закрывает — не то, вроде как он тебя выгоняет или выталкивает. А ты сам захлопни!

Иван поднимается по ступенькам высоченного магазинного крыльца, оглядывает публику, здоровается: с кем просто так — кивком или словом, с кем — за руку, — и в магазин. Кто-то из бабайских, а может из марининских (их села разделяются только мостом), не знает Ивана и спрашивает:

— Кто это?

Чей-то знакомый голос отвечает:

— Это Иван Федосов.

Дверь за собой Иван закрывает медленно — боится с кем-то столкнуться или ждет, что за хорошими словами кто-то бросит вслед что-нибудь нелестное, может быть, даже оскорбительное. Иван не связывается с такими — пусть завидуют! В Шангине никогда не слышал неприятных слов, разве только от родни... А в Бабагае и на Марининске народ жестче. Чем дальше от своей деревни, тем хуже...

Продавали стиральные машины. Колхозники покупали их в Ангарске или в Черемхове, а тут — в Бабагае! Вот и толпится народ. Ивану стиральная машина не нужна,— Марья полощет белье в Индоне и летом, и зимой. То ли дело в свежей воде — стирай сколько хочешь! — а не в какой-то машине, которая того и гляди, сломается. Шуму не хватало в доме! Иван как-то сказал Марье, что купит стиральную машину, так Марья на него целый день сердилась.

Постояв около прилавка, Иван маленькими шажками (в магазине тесно было) пошел к двери с таким видом, как будто у него дело, не терпящее отлагательства.

Скоро он очутился возле двухэтажного здания колхозной конторы, в котором размещались клуб и библиотека. В этом доме, наверно, еще что-нибудь размещалось, только Иван не знал. Зато он хорошо знал: двухэтажное шлаколитное здание, осевшее и давшее трещину посередине, строилось лет пять и называлось, пока строилось, Домом культуры. И вывеска такая была: «Дом культуры колхоза «Большой шаг». Теперь вывески нет, но по разноцветным цифрам на деревянных подставках и по тому, что нарисовано рядом с цифрами, еще издалека видно, что здесь — правление колхоза.

Нынешний председатель Георгий Алексеевич Сухарев, если случалось из ряда вон выходящее, ни на кого не кричал, не выгонял из кабинета, держался так, будто ничего не случилось, и только посмеивался, тогда как другие наверняка бы начали кричать и топтать ногами.

«Смеется-смеется, а потом и до меня доберется», — сочинил Иван невеселую шутку.

Бригадиром только Василия Андреева оставил, из Шангина, остальных — всех заменил. Тут, правда, Ива-

ну повезло: с Василием они вроде давно стоковались. Тот сколько раз говорил Ивану: «Зря ты, Иван Захарович, боишься Сухарева,— хороший мужик!» — «Для тебя-то он, может быть, и хороший,— отвечал Иван,— а мне с какой стороны к нему подступиться? А ну как не в добрый час попадешь — всему конец!»

Как бы так угадать, думал Иван, чтобы Сухарев был в хорошем расположении духа. Несколько раз он пытался разведать, какое в данный момент настроение у председателя, и от разных людей слышал один и тот же ответ: «У него всегда хорошее настроение. Иди, не бойся!»

Иван делал вид, что идет к председателю, а сам сматывался на замку.

В последнее время появилось новое, обнадеживающее чувство, подсказывающее Ивану, что все лучше, чем ему кажется. Иван и сам знал, что выход есть из любого положения, главное — не унывать. «С веселым человеком трудней справиться!» — неожиданно для себя заключил Иван, пытаясь сообразить, так ли это, потому что по себе знал: не всегда ему нравились веселые люди, даже чаще — не нравились!

Прошел по высохшему деревянному тротуару, удобному тем, что в грязь об него можно обчищать сапоги, что Иван тут же тщательно проделал, и скрылся в дверях колхозной конторы. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Иван уже меньше боялся председателя и выбросил из головы мысль, которая сопровождала его каждый раз, когда он поднимался по лестнице, — чтобы председателя на месте не оказалось.

— Председателя нету? — спросил он у главного бухгалтера Михаила Александровича Кирпиченко, который жил раньше в Шангине и в Бабагай перебрался только в прошлом году, а то все ездил на работу из Шангина.

— У себя,— ответил Михаил Александрович грустным и усталым голосом и, перед тем как снова застучать костяшками, так скорбно поглядел на Ивана, что Иван сразу же пожалел колхозного бухгалтера и за этот усталый взгляд, и за страдальческие морщины в углах рта и около носа, и за то, что тот всю жизнь считает чужие деньги.

Отложив счеты, Михаил Александрович отрывисто бросил:

— Чего хотел?

— Председателя мне надо,— ответил Иван.

— Председатель там,— Михаил Александрович кивком указал, где председатель, то есть в противоположном конце коридора. Он провел по лицу ладонью, прогоняя усталость и как бы заодно удостоверясь: может, никакого Ивана Федосова нет, может, он ушел, и тогда не надо с ним ни о чем говорить?

Но Иван Федосов стоял в бухгалтерии, даже дверь за собой прикрыл, и смотрел только на главного бухгалтера.

Тот не каждому предлагал сесть возле своего стола, а Ивану предложил.

Иван сел не напротив — этот стул был для просителей,— а чуть в сторонке, как будто рядом с Михаилом Александровичем. К тому же он видел, что главный бухгалтер устал и наверняка найдет время поговорить с ним. И в самом деле, Михаил Александрович с удовольствием отодвинулся от стола и оказался совсем рядом с Иваном, как бы подтверждая этим, что раньше, когда он еще не был бухгалтером и жил в Шангине, у них отношения были простыми и такими же они остались. Иван может говорить с ним, как свой со своим, хотя Михаил Александрович отлично понимал, что Иван свой, да не совсем. По собственному желанию или, как там говорят, помимо воли он все больше и больше отделялся от колхоза. Но никуда Ивана не денешь, приходится принимать таким, какой есть: не исправишь его уже, не переделаешь!

Как бы там ни было, а встретил его Михаил Александрович по-приятельски — так, как и хотелось Ивану.

Такой прием, оказанный Ивану главным бухгалтером, привел в некоторое замешательство всю бухгалтерию.

Тихон Бадейников, не удивленный, а, скорее, возмущенный поведением Ивана и не одобрявший поведения Михаила Александровича, бросил работу, а точнее сказать, выронил из рук счеты (у него тоже, как у Михаила Александровича, были счеты, только поменьше), и смотрел на Ивана, как бы говоря: «Кто тебя звал? Кому ты здесь нужен?» Своего презрения к Ивану Тихон не скрывал и, снова начав работать, чутко прислушивался, о чем будет говорить с ним главный бухгалтер.

— Не надумал переезжать?

Иван чуть не подпрыгнул на стуле от этого вопроса: удрожил Михаил Александрович, как холодной водой окатил! Справившись с собой, Иван ответил:

— Буду доживать свой век на заимке. Я там никому не мешаю. Ты бы, Михаил Александрович, запланировал на заимке летний лагерь для скота. Сарай не надо строить — готовый стоит. Колодец рядом. Мы бы с Марьей скот сторожили. И колхозу хорошо, и нам.

Летом колхоз держал на Татарске то овец, то свиней, то коров. Иван с Марьей со счастливыми лицами слушали блеянье овец, рев свиней, мычание коров, как будто это были свои овцы, свои свиньи, свои коровы...

Сейчас бы Иван не согласился держать столько свиней, коров, быков, кур — силы не те. Смотреть же, когда много живности, приятно.

— Лагерь откроем на заимке будущим летом, — сказал Михаил Александрович.

Его слова прозвучали отрешенно, как будто летний лагерь — одно, а заимка, то есть Иван с Марьей, — другое.

Иван сделал вид, что не уловил этой интонации, и веселеющим голосом сказал:

— Это хорошо.

Бухгалтер, казалось Ивану, чего-то недоговаривал, скрывал, что ли. Спрашивать, не подкапывается ли председатель колхоза к заимке, Иван считал, не стоит. Промолчит, оно, глядишь, и лучше... И в то же время Иван прикидывал, что прятаться не надо, — пусть знают: здесь Иван, никуда он не потерялся.

Сделав жест рукой, Иван нечаянно коснулся локтем Михаила Александровича, вроде как по-дружески его подтолкнул, и, может быть, от этого прикосновения, а главное, конечно, оттого, что сидел рядом, вдруг расхрабрился — стал поглядывать на бухгалтера так, будто тот был у него в руках, будто не Иван в ложном положении, а бухгалтер.

— Что Марья делает?

— Копается, — небрежно и как будто с неохотой ответил Иван. — Что ей еще делать?

Иван ждал, что Михаил Александрович спросит о чем-нибудь другом, более интересном. А про Марью что спрашививать?

— Зря так о Марье говоришь, — укорил Ивана Михаил Александрович.

— А что такое?

— Марья — великая труженица.

«Что он с ним антимонию разводит? — выходил из себя Бадейников.— Нашел кого хвалить — Марью!»

Иван как-то вдруг разом потускнел: какой может быть разговор, когда столько свидетелей? Но, подумав, он и этим остался доволен: как-никак Михаил Александрович бросил работу, сел рядом, о чем-то спрашивает... Зря, что ли, Бадейников сидит бесится... Да-а, попадись-ка ему в лапы — мигом голову скрутит!

Михаил Александрович что-то хотел спросить, но передумал или некогда было и так стукнул разом костяшками счетов, что даже испугал Ивана, потому что Иван не видел никакого движения рукой, а его сразу оглушил удар костяшек. Он понял, что Михаил Александрович не намерен больше разговаривать, да вроде и не о чем,— у Михаила Александровича одни заботы, у Ивана другие. Но что-то с той самой минуты, как Иван заглянул в бухгалтерию, объединило его с Михаилом Александровичем.

Перед тем как уйти, Иван весело оглянулся, и в это время его настиг голос Михаила Александровича.

— Иван Захарович, может, ты дашь мне взаймы десять тысяч?

Иван вздрогнул, хотя просьба бухгалтера прозвучала, как ему показалось, шутливо. Просьба бухгалтера, пусть даже несерьезная, прозвучала не столь уж и неожиданно: Иван все эти дни мучился над чем-то над этим, а бухгалтер как будто угадал и посмеялся над Иваном: мол, не мучайся, я у тебя спрошу, ты мне ответишь, и ответ мне твой заранее известен, и все останется на своих местах,— Михаил Александрович ни о чем не просил, а Иван — ничего не слышал.

В первый миг, когда бухгалтер попросил у Ивана денег, Иван так и хотел сделать — переступить порог, закрыть за собой дверь, и как будто ничего не слышал. Не в первый же раз приходилось притворяться, что не слышал или не видел, и без объяснения потом как-то легче всем было, вроде как ничего ни плохого, ни хорошего не было, и снова все шло своим чередом, пока что-нибудь не случится. И вот, кажется, случилось!

Иван сам был виноват, и даже не виноват, а как будто все эти дни упорно шел навстречу чему-то такому, о чем вот сейчас сказал главный бухгалтер.

— Куда тебе столько денег? Это, сам знаешь, не сто рублей и не полтораста!

— На Дом культуры не хватает.

— А ты сказал — тебе.

— Это одно и то же.

Иван не поверил:

— Разве колхоз и ты одно и то же?

— Я себя от колхоза не отделяю,— ответил Михаил Александрович.

— Большая разница,— сказал Иван, не зная, что ему сделать: разговаривать с Михаилом Александровичем, стоя у дверей, или вернуться и сесть.

— Никакой разницы,— Михаил Александрович проговорил эти слова как что-то давным-давно решенное.— Я вот здесь сижу с утра до вечера и не помню, бываю дома или нет.

— Точь-в-точь как у меня! — сказал Иван.— Вчера я в Шангине ночевал и сегодня не знаю, доберусь домой или заночую где-нибудь.

Все засмеялись, Иван — тоже, как будто нашли что-то общее, одинаково для всех интересное и очень важное, и это общее, интересное и важное было вовсе не деньги, а что-то другое.

Иван вышел из бухгалтерии и, даже не взглянув на кабинет председателя, выбрался из душного помещения на улицу, пытаясь сообразить, что же произошло с ним и как ему быть дальше. Бухгалтеру Иван не очень-то поверил: сначала взаймы, а потом не отдадут, и закон будет на их стороне. Нет, взаймы Ивана не устраивало...

Так надо отдать! Подарить!

Он хотел вернуться и сказать Михаилу Александровичу, что согласен, но тут же подумал: «Не успели попросить, Иван — готово: на, возьми! Надо, самое малое, неделю подождать, чтоб не наспех, не как попало... А то ведь что получается: десять тысяч отдаешь как десятку! Им такой и счет будет!»

Получалось только, что будто бы эту мысль подсказал бухгалтер колхоза. Но ведь хоть и подскажет кто-то, и ничего не будет, если сам не захочешь, если сам не додумаешься! Это Иван подсказал бухгалтеру! А что еще Михаилу Александровичу оставалось делать, если

Иван маячил у него перед глазами? Это бухгалтер воспользовался Ивановой мыслью, которая у Ивана была недалеко спрятана. Бухгалтер пошутил, а Иван все воспринял всерьез, потому что это нужно было Ивану, а не бухгалтеру...

Все, что видел Иван перед собой: бабагаевские дома, просыхающая на взгорках дорога, черно-зеленые ели за мелким и грязным прудом, в котором среди льдин и белого снега плавали озябшие утки и гуси, забуксовавшая машина на Полыновке, под колеса которой ученики начальной школы готовы были, кажется, бросать шапки и портфели, только бы машина выбралась на дорогу, прошедший навстречу румянощекий старик Овсянников, никак не бросавший работу на мельнице, хотя ему было давно за восемьдесят,— все это и все, что видел он вокруг, осветилось вдруг по-новому, сделалось праздничным. В необычном Ивановом настроении было, конечно, виновато и апрельское солнце, набравшее под вечер силу и старавшееся растопить последние льдины в деревне и снег, лежавший огромными клоками на полях и в лесу.

На Татарске Иван только сегодня услышал, как позванивали под снегом ручейки, пробивая себе дорогу в темноте, чтобы потом, набрав силу, удивить мир, вырвавшись наверх неожиданно, как будто за день или за час. Иван около Татарских полей одно такое место раскапывал сапогом до тех пор, пока не увидел, как темная вода хлюпнула как будто довольная, что Иван облегчит ей работу.

Откуда столько солнца в Бабагае: хоть расстегивайся и снимай шапку! Чем больше деревня, тем в ней теплей, что ли?.. Тихий, ласковый ветерок съедает снег, заставляет ручьи бежать скорее, делать причудливые петли, переговариваться десятками и сотнями радостных голосов.

Еще таких день-два, и весна ударит на Татарске во всю силу. По вечерам и ночью, выходя на крыльцо, Иван будет слушать, как ревет на всю тайгу весенняя вода.

Шагалось легко, как будто Иван сделался лет на десять или на двадцать моложе. Что-то похожее бывало с ним, когда он был совсем молод, когда ему казалось, что никуда не надо торопиться, что вся жизнь впереди и что конца ей не будет. И сейчас было такое чувство,

будто Иванова жизнь только начинается,— как будто каждая тысяча, которую он собрался подарить колхозу, на глазах превращалась в год или в два, самое малое. Такая мысль Ивану понравилась, и он удивился, что ни разу не думал об этом раньше. А если все деньги, лежавшие у Ивана на книжке, перевести на годы, то получалось, что в запасе у Ивана целая жизнь и что ему сейчас не шестьдесят четыре, а лет восемнадцать или того меньше.

Перед Шангиной догнала Ивана машина. Пока он садился в кабину, ему тоже хорошо думалось. Шофер проверил дверцу, и машина пошла скорее, оставляя позади березовый лесок с двумя огромными соснами, чудом уцелевшими на краю поля. Сосны стояли, наклонившись в одну сторону, как будто разглядывали внизу хоровод березок, особенно веселый летом, когда березки оденутся и зашумят листьями. Иван сколько раз отдыхал под этими соснами! Ему стало жалко, что жить березовому лесу и двум соснам осталось мало. Покажется кому-нибудь, что поле в этом месте неровное, и — прощайте, молоденькие березки и старые сосны!

Шофер терпеливо дождался, когда Иван выберется из кабинки, развернулся перед мостом и чуть-чуть не задел Ивана кузовом. Около самого лица промелькнул обшарпанный борт, дохнувший стылой краской и железом. Иван едва успел отскочить в снег.

На шофера Иван не обиделся — стоял на обочине и думал совсем о другом: от моста начиналась дорога, которую он знал в мельчайших подробностях и так привык к ней, что видел ее даже во сне, и не мог иногда понять — спит он или наяву идет по дороге...

Иван не стал оглядываться на машину, с яростным завыванием взбиравшуюся по проулку в деревню, так же, как не стал оглядываться на Шангину, потому что знал: стоит пооглядываться, что-нибудь или кого-нибудь вспомнить, как покажется, что надо вернуться. Долго смотреть на Шангину — значит остаться в ней ночевать!

А пройдешь первый поворот дороги и не захочешь возвращаться, только с необъяснимым чувством тревоги и радости будешь слышать, как отдаляется лай собак, без которого деревню невозможно представить. Как бы громко ни гудели трактора, будешь все время прислушиваться, не донесется ли еще лай собак, и покажется он

в это время лучшей музыкой, которую ты когда-нибудь слышал.

Прозвенела среди ветвей тонкая сосулька. Дрогнувшая ветка уронила ком снега — мелкая искрящаяся изморозь сыплется и сыплется с дерева... Возле Татарска самая настоящая зима! Еще день-другой вечером или рано утром легкий морозец скует тонким ледком растаявшие лужи, ущипнет, развеселившись, за щеку или за нос, а потом и на это не хватит силы.

Солнце спряталось за Белопадский бугор, и сразу же стало холоднее, длинные голубоватые тени от деревьев легли на снегу. Кажется, что скоро стемнеет, но солнце еще выберется из-за бугра и начнет светить прямо в глаза, когда Иван будет подходить к своему дому. На Татарской поляне и на Широком болоте, все еще укутанном глубоким снегом, на короткое время снова сделается теплее. Потом, как будто обессилев, солнце упадет в дремучий лес, перекрасит Саяны, скатится по ним в бездну и появится утром со стороны Шангины.

Иван остановился на Татарском бугре в лучах солнца и залюбовался своим домом. Поскорее отогнал мысль, которая в последнее время все чаще закрадывалась в сердце: не вечной же будет заимка? Увидел, как Марья носит вязанками сено от зарода к сараю. Согнувшись в три погибели, донесла вязанку до места, бросила, увидела Ивана, стоит, ждет. Иван бы сам перенес сено к сараю, сделал бы это не сегодня, а завтра, куда торопиться. Конечно, воды, дров наносила, картошку варить поставила... Дымок из трубы идет, значит, все сделано, и Марья принялась за Иванову работу. Ему только отдыхать осталось, дожидаться, когда картошка сварится.

Сегодня он все время будет чувствовать на себе ее укоряющий взгляд. Больше всего он считает себя виноватым, когда уходит к людям. Марья тогда долго не хочет с ним разговаривать.

Она и не помнит, когда последний раз была в Шангине. Лет двенадцать прошло, не меньше, когда бабы силой забрали ее с заимки в родительский день или в троицу, а Ивана заставили сидеть дома. Марья кое-как вырвалась от людей и прибежала вечером на заимку. Чудно ей тогда показалось, и она была рада-радешенька, что не слышит больше ни песен, ни шума, ни крика...

Ей хорошо, когда она говорит с коровой, с поросенком, с курами, с собакой, у которой нет имени, Марья ее так и зовет: «Собака, Собака!» Разговаривает с птицей или с печью, когда в ней горят, потрескивают дрова, когда закипит кастрюля или чайник и просит отодвинуть скорее от сухих и жарких дров...

В непогоду Иван чувствует себя плохо: все болит, портится настроение, белый свет становится не мил. Он смотрит в окна с надеждой, что, может, скоро разъяснит, уляжется, а Марья как ни в чем не бывало хлопает и хлопает дверями — несет то дрова, то воду, кормит свиней, коров, кур... Но это еще полбеды, что без конца хлопают двери, что-то падает, грохочет, скрипит, льется, в это время Иван не узнает Марью — она становится румянной, как в молодости, глаза наполняются прежней чернотой, блеском, и кажется, что она смеется над ним.

Поправив шапку, то есть надвинув ее немного на глаза, Иван зашагал с бугра к дому, заранее представляя, как он зайдет в избу, снимет пальто-москвичку, надавившее за день плечи, забросит под кровать сапоги, наденет валенки, сядет у плиты и, может быть, расскажет что-нибудь Марье — не все, что случилось с ним за эти два дня, а что-нибудь из шангинских разговоров... Только сейчас, перед домом, он почувствовал, как стянуло лицо от холода, щеки набрякли, сделались большими и тяжелыми. Ему даже казалось, что он видит их. Дотронулся до щек, потер их, и ощущение, что он видит их, исчезло.

Во дворе все встречало Ивана хорошо, как будто соскучилось по нему, как будто его не было дома не два дня, а больше.

Он сказал Марье, что не надо было переносить сено, что завтра сам все сделает, и Марья что-то проговорила, соглашаясь. Что она проговорила, Иван не разобрал, потому что Марья скомкала слова, сказала не для Ивана, а себе одной — ей понятно было, и ладно. Вспомнив что-то, она сразу же пошла в избу.

Иван походил по двору, как будто хотел убедиться, все ли на месте, все ли так же, как было два дня назад. Все было так же, а ему казалось, что произошли изменения, которых он не замечает, и они, как сорина в глазу, беспокоят, и он все видит изменившимся, а в чем

эти изменения, понять не может. Наверное, в нем говорила привычка что-нибудь делать, а не терять время попусту, и он забыл о том, что с дороги все-таки, и не меньше часу, до самой темноты, занимался в ограде по хозяйству. После этого будто тяжелый груз свалился с него, и он пошел в дом, удивляясь, почему Марья сидит в темноте, не зажигает лампу.

6

Каждому, кто через заимку возвращался откуда-нибудь домой, радостно было видеть огонек в окне Иванова дома. Кругом пустынно и глухо, невесело ночью по таким местам, и вдруг — огонек! Сначала не можешь понять, что за огонек, откуда, потом вспомнишь: да ведь это Татарская заимка! И сразу же пропадают невеселые мысли, навеянные одиночеством, глушью и темнотой, и дорога от Татарской заимки до твоей деревни не кажется такой длинной: коль живет здесь кто-то, значит, не такая это глушь, и тебе перестают мерещиться за каждым кустом волчьи глаза, и ты заранее знаешь, что на дороге стоит, подняв лапы, не медведь, а дерево, которое ты конечно же видел, когда ехал сюда, но забыл или не узнал в темноте. И ты оглядываешься на огонек возле Широкого болота еще и еще раз. Он уже скроется за поворотом, деревья обступят тебя, сомкнутся над тобой, даже неба не видно, а тебе все кажется, что ты видишь огонек в Ивановой избе, как будто он не позади остался, а впереди, еще только встретится, — и стук колес на корнях и ямках, шумное хлестанье веток, цепляющихся за ступицы колес, бодрый шаг лошади, знающей, что после заимки не так уж и далеко до деревни, все это и еще многое, о чем ты успел подумать за дорогу, покажется самым близким, ни с чем не сравнимым, и ты будешь думать о том, что никуда не уедешь отсюда, хоть иногда и похвастаешься: вот, мол, все брошу и уеду если не в город, то хотя бы в райцентр. Ведь уехали большинство твоих сверстников!

В одну из таких темных, беззвездных ночей, возвращаясь по этой же дороге, ты сделаешь открытие, не такое уж и неожиданное для тебя: разве может быть лучше где-то далеко, а не там, где ты родился, где прошло твое детство?

Для нас, шангинских ребятишек, Иван был тем самым лешим, о котором мы много слышали от бабушек и дедушек, а еще больше — от старших братьев и сестренок. Обыкновенный человек не станет жить в лесу, а Иван живет, Знается с лесной силой. Мы жадно прислушивались к разговорам взрослых, старались понять: кто такие Иван с Марьей, зачем они живут на Татарске?

Никто из нас ни разу не был в избе у Ивана. Даже близко к дому подходить боялись и рассматривали Иванов дом издалека, с мостика на берегу Индона, откуда до Иванова дома чуть не полкилометра, — сильно не разглядишь, что там делается, — или из леса, который подходит к заимке со стороны Шангины. Лес около заимки — молодой сосняк — так густ и непролазен, что в нем спрячется вся Шангина, и Иван не увидит, но пока через этот лес проредешься к поляне, на которой стоит Иванов дом, весь исколешься иголками, вымажешься в смоле, а после дождя вымокнешь в этом лесу до нитки, да и идти по нему как-то страшновато — лес этот совсем не такой, как около Шангины. И вечно в этом лесу хлопает крыльями, вскрикивает, потрескивает... Оглянешься, а никого нет. И воронье около поляны злее каркает, и ястребов здесь много, и кричат они не так, как над шангинским болотом, а громче и тоскливее... Нет ветра, а лес около Татарска шумит, и от этого шума и от тоскливого крика ястреба делается не по себе. Бывает, так и не удастся посмотреть Иванов дом.

Интересно было и возле Татарска: пади там глубже, трава в них высокая, чуть не всего тебя скроет, полно смородины, на буграх дорожки кто-то понаделал. Пройдешь по такой дорожке или пробежишь — и покажется в этот миг, что нет счастливее тебя человека и ничего тебе, кроме этой дорожки и этого леса, не надо, только бы еще раз пройти или пробежать по ней...

Мы дожидались того дня, когда вырастем и сможем побывать в гостях у Ивана с Марьей. Взрослым мы не доверяли, хотелось самим обо всем расспросить...

А пока мы проводили лучшее свое время в лесу около Татарских полей. Это еще сколько оттуда до заимки, а мы переговаривались чуть не шепотом, под нашей ногой ни один сучок не треснет, ни с одной колодицы кора не обвалится. Ходили мы все босиком: пройдем — нас и не услышишь. Собираешь ягоды или только нагнешься гриб сорвать, а в это время как кинется

что-то рядом из кустов от тебя в сторону со стоном и ревом. Ты и про гриб забудешь, уже далеко от того места окажешься, и только тогда догадаешься, что это Иванова свинья от тебя шарахнулась, тоже испугалась. Надо бы вернуться — большой и рясный куст ягод или грибов много, а уже что-то не хочется возвращаться. А если вернешься, то собираешь ягоды с оглядкой, даже если ты не один, а втроем или впятером, потому что надеяться не на кого: те, кто с тобой, еще больше испугались. А кто испугался больше, с того уже толку мало: делает вид, что собирает ягоды, а в ведре у него сколько ни заглядывай, все время пусто — как будто дно дырявое!

Когда ты самый старший в лесу с мелюзгой, которая и в школу-то еще не ходит, то стараешься показать, что нисколько не испугался, а просто побежал вместе со всеми. Кто-нибудь визг поднимет от страху, пока бежим-спасаемся, расплачется, домой станет проситься, начнет пинать грибы или рвать ягоды с корнями. Отдадим ему остатки хлеба, посадим около ведра — сиди, ешь с ягодами, домой еще рано. Как пойдешь, когда у тебя только полведра? Скажут: зачем ходили в лес? Снова собираешь ягоды, ждешь и опять слышишь, только уже где-то в стороне, как треск и шум идет по лесу...

А если Марья покажется?

Но ее ни разу мы в лесу не видели. Промелькнет в ограде или по огороду что-то черное, высокое и вроде в избу не зайдет, а исчезнет, как сквозь землю провалится! Стоишь в сосняке, смотришь на дом, ломаешь голову: куда девалась Марья? Или это пугало птичье покачалось-покачалось от ветра и упало?

Около Татарска бывает все, что хочешь! Попадется брусника — за час можно ведро набрать! Но обязательно что-нибудь да помешает: крик раздастся, и ни за что не поймешь — чей он. Послушаешь-послушаешь и деру домой. А если никто не кричит, дождь проливной или гроза начнется! Если дождь без грозы, стоишь под сосной, ждешь, когда он кончится, проливной дождь недолгий. А если гроза, то лучше всего спрятаться под березой. Гроза подолгу не бывает на одном месте: прогрохочет над тобой — и уйдет в сторону.

На Татарской поляне и в дождь светло, а за Татарском, за Широким болотом, лес уступами поднимается в самое небо, и внизу, под уступами, темно, — кэк будто

там все время ночь. Деревья на уступах стоят как попало и лежат на земле в несколько этажей. Это место называют Марьиными буграми. Внизу пропасть смородины, но ходить туда надо со взрослыми.

Марьины бугры с Широким болотом, светлую поляну любят и птицы, и звери. Иван или Марья могут сидеть на берегу Индона, недалеко от своего дома, и смотреть, как дикие козы купаются. Но стоит кому-то из шангинских появиться из лесу на поляне, козы перестанут купаться, повернут головы в ту сторону, постоят не двигаясь и, стараясь не поднимать больших брызг, выскакивают на берег, скрываясь по кустам и в тонком березняке. Иван ругнет шангинца, не вовремя появившегося на заимке, поздоровается с ним, если тот подойдет к берегу, и на вопрос: «Что это за брызги летели, вроде как кто-то купался в Индоне?» — ответит: «Собака мой!»

Иndon около Татарска разливается в два больших озера. У круглого мостика всегда стояли две долбленые лодки. Теперь — одна. Другая лодка прогнила и давно лежит на дне, обитая длинными полосками жести и от того похожая на маленькое военное судно, погибшее в жестоком бою. Жалко лодку! Отцы и матери, которые живут теперь в Шангине, и те, которых давно нет, когда-то плавали на этой лодке.

Бывает, два лета пройдет, и ни разу не удастся сплавить к Марьиным буграм — не берут, и все. Мал, говорят, когда подрастешь, возьмем. И нет ничего хуже, когда тебя сначала возьмут, а потом чуть не с полдороги отправят домой. Вот уж наплачешься!

От спрятанной лодки, когда переплы whole озеро, идти по длинному переходу. Если бревна, жерди и доски, обросшие мхом или травой, не покрыты водой, по ним приятно идти, радостно, а когда они в воде да еще прыгать надо с бревна на бревно или идти по жердочкам, которых не видно под водой, то, бывает, и ухнешь в воду или в болото по колено, а то и по пояс. В воде отплощешь штаны от болотной тины — и догонять. Редко ждут: не поскользывайся, не падай! Младшие, конечно, подождали бы, ты же всегда ждешь, но взрослые не хотят останавливаться: мол, не надо было проситься, не брали, а ты пошел. Догоняешь молчком.

Тропинки нет, кругом, куда ни глянешь, кочки чуть не с тебя ростом, трясины, засохший кустарник с крапивой и шиповником встают на твоем пути непроходимой стеной, не пускают дальше, как будто там чье-то царство, в которое не каждому дано ступить ногой. Продираешься через колючую преграду, осыпающую тебя мелкими сухими листьями и желто-коричневой пылью, удерживающую то за рубашку, то за штаны, пытающуюся отнять чайник, с которым ты идешь за смородиной. Душно, жарко. Не видно ни солнца, ни Марьиных бугров, и хоть бы кто-нибудь окликнул тебя! Что они все, провалились в болото? Но нет, слышно, как идут. Догонишь последнего и идешь, как будто не отставал. На ремешке висит у тебя за спиной полуведерный темносиний чайник.

Ждешь не дождешься, когда покажутся Марьины бугры! Тогда мы будем идти по заросшей тропинке вдоль маленькой и быстрой речки, которую можно перейти где захочешь, и смотреть, как уходят в небо вершины лиственниц и сосен, встречающих нас сумрачной тишиной и прохладой. Теперь не прогонят домой — смородина рядом! Правда, это только хочется думать, что она рядом, а до нее еще идешь-идешь... Кажется, что медленно спускаемся под землю, — дорога все ниже и ниже, солнце за Марьиными буграми, делается темнее и прохладнее, как будто сейчас не утро, а вечер.

Как манила, притягивала к себе дорога на Татарск, как, казалось, далеко до него было! А ведь всего каких-то четыре километра! Потом на лодке, по переходу, вдоль Марьиных бугров — и ты окажешься в таком непролазном лесу и так далеко, что сам же с собой соглашаешься: сегодня не удастся вернуться. Говорят, что к вечеру будем дома, но не веришь. Ты как будто на дне глубокого зеленого колодца, из которого еще выбраться надо. Но это потом, а сейчас ты даже куст со смородиной бросишь — только бы не отстать, только бы не затеряться... и опять бултыхнешься в ручей или в ямку с водой, такую холодную и неожиданно глубокую, что дыхание пресекается. Обожжет тебя водой, как огнем! И после этого ничего не страшно — и у ямки с водой есть дно! А если нет, то всегда можно схватиться за траву, какую-нибудь валежину или корень. И вот когда во второй или в третий раз выжмешь штаны и рубаху, согреешься, такая радость охватит, как будто ты в целебном

источнике искупался! И нисколько ты не завидуешь тому, кто осторожно прошел мимо ямок с водой и ни в одну из них не булыхнулся по-настоящему — штаны замочил, и только. И если кто-нибудь над тобой засмеется, что ты уже два или три раза искупался, а он ни разу, то это за смех не считается, ты-то знаешь, что это за ямки с ледяной водой, скрытые зелеными и желтыми листьями. Тому, кто смеялся, еще придется булыхнуться в такую ямку! А тебе ничего, если ты еще раз искупашься,— мокрому не страшно.

Свернули с тропинки, зашли в лес, и никого не надо догонять, как это было вначале. Застрянем где-нибудь в кустах и доволен, что никого нет рядом, что ягоды тебе одному достанутся. Только что крупные ягодины ударялись о широкое дно чайника, заставляя его позванивать коротко и удивленно, и вот уже ягоды сыплются в чайник бесшумно. Тебе кричат, а ты откликнешься не сразу: мол, не кричите, никуда не денусь, здесь я! А когда долго никто не зовет, то надо самому крикнуть. Ожидаете отклика далекого, едва слышного, и вдруг кто-нибудь отзовется рядом с тобой. А когда ты к нему подойдешь, он упадет на куст, бьет ногами, давится от смеха... Тут уж ничего не поделаешь, бывает, что со страху крикнешь раньше, чем нужно, а потом молчишь до тех пор, пока не начнут тебя кричать, и ты с удовольствием отзовешься.

Вот так, с криками, с купаниями в ледяной воде, доводящими до озноба, продираешься от одного куста к другому, идешь по упавшим деревьям высоко над водой, боишься рассыпать ягоды, и вдруг покажется, что ты заблудился, что тебе отвечают чужие голоса, что ты никогда не выберешься из этого темного кустарника и леса, затопленного водой. Идешь быстро, где и пробежишь, и всегда в это время, как нарочно, один куст ряснее другого вырастает перед тобой, протягивает ветки с черной смородиной прямо в руки, прямо в чайник!

Бывает, отбьешься от старших и заблудишься. И сразу же вспомнишь Ивана с Марьей и начнешь звать не шангинских — их уже все равно не слыхать,— а Ивана. Чудится тебе, что он где-то здесь, рядом, надо только подольше покричать. Кого еще встретишь в лесу возле Татарска к вечеру, когда солнце скрылось за тучами и вот-вот начнется дождь и гроза?

Было несколько случаев: найдет Иван заблудившегося человека, выведет на дорогу, покажет, в какую сторону идти домой.

Ни через день, ни через два Иван не зашел в контору и не сказал главному бухгалтеру, что согласен дать взаймы или подарить десять тысяч.

Он старался во всех подробностях вспомнить разговор в бухгалтерии. Его интересовали не только слова Михаила Александровича, но и то, как он сидел, как смотрел на Ивана и на своих помощников, какое у него при этом было выражение лица — серьезное или нет. И дело вовсе не в том, что Ивану нужно, чтобы весь тот разговор оказался несерьезным. Он только старался выяснить: пошутил Михаил Александрович или нет? Если пошутил, то даже лучше: главный бухгалтер не ждет, а Иван заявится и отдаст деньги!

Казалось бы, чего проще, чтобы ни над чем не мучиться и себя не обманывать,— пойти, отдать деньги, и делу конец! Но как это сразу сделать? Сразу не получится...

Отдать деньги Иван вроде бы готов,— но что такое Дом культуры?

Как-то засиделся он в канторе у Михаила Александровича, вышел — и не то что не мог пройти, а испугался содома, который увидел на первом этаже.

Он шел через фойе, в котором опять начались танцы, и хотел только одного — благополучно дойти до дверей, которые то и дело оглушительно хлопали, и было непонятно, как на первом этаже не вылетали стекла. Пока за Иваном не захлопнулись двери, ему все время казалось: в него обязательно швырнут чем-нибудь, ударьт, в лучшем случае, так подтолкнут, что он не выйдет, а кубарем выкатится на улицу.

Опомнился он за Бабагайской стланью, когда в сумерках промелькнули последние дома Полыновской улицы. Перед Шангиной он как будто успокоился. Этому помогли свежий пшеничный воздух полей и придорожных трав и дорога, которая всегда его успокаивала, обещала впереди что-то радостное, и он, оглянувшись на Бабагай, пробормотал:

— Это ж надо — танцев испугался! Народ веселится, а мне страшно!

Почему-то именно из-за танцев, можно сказать, из-за одного этого случая Ивану не хотелось отдавать деньги на Дом культуры. Ему казалось: тогда его сбили с ног, пели, танцевали на нем, и у него до сих пор болят руки, ноги, бока...

Михаил Александрович ладно, он всякое может сказать, на то и главный бухгалтер, но у Ивана-то выходило что-то совсем непонятное: вы мне так, а я вам по-другому! Вы на меня ноль внимания, а я вам — полное внимание! Вы надо мной смеетесь, а я иду к вам навстречу и как будто не вижу и не слышу вашего смеха!

Пока главный бухгалтер жил в Шангине, Иван заходил к нему запросто. Михаил Александрович был не очень разговорчивым, но держался так, будто не Иван у него в гостях, а он у Ивана. Может, по этой причине заходить к нему было намного приятней, чем к другим.

Около Михаила Александровича Иван мог сидеть молча хоть час, хоть два. Изредка тот или другой спросит что-нибудь, и опять они молчат, вроде как стараются понять, что было сказано. Надо Михаилу Александровичу что-то по хозяйству сделать — воды принести или сена корове дать,— то в это время все жена делает. Она редко когда вмешается в разговор, а если вмешается, то скажет что-нибудь веселое и сама же смеется. Ребятишек у них пятеро. Они что-то делают, уходят, приходят и ни одним словом не обмолвятся при чужом человеке, все взглядом — как отец.

У Ивана детей нет, и он тайком старался понаблюдать за каким-нибудь из них.

Только теперь, в конце жизни, Иван пожалел, что не взял никого в дети. Чужих он не хотел брать, а свои никто не отдавали. Крепко подвела Наталья: обещала отдать пятого ребенка, потом шестого, потом седьмого... Из одиннадцати Иван так ни одного и не выпросил. Теперь-то он понял, что и чужого хорошо было бы, но — поздно. Куда им теперь? Чужого даже лучше было: он бы по-настоящему стал своим, а Натальин убежал бы или в гости бы ходил домой...

Что ни новый председатель, Ивану печаль: так и чешутся у них руки, хочется им прогнать Ивана с заемки!

«Чего ты переживаешь? — скажет ему Михаил Александрович. — Ну, распашут Татарскую поляну, посевят там зеленку или клевер — дом твой никто не тронет!»

Иван сразу же сникнет.

«Нельзя распахивать поляну».

«Почему?»

«А ты съезди, посмотри. Только обязательно летом».

«Я был на заемке...»

«Когда был?»

Прошло четыре года, как Михаил Александрович приезжал на заемку еще со старым председателем колхоза. Иван им тогда карасей наловил. Уху сварили на берегу Индона. Уж на что председатель крикливы был, а на заемке притих: сидит, карасей лопает, по сторонам оглядывается, красотой не может налюбоваться. Черемуха, правда, к тому времени давно отцвела, но зато столько цветов, а больше всего ромашки, вся поляна и весь бугор — белые. Тут же тебе река, озеро, Марьины бугры с поваленным лесом в небо упираются, под уступами, хоть и солнце ярко светит, темно, и кажется, что там, в бездонной пропасти, живет Кошечка Бессмертный, с которым один на один борется Иван Федосов и никак не может победить.

Михаил Александрович не первый раз на заемке, его не удивишь, а тоже сменился с лица — сидит с Иваном на поваленной березе, смотрит на другой берег и как будто чего-то ждет оттуда.

Председатель долго ходил по поляне, сорвал большую ромашку, сел рядом и говорит: «Живи, Иван, не трону я тебя!»

Так с ромашкой в руке и к машине пошел. Ивану повезло тогда — хороший был день!

В апреле исполнился год, а новый председатель еще ни разу не был у Федосовых, и в этом Иван видел дурной знак. Вся надежда на Михаила Александровича... Но вот беда. Переехал Михаил Александрович в Бабагай — и как отрезало: Иван перестал к нему заходить. Михаил Александрович отодвинулся от Ивана не только по расстоянию (теперь до него не четыре, а девять километров), он сделался важнее и как будто недоступнее с тех пор, как его дом стал стоять недалеко от

председательского дома. А может, дело не в километрах и не в соседстве с председателем, а в том, что в колхозе «Большой шаг» теперь не четыре, а семь бригад: стал крупнее колхоз — и сразу же сделался крупнее Михаил Александрович!

Иван сначала сильно огорчился этому, а потом вслух сказал себе:

— Правильно, что не надоедал Михаилу Александровичу... Сейчас друг тот, кто редко заходит!

Иван представлял, как заговорит родня, как на него рассердятся, когда он отдаст деньги колхозу!

8

— Марья, оденься как невеста! Поедем в сельсовет регистрироваться!

Каждый раз, когда она первая заговаривала об этом, Иван начинал сердиться. Как-то совпадало, что Марья звала в сельсовет зимой, после тех дней, когда он сильно болел, и она будто торопилась расписаться с Иваном, чтобы не волноваться за деньги.

Марья рада не рада, что Иван позвал в сельсовет. Суховатые черты ее лица сделались мягче — Марья пыталась улыбнуться, и эта улыбка никак не могла вырваться наружу.

Иван взял ведра и пошел к колодцу. День теплый, солнечный, с пяти часов утра можно ходить в одной рубахе, и он, встречая первый такой теплый день, снял пиджак и бросил на лужайку. Возле широкого колодезного сруба, с той стороны, куда выливали из бадьи лишнюю воду, трава вырастала сочная, высокая, с цветами одуванчика, клевера и медуницы, горевшими среди метелок пырея ярко-желтыми, розовыми и синими огоньками, целое лето не отпускавшими от себя шмелей и пчел. Ивана оглушил птичий гам, он долго стоял и слушал, удерживая бадью с водой на краю сруба, ему казалось: на заемку прилетели все птицы от самой Шангины, Исаковки и Артухи, чтобы сообщить Ивану, что сегодня началось лето.

Поднялось солнце, птичий базар примолк, и теперь можно было различить отдельные тихие и радостные голоса птиц, продолжавшие славить приход лета. Тепло волнами разливалось по широкой поляне, заставляя кусты черемух еще больше дурманить воздух. Вчера не

было, а сегодня летали разморенные жарой и уже чем-то недовольные мухи.

Иван, как будто опять было Первое мая, надел все самое лучшее: новый шерстяной костюм — синий, в полоску, хромовые сапоги, зеленую рубашку. Прошел по ограде, увидел, что не все сделано, чтобы идти в Шангину: не налита вода в желоб, не спрятаны топоры... Таких мелких дел набралось много, и он, нисколько не осторожничая,— как будто не был одет по-праздничному,— налил воды в желоб, все, что нужно, убрал, занес в сени и под сарай.

Марья вышла на крыльце в старом простеньком платье, только что не разорванном, в красной кофте, которая тоже была не новая, но которую Марья любила, и в ботинках с высокими голяшками — ботинки были что надо, старинные и модные,— и гарусный, с красными цветами и зелеными листьями черный платок на плечах...

Марье казалось, что она нарядилась как принцесса. Она ждала, что Иван похвалит ее, а он и платье, и кофту сразу же забраковал.

Марья оглядела себя в зеркале и сказала:

— Люди будут смеяться, если все новое надену!

Иван согласился.

— Все сделал? — вежливо спросила Марья, считавшая, что теперь ей, так красиво одетой, ни к чему прикасаться не надо.

— Как будто все,— ответил Иван, оглядываясь и припоминая, не забыл ли чего, чтобы потом не пришлось возвращаться с полдороги.

Марья замкнула двери, ключ отдала Ивану.

— Ну, пошли? — сказала Марья, а сама не двигалась с места: она не понимала, как можно бросить все без присмотра.

Иван кое-как дождался Марью, закрыл ворота, и они, как будто под музыку, медленно пошли по дороге, по очереди оглядываясь на свой дом. Только Иван оглядывался не потому, что до вечера дом оставался без хозяина и ему что-то угрожало,— он всегда так делал, когда уходил куда-нибудь, как будто обещал: я скоро вернусь!

Дом оживлял поляну. И речка, и озеро, и мостик из круглых бревен, уходящих в воду, на котором теперь полощет белье одна Марья, березы, разбросанные по бе-

регу Индона, воронье и ястребы, маленькие птицы, левавшие над поляной, небо и предгорья Саян были для дома! В этот яркий летний день дом казался особенно приветливым, сказочным, как будто он стоял на поляне с незапамятных времен. Убери дом — и не будет так светить солнце над поляной, не будут такими синими река и озеро, меньше останется птиц...

— Дорогу в Шангину не забыла?

Марья не ответила. Она старалась идти: впервые за много лет она шла без ведра или корзины, без косы, без граблей и вил, без веревки, чтобы принести сена, не катила пустую или груженую тележку или санки... Ничего не надо было делать! Она шла, стараясь подражать Ивану,— идти и не замечать за собой, что идет,— но у нее ничего не выходило. Сама не зная зачем, она остановилась и, пока Иван не оглянулся, смотрела в его удаляющуюся спину. Ей казалось: зря она идет, зря послушалась Ивана!

Марья спрашивала у шангинских, когда они заезжают на заемку, сколько ей причитается денег, и поняла, что все деньги записаны на Ивана. Она знала, что в сельсовете надо расписаться, потом бумагу дадут, в которой будет сказано, что Иван с Марьей — муж и жена. Тогда половина денег — Марьины. А она не умела расписываться, и опять ей казалось: обманут, что-нибудь не так сделают!

— Куда ты идешь?

— В Шангину,— спокойно ответил Иван, так как ждал этого вопроса.

— Зачем?

— Поедем в Бабагай.

— Что я там не видела?

— Распишемся, ты же просила.

— Чего раньше не хотел?

— То раньше, а то теперь,— уклончиво ответил Иван, стараясь ни словом, ни жестом не обидеть Марью.

Последние годы Иван скандалит с Марьей из-за одного и того же — зачем он идет в деревню, когда дома есть все.

Марья хороший совет давала Ивану: надо тебе разговор послушать или песни, купи радио, сиди слушай! А в Шангине чего ты не видел?

Есть у Ивана старенькое радио, но его никто не берется отремонтировать, а новое он не решается купить:

денег, что ли, на радио жалко или чего-то другого боится, не поймет. Марья от занавесок отказалась, Иван — от радио, и все у них осталось так же, как было и двадцать лет назад, и тридцать!

Марья довольна, что ничего не изменилось в избе. А Иван?

Жадным он себя не считал, даже слышать об этом не хотел, и в последнее время доискивался причины, старался понять: почему это в избе у него все самодельное — кровать, табуретки, ложки, чашки... Даже гвозди, на которые Иван вешает одежду,— деревянные! В том, что Иван ни себе, ни Марье ничего интересного за всю жизнь не купил, он искал какой-то тайный, скрытый от него смысл, который он должен был разгадать хотя бы сейчас, под старость. Кажется, Иван начал догадываться, в чем тут дело... Не зря он ничего не покупал, не разбазаривал деньги по пустякам! Что из того, что над ним смеялись? Хотели, чтобы Иван был жадным,— а не потому, что он на самом деле был таким. Выходит, люди смеялись не столько над Иваном и Марьей, сколько над собой!

Он похвалил себя, что догадался сделать так, как он собирался сделать,— расписаться с Марьей в сельсовете. Подарит Иван колхозу деньги, узнает Марья и, это уже точно, скажет: «Свои десять тысяч ты бросил коту под хвост! Там и возьмешь! А это — мои!» Иван не станет спорить: пусть Марья поцарствует! Столько лет Иван, можно сказать, один был хозяином двадцати тысяч! Дошло до Ивана и то, что люди хоть и смеялись над Марьей, а все-таки жалели ее. Над Иваном так не смеются, но и не пожалеют, и потому Иван отдаст деньги не частному лицу, а колхозу.

Около моста Марья хотела перелезть через бревенчатую изгородь, зашагнувшую далеко в воду, и идти по задам, вдоль реки, но Иван сказал, что он до этого ходил по деревне, ни от кого не прятался, и сегодня они тоже пойдут по деревне.

Она поднималась за Иваном по проулку, видела много домов и построек, слышала голоса людей, рокот тракторов, лай собак, мычанье коров на колхозной ферме, но сердце ее билось учащенно не оттого, что она столько всего видела и слышала, просто ей тяжело было подниматься в гору в праздничных ботинках, и она не знала, будет ли все так, как говорил Иван.

Иван был уверен: как только Марья ступит ногой в деревню, сразу же что-нибудь не так сделает! Сам это придумал или ему внущили люди, что она обязательно насмешит всех? Но пока ничего такого не случилось. Иван через дорогу поздоровался с мужиками, потом с какой-то женщиной, а Марья даже бровью не повела в ту сторону, как будто не видела и не слышала, что Иван здоровается!

«Молодец Марья, ничего не замечает! Не то что я: «Здравствуйте!», «Добрый день!». Разве обязательно с каждым здороваться? Надо еще посмотреть, кто идет, может, он недостоин моего приветствия!»

Вслух Иван сказал:

— Ты хоть отвечай, когда с нами здороваются.

— А ты для чего? — сказала Марья, продолжая идти впереди Ивана. Она как свернула от проулка, так и шла по той стороне улицы, которая была ближе к реке, а стало быть, к лесу и к Татарску...

И хорошего коня, и легкий ходок, и сбрую Иван получил без бригадира — тот минут десять или пятнадцать назад уехал куда-то на мотоцикле.

— Оно мне, однако, попадет маленько! — весело говорил Захарка, отдавая Ивану бригадирова Гнедка, ходок и сбрую. — Сам бы он так же сделал, — успокаивал себя Захарка. Несмотря на шестьдесят лет, волосы у Захарки черные, как конская грива, не собирались седеть и оставались такими же непокорными, как в детстве. Глядя на Ивана смеющимися и добрыми глазами и по привычке приглаживая густые волосы, нестареющий Захарка продолжал: — Такой случай раз в жизни бывает! А невеста где? — спросил он, как будто предстояла не стариковская поездка в сельсовет, а шумная свадьба двух молодых людей.

— В бригаде, — строго ответил Иван, боясь, что Захарка переступит ту самую грань, после которой веселый разговор превращается в обыкновенную шутку, которую потом ничем не исправишь.

Захарка мигом прогнал с лица веселость, но все таким же бодрым голосом проговорил:

— Давно не было Марьи... Лет десять!

Захарка из тех людей, у которых всегда хорошее настроение, какое победить ничем нельзя, и он, не обращая внимания на ершистый Иванов вид, тут же взялся запрягать коня.

Проходившие мимо доярки и скотники видели Ивана, о чем-то говорившего с Захаркой и, чтобы зря не стоять, помогавшего конюху запрягать коня. Никому в голову не приходило, что Марья надумала выбраться с замкни, сидит сейчас в бригадной kontоре и из окна наблюдает, что происходит на Петуховой горе. Раньше здесь ничего не было — с горы катались на лыжах и санках, — а сейчас всего понастроили, и горы вроде как не стало. Никто ни с какой стороны не идет больше, и Марья смотрит на телефон, поблескивающий черной краской... От проводов и лампочек ей страшновато, и она, как к чему-то спасительному, садится ближе к подоконнику, на котором, касаясь стекла железным кольцом, стоит высокий закопченный фонарь — такой же, как у Марии в доме: откуда-то Иван принес.

Кто-то протопал по крыльцу, замешкался в сенях. Марья приготовилась встретить кого-нибудь чужого, распахнулись двери — Иван.

— Марья, поехали!

Она продолжает сидеть не шелохнувшись.

— Поехали-поехали, — торопит Иван, думая сейчас лишь о том, как бы не вернулся бригадир да не отобрал своего коня, ходок и сбрую. Вдруг на что-нибудь рассердится. Придется тогда ехать на какой-нибудь кляче и на простой телеге с поломанным колесом.

Марья вышла вслед за Иваном и от крыльца увидела: Захарка лихо сидит в ходке, натянув ременные вожжи, удерживает гнедого коня, который никак не хочет стоять на месте.

— Знаешь, кто я? — спрашивает Захарка.

— Знаю. Захарка...

Неизменившийся Захарка всем своим видом говорил Марье, что все на свете хорошо, что люди сами выдумывают себе лишние хлопоты и печали, и она с легким сердцем села в ходок и подумала, что, может, и правда, все лучше, чем кажется.

К часу дня Иван с Марьей были в Бабагае.

С середины улицы, по которой въезжаешь в Бабагай из Шангины, Марья увидела под горкой, слева от стлани, поблескивающее озерко, окруженное темными елями; сосны, березы и ели захватили всю низину до самого конца Бабагая, разделив село на верхние и нижние улицы, которые кроме стлани соединяют несколько тропинок; по ним редко кто пройдет, чтобы не набрать во-

ды в ботинки. Иван говорил: напротив магазина и почты теперь мостик, по которому идти среди звенящих ручьев одно удовольствие! Но мостика отсюда, за лесом, не увидишь.

Когда шагом ехали по высокой стлани с глубокими колеями от тракторов и машин, Марья издалека узнала сельсоветский дом из толстых почерневших бревен, немного покосившийся и вросший в землю, с тополями под окнами. Дому этому лет сто, не меньше. Смутил ее огромный двухэтажный дом, который тоже стоял за стланью, только немного правее. Об этом доме она слышала от Ивана, но ни разу не видела и не была в нем. Она почему-то думала, что туда придется идти, и не знала, как она там будет идти, как разберется...

Марья легко вздохнула, когда Иван подъехал прямо к дверям сельсовета.

— Илья бы никуда не уехал... Одна Октябринा ничего не сделает.

Глядя только перед собой, Иван пошел впереди Марьи, ступая медленно и чуть пригнувшись, как будто шел не в праздничном костюме и со свободно опущенными руками, а поднимался по лесенке в амбар с мешком пшеницы и боялся споткнуться.

Сельсоветская ограда Марье понравилась: большая, с крепким высоким сараем, под которым стояла запряженная в телегу лошадь и ела овес. От калитки до крыльца — тротуар. Слова «тротуар» Марья не знала — для нее это были ровные, красиво лежащие на земле доски, по которым приятно идти. Пока шла по тротуару, успела заглянуть в окна с резными наличниками и ставнями, увидела, что там сидят люди. Дверь в сени распахнута настежь. Иван из сеней оглянулся, предупреждая взглядом, что начинается самое главное. Она кивнула, что, мол, понимает, поправила на себе платок и кофту и вслед за Иваном вошла и остановилась в дверях.

Секретарь сельсовета Октябрине Попова маленьким ключиком, не видным в пальцах, замыкала желтый широкий шкаф и с любопытством поглядывала то на Ивана, то на Марью. Из другой комнаты, прихрамывая, вышел Илья Андреев. Лицо красное, как будто он только что с кем-то крепко поругался, и Марья подумала, что сейчас он выгонит обоих.

— Ну, тетка Марья, если сегодня в колхозе что-нибудь случится, ты будешь виновата! Ты хоть помнишь меня? — спросил Илья, взглянув на Марьины черты, как будто сам забыл что-то очень важное, и Марья вот сейчас напомнила ему об этом.

— Тебя-то она знает, Иннокентьевич, — ответил за Марью Иван.

— Ты, Иван, подожди, мы сами с Марьей разберемся! Правда, Марья?

У Марии отлегло от сердца: хорошо говорит Илья, если бы и дальше так, и она кивнула: помню.

— А ее? — Председатель указал на Октябрину.

— Забыла, — виновато сказала Марья.

Она переступила с ноги на ногу, все еще не решаясь сесть, и не отрываясь, смотрела на секретаря не потому, что хотела вспомнить, где и когда они встречались, просто ей было приятно смотреть на Октябрину: таких красивых баб Марья ни разу в жизни не видела.

— Я была на Татарске, — мечтательно улыбаясь, сказала Октябрину, как будто она была где-то за тысячи километров, в тридевятом царстве, видела то, чего другие не видели, и собиралась побывать там еще раз.

— Неужели забыла? — не выдержал Иван и осуждающе посмотрел на Марью: что ж ты подводишь?

Марья растерянно оглянулась на Илью, как будто извинялась перед ним: такой случай, а она — не помнит.

Все сидели, один Илья, сильно наклонившись вбок — из-за хромой ноги, — стоял недалеко от двери, как будто сделал резкое движение, чтобы уйти, да так и остался, с удивлением разглядывая всех троих.

— Мы к вам за голубикой приезжали! — сказала Октябрину. — Квас пили!

Октябрину рассказала, какая тогда была Марья, и говорила о ней примерно так же, как перед этим Марья подумала об Октябрине. У Марии разрумянились щеки, засияли глаза...

Иван тоже приподнялся и сказал Илье, зачем они пришли в сельсовет.

Октябрину из того же шкафа, который только что замкнула, достала белую книгу и ушла обедать, а Илья остался. Кого-нибудь другого он бы попросил прийти после двух часов, но Ивана с Марьей, он считал, надо зарегистрировать сейчас же, в обеденный перерыв.

— Я этого жениха давно знаю! — сказал Илья, что-то старательно записывая в книге.— Выходи за него замуж, не прогадаешь!

Марья, затаив дыхание, смотрела, что делает Илья.

Ставя огромный штамп, Илья не сводил глаз с Ивана, который держался как молодой жених, не знающий, что ему делать,— расписываться с невестой или, пока не поздно, сбежать. Вроде как торопясь — а то, чего доброго, жених передумает,— Илья обмакнул перо, подал ручку Ивану:

— Распишись. Здесь и здесь.

Иван расписался не хуже любого грамотея и долго смотрел на свои подписи и на все, что было написано в книге,— и опять было похоже, будто Иван — молодой жених, прощающийся с холостой жизнью. Откуда было знать Илье, что Иван не жениха из себя корчит, а прощается с десятью тысячами?! Знал бы, разве бы так разговаривал?

Марья потратила много сил, и что-то вроде расписи у нее получилось.

Илья поздравил их, крепко пожав руки, и Марья будто помолодела, а Иван, как показалось Илье, на глазах состарился лет на пять.

— Куда теперь? — спросила Марья, когда они вышли из сельсовета.

— В магазин,— ответил Иван, с трудом возвращаясь в свое обычное состояние: пока трижды расписывался, пережил немало, им не понять. Разве найдется во всем районе, да что в районе — в области! — хоть один человек, который подарит колхозу такие деньги? О-о-о, как хотелось рассказать об этом Илье, но надо сдержаться — Иванов час не настал!

«Сегодня бы надо заехать к Михаилу Александровичу», — думал Иван, устраивая в ходке ящик с водкой. Пока выпивали, Иванов конь стоял бы у ворот главного бухгалтера. Бабагаевские бы увидели и начали думать: у Ивана с главным бухгалтером — дружба!

Оглянувшись в один конец улицы, потом в другой, как будто запоминая все, что сейчас делалось в Бабагае, Иван сел в ходок, спиной к Марье, на глазах у любознательных бабагайцев ловко развернулся на одном месте, передернул вожжами, и они покатили с Марьей по широкой бабагайской улице с домами только на одной стороне — низину занимали болото и лес, из-за ко-

торого не видно Поляновской улицы. Промелькнул в лесу длинный новый мостик. Иван потянул Марью за рукав, чтобы она повернулась и посмотрела на мостик. Конечно, лучше бы пройти по нему, но это как-нибудь в другой раз. Через неделю, не раньше, когда Иван придет к Михаилу Александровичу и скажет: «Вот они, десять тысяч для колхоза! Безвозмездно!» Тогда он и по Бабагаю не торопясь пройдется и по мостику прогуляется...

Марья, как и ожидал Иван, с интересом смотрела на мостики, а не на дома, к которым она только что сидела лицом, и не на бабагайцев, которые попадались навстречу. Но стоило ей посмотреть на мостик, по которому в это время никто не шел, как что-то ее встревожило, но она не могла понять что. Мостик, белеющий за кустами и деревьями, вызвал в ее душе что-то похожее на радость, может быть, напомнил, что ее дом тоже стоит в лесу...

— В тот дом не поедешь?

— В какой дом? — не понял Иван.

Марья кивком указала на двухэтажное шлаколитное здание, в котором размещалось правление колхоза и возле которого, близко к штакетниковой ограде, стояла синяя, под цвет Индона, легковая машина.

— Нет,— ответил Иван.

— А куда?

— В Шангину. К родне.

9

Иван ничего не видел плохого в том, что не торопится отдать деньги. В конце концов, деньги были Ивановы, и какая разница, когда он их подарит — сегодня, завтра или послезавтра... Конечно, сильно тянуть не надо, а то получится, будто Ивану жалко денег. Решил же он, что отдаст,— значит, эти деньги теперь не его, а только у него находятся!

Михаил Александрович не подозревал, что Иван считает его своим другом. Иван ему об этом не говорил, да и не мог сказать: до последнего времени как-то не думал, что с Михаилом Александровичем их что-то объединяет. Может, ему это не надо было, а может, до дружбы тогда было еще далеко, а вот сейчас Ивану казалось, что они друзья. Но коль они друзья, то это на-

до было как-то показывать? Не назовешь же себя или кого-то другом ни с того ни с сего,— в это никто не поверит! Даже то, что Иван отозвался на просьбу главного бухгалтера, не давало еще оснований считать себя другом Михаила Александровича. Иван в этом случае окажется другом всех, а одного, отдельного друга не будет. Друга на деньги не купишь — это Иван знал твердо, тут нужно что-то другое... И вот это «что-то другое» каким-то странным образом сливалось с деньгами, которые Иван хотел подарить колхозу.

Ивану хотелось все-таки докопаться, почему он остановился на Михаиле Александровиче. Ведь вон сколько людей в колхозе! Что они, все ему не нравятся? Или он им всем не нравится?

Иван подметил: Михаил Александрович мало разговаривал с людьми и по этой причине, конечно, ни с кем не ругался, и таких друзей, как Иван, у него, наверно, полколхоза, не меньше. И все-таки эта черта объединяла их: Иван тоже не очень разговорчивый. С кем ему говорить на заимке?

А вот и еще одно сходство: Иван, как и Михаил Александрович, стакан-другой может выпить только в большие праздники. А так ни за что не приневолишь, хоть мелким бесом пляши перед Иваном.

Чутье подсказывало ему, что выбор друга он сделал правильно. Выходило, что Иванов друг — первый человек в колхозе! Председателя Иван считал вторым после Михаила Александровича, а уж потом шли главный зоотехник, главный агроном, главный инженер... Крупно все выходило, как и хотелось Ивану. Выгоды никакой не искал, подлизываться ему не надо, а так вышло, и так должно быть: два видных человека — Иван и Михаил Александрович — друзья!

Зачем Ивану понадобился друг? Ну, зачем? Разве плохо он жил до этого? Да ему была другом каждая травинка, каждый куст, каждая птица, большая и маленькая, каждый зверь! Широкое болото, озеро, густой сосняк, окруживший заимку, березы на берегу Индона, Татарская поляна, даже вон тот покосившийся высокий столб от кирпичного сарая, на котором любит сидеть ястреб, — все было Иваново!

А теперь?

Может, пока не поздно, пойти на попятную?

Но остановиться уже было нельзя. Хотел он этого

или не хотел, а что-то менялось в Ивановой жизни, а значит, и в Марьиной... Не зря она боялась чего-то...

Никакой другой жизни, кроме как на Татарске, Марья не видела, почти ни с кем никогда не говорила, а разгадывала тончайшие Ивановы планы. Надолго утаить от нее ничего не удавалось: молчит-молчит, а потом в один день выведет Ивана на чистую воду! Как будто ей шепнет кто...

Дикие утки поплескались около Иванова дома, громко покрякали, как будто сообщали Ивану, что они живы-здоровы, и улетели, а Иван продолжал сидеть на бревнах, заготовленных на столбы для новой ограды, и курил одну папиросу за другой. Марья ему не мешает — кормит коров, телят, свиней, кур... Иван сидит спиной к ограде, не видит, а слышит, как она ходит, скрипит воротами, воротцами и дверями; опять ходила в амбарушку, муки взяла, что-то Собаке сказала, кинула в него палкой, чтобы не лез к свиньям. Вот уж чего Иван не делал — ни разу в жизни не замахнулся на Собаку! Зато с Марьей ругался. Не любила она, когда Иван бросал Татарск и шел на день или на два в деревню. Ей казалось, что он от работы отлынивает, а того не понимала и сейчас не понимает, что ему без людей скучно делается... Все в доме есть — и сахар, и соль мешками, как в магазине, а он придумает что-нибудь, и — в деревню! Иногда спокойно уйдет, а иногда — ругаются...

Через несколько дней Ивану уже не казалось, что он выдумал себе друга, и он, ложась спать или поднимаясь утром с постели, вспоминал о Михаиле Александровиче так, будто они друзья чуть не с самого детства...

И сразу же стало приятнее, веселее жить!

10

Иван только что приволок две сосновые жердины из лесу, бросил их на траву. Хотел принести еще пару, а уж потом отдохнуть, но его остановил рокот трактора, приближающийся из Шангины.

Иван подождал.

Трактор выскочил из леса на поляну, донеслось пронзительное повизгивание, которое перекрывало гуление мотора, Иван понял, а следом и увидел, что «С-80» идет с плугом. Блеснули на солнце фары.

— Наш,— вслух сказал Иван.— Чужому здесь с плугом делать нечего.

Он шагнул навстречу, пытаясь издалека угадать, кто из шангинских. И сразу же тракторист одним рывком бросил трактор влево, от Шангина к Саянам, «С-80», захлебываясь яростным гулом, по прямой линии двинулся к Ивану, подминая цветы, травы и кустарники. Ивана это покоробило, настроение у него испортилось. Метрах в двух от дома «С-80» круто развернулся, взревел, как бешеный зверь, и замер, выпустив черно-синее облако дыма, коснувшееся Ивана, и он ощущил раздражающий запах горевшей нефти.

Молоденький тракторист Ганя Петухов, едва высунувшись из кабины, крикнул:

— Здравствуй, дядька Иван!

Ганя нравился Ивану: здоровается всегда весело, любую просьбу выполнит, а сегодняшнее его поведение удивило Ивана: что-то с парнем делается!

Он не удержался и сделал Гане замечание:

— Ты сегодня, Ганя, чуть на мою избу не наехал!

Ганя даже не улыбнулся, и без того сжатые губы сжал еще плотнее, сел рядом с Иваном на бревнах и минуту или больше сидел молча, как будто за что-то сердился на Ивана.

— Что с тобой, Ганя?

— Да говорить неохота, дядька Иван.

— А ты скажи, может, помогу чем-нибудь...

— Помощь-то вам нужна,— сказал Ганя, стараясь не глядеть в глаза Ивану.

— Мне? — удивился Иван.— Да я сам кому хочешь помогу!

— Я знаю,— сказал Ганя.

— Про то, о чем я думаю, никто не знает,— сказал Иван, продолжая внимательно разглядывать Ганю.

Ганя ничего не ответил — или согласился с тем, что сказал Иван, или не придал его словам никакого значения, а скорее всего, думал о каких-то своих делах, которые у него не ладились.

Иван решил ему посочувствовать и спросил:

— Правда, Ганя, что твоя жена убежала с ветеринаром?

— Она давно убежала. Мне ее не жалко. Она недавно пацана у меня украла... Теперь у нее не отберешь...

— Постарайся отобрать,— посоветовал Иван, уверенный в том, что суд непременно встанет на Ганину сторону. И не только суд, а вся деревня.

В последнее время Иван больше, чем когда-нибудь, рассчитывал на хорошие вести, но после разговора с Ганей тревога стала окутывать его, как ядовитый пар, которым приходится дышать до тех пор, пока идешь по болоту. Даже когда болото кончается, все равно вкус ядовитых испарений еще на какое-то время останется во рту. Предчувствие не обмануло Ивана: Гане было приказано вспахать Татарский бугор и часть поляны со стороны Шангины. Ганя решил сначала поговорить с Иваном. Он ожидал, что Иван закричит, схватит ружье и начнет палить по трактору или какой-нибудь другой номер отмочит. Но ничего даже похожего не было. Все верно рассчитал бригадир — послал Ганю, с которым у Ивана были хорошие отношения.

— Пахать я тебе не дам,— сказал Иван и с ненавистью поглядел на трактор, который, казалось Ивану, сам по своей воле заведется сейчас и двинется на Ивана.

— Не переживай, дядька Иван, я сейчас уеду.

— Ты-то уедешь... Другие приедут!

«Вот оно что-о... вот почему я не торопился отдать деньги: нет ко мне хорошего отношения! И не надо! Главное, чтоб я все хорошо сделал... Какие бы палки ни совали в колеса, деньги я подарю!»

— Пакостники,— негромко сказал Иван, так как знал, что кричать бесполезно. Он хотел рассердиться на Ганю — надо же было на кого-то рассердиться,— но сдержался: не по своей воле Ганя на Татарской заимке. А по чьей? Иван зло усмехнулся: известно по чьей — председателевой! Ни разу не приехал, не посмотрел... Потом скажет: «Прости, Иван Захарович, не знал, а то бы ни за что не распорядился...» В Шангину, скорее в Шангину! Все там разузнать у бригадира, а потом — в Бабагай!

Иван едва удерживался, чтобы не рассказать Гане, что он не сегодня завтра подарит колхозу десять тысяч. Любой на месте Ивана давно бы плонул и уехал куда-

нибудь, хотя бы в тот же райцентр, и не здоровался бы с ними, а он им — десять тысяч! Но Иван — не любой. Уехать — это все равно что сдаться, признать, что тебя победили! Легкое ли дело столько лет бороться. За чем ни обратишься, один ответ: «А ты переезжай к нам!» Вроде как переедешь, так все сразу само с неба свалится!

Ганя сидел на бревнах и ждал, что скажет Иван.

Иван успокоился, даже как будто повеселел,— видит же, что Ганя готов все для него сделать! А что может Ганя сделать — так, пустяк какой-нибудь. Хотя как знать...

— Ганя, подожди минут десять, я Марье скажу, и в Шангину поедем.

— Правильно, дядька Иван, вместе поедем! Дай им там разгону! Я возле мостики подожду: на Индон посмотрю. Отсюда и уезжать неохота!

— То-то и оно,— сказал Иван.— Пол-Шангины жили на Татарске, да, видно, забывать стали об этом.

Пока Ганя ехал к мостику, придумал себе дело: выдернуть высокий покосившийся столб от кирпичного сарая. Скажет потом бригадиру: все-таки не вхолостую гонял трактор! Собирался провозиться со столбом самое малое полчаса, но, к своему удивлению, справился быстрее. Столб был еще крепкий — лиственница все-таки,— подгнила только нижняя часть; но даже и подгнивший он быостоял еще долго, потому что поддерживать ему ничего не надо было. Ганя сел на поверженный столб лицом к Иванову дому и увидел Ивана, бегущего к трактору и размахивающего руками.

— Что ты наделал?! — издалека кричал Иван. Это был даже не крик, а стон.

Иван подбежал, отышался, что-то хотел сказать Гане, но безнадежно махнул рукой: а, что с вами разговаривать, все равно не поймете!

Ганя начал оправдываться:

— Столб-то можно выдернуть...

— Ничего нельзя трогать! Неужели ты не видишь, что со столбом лучше было?

— Интересно ты говоришь, дядька Иван.

— Я всегда интересно говорю, только меня не слушают. На этом столбе сидел ястреб,— проговорил Иван таким потерянным голосом, как будто Ганя свалил не подгнивший столб, а зацепил за угол Ивана здом.— Я

отдыхал на спиленном столбике, а ястреб — на высоком... Мы тут часто вдвоем сидели,— Иван кивком указал в небо, где высоко над поляной плавал ястреб.

— Неправда,— сказал Ганя.

— Почему неправда? Мы давно с ястребом дружим.

— Садятся разные,— не соглашался Ганя.

— Я своего ястреба знаю... Бывает, и другой сядет, а больше всего один и тот же садится — мой. Ястребиный столб выдернул! Кто тебя просил? — вскричал Иван.

— Там еще вон сколько столбов,— успокоил Ганя Ивана, показывая на чернеющие возле черемух столбы, оставшиеся от усадьбы Бондаренкиных.

— На тех столбах он не любит сидеть. Низко.

Ганя не сдавался:

— Тут кругом лес, березы на берегу Индона — места ему хватит.

— Да что береза — моему ястребу столб нужен! Другие, когда сяду на пеньке, улетают — близко же, совсем рядом! — а этот не боится. Привык.

— Что его жалеть, ястреба...

— Чем тебе ястреб плох?

— Цыплят ворует.

— Подумаешь, одного цыпленка за лето унесет! На то он и ястреб! Мы с ним, можно сказать, родня: ястреб чуть зазевается, его подстрелят; мне тоже ухо остро держать приходится... — И тут же, позабыв о своей печали, сказал:— Напрасно трактор за восемь километров гонял. За это с тебя спросят.

— Мелочь,— сказал Ганя.

— Из мелочи складывается большое,— как о чем-то хорошо проверенном заметил Иван и, не спрашивая разрешения, первым полез в кабину трактора.

Из кабины Ганя увидел Марью, хлопотавшую по хозяйству, и догадался, что Иван ничего не сказал ей. «Молодец дядька Иван, правильно делает! Зачем разводить панику раньше времени?!»

Кренясь на косогорах, ныряя носом в ямки с желтой водой, вздрагивая на высоких корнях сосен и лиственниц, «С-80», срезая себе путь, захлебываясь ревом, как будто хотел скорее вырваться из сумрачных объятий тайги к Шангине, где больше простора и ровнее дороги.

Без счету раз Иван шел с заемки в деревню, ехал на коне, на машине и на тракторе, но как только оказывал-

ся у последнего поворота перед Шангиной, всегда его охватывало радостное волнение. Казалось бы, какая сегодня радость, а все равно охватило волнение точно такое же, как раньше. И отодвинулась обида на людей, печаль как будто уменьшилась, и ему хотелось только одного — поскорее оказаться в деревне.

Шангина мелькнула за сосновами, проехали место, где раньше была электростанция... Иван подсчитал свои возможности: первая надежда само собой на Михаила Александровича, но перед этим Иван должен поговорить с шангинским бригадиром, который, как и его старший брат, председатель сельсовета, всегда хорошо относился к Ивану.

11

Бригадира он нашел дома. Все были на работе, и Василий сам себе налаживал на стол: достал из печи большой чугун, потом маленький, принес из кладовки соленых алятских карасей, коротко бросил Ивану:

— Садись.

Иван отказался.

Василий хоть и молодой, а строже Ильи — редко когда засмеется, и от этого непонятно, сердится он за что или нет. Но сегодня у Василия глаза вроде бы веселые. Да и не верится Ивану, что вот так все разом кончится. Была займка, и вдруг ее не будет!

Жарковато показалось Ивану в избе, и он, не говоря ни слова, путаясь в длинных занавесках, выбрался из комнат и расположился в тени на предамбарнике.

И Василий, оказывается, любил здесь сидеть.

Иван не задавал никаких вопросов, ждал, что скажет Василий. Тот видел, что настроение у Ивана хуже некуда, и как можно веселее сказал:

— Ну что, Иван Захарович, и до тебя очередь дошла?

— Раз шутишь, значит, еще не дошла.

— Целый час спорил с председателем! — похвалился Василий.

— Отстоял меня?

— Как будто отстоял. «Пашите,— говорит,— и бугор и поляну! Сегодня же!»

Иван слушал внимательно, взвешивая каждое слово Василия, стараясь понять, где он может прибавить, а

где — нет, а тут не выдержал, впился в него взглядом синих, холодно блестевших глаз и хрипловато спросил:

— Что ты ему ответил?

— Я ему отвечаю: «Мы к Ивану привыкли!»

Иван поморщился — был недоволен ответом бригадира,— но перебивать не стал.

Василий с увлечением продолжал рассказывать:

— «Кто это «мы»?» — спрашивает у меня председатель. «Мы,— говорю,— шангинские». Он на мои слова ноль внимания. «Может,— говорит,— шангинские и привыкли, а бабагаевские — нет». — «Да его,— говорю,— бабагаевские толком и не знают! Нашли кому завидовать!» Он посмотрел на меня и говорит: «Не тех, кого надо, защищаешь». — «У меня,— говорю,— защиты больше никто не просит». Знаешь, что он ответил? «Не нравятся мне разговоры об Иване». Ну, я тогда помягче: «Георгий Алексеевич, пусть живет человек». А он свое: «Никто его со света сживать не собирается, я его только кругом опашу». — «Не надо,— говорю,— пусть он на свою поляну смотрит. Жалко, что ли?» — «Очень ты,— говорит,— добрый». «Что ж,— говорю,— раз вы все знаете, то пашите. Доживал бы человек спокойно, а так...» Он заинтересовался: «Что так?» — «А то,— говорю,— что всю жизнь человеку поломаем. А много ли у него ее осталось?» Он походил по кабинету: «А что, Василий Иннокентьевич, правильно будет, если мы его не тронем?» — «Конечно,— говорю,— правильно!»

В этом месте разговор Василия с председателем Ивану понравился, и он спросил:

— Так все время и навеличивает?

— Только так.

— Всех или одно начальство?

— В том-то и дело, что всех. Зря не обидит, это я тебе точно говорю. Дальше строго так спрашивает: «Ты за свои слова отвечаешь?» Я ему говорю: «Целиком и полностью». Он мне: «Ну, смотри, Андреев!» — «А чего,— говорю,— смотреть, когда и так все видно». — «Ну, ладно,— говорит,— и тебе я верю. Ты уже второй защитник». — «А первый кто?» — спрашиваю. Он помолчал и говорит: «Михаил Александрович...» Ну, думаю, теперь-то Иван Федосов спасен! Только похвалил я в душе Михаила Александровича и тут же, как будто не своими ушами, слышу: «Но чтоб не было разговоров, вспашите бугор, который поближе к Ивану, а поляну

оставьте. Поляну действительно жалко трогать».— «А на кой черт нам бугор?» — спрашиваю. Отвечает: «Для порядка». — «Понял», — говорю. «Все, — говорит, — иди».

— Бугор ты не стал защищать? — спросил Иван.

— А зачем? Начнешь бугор защищать, он рассердится и поляну вспашет!

Конечно, бригадир бы кое за что врезал Ивану — слишком уж много он хочет, — но его останавливало одно очень важное обстоятельство: он уважал тех, кто хорошо работал. А Иван с Марьей еще недавно работали в колхозе так, как некоторым и не снилось! Не захотели с заемки переезжать? Так это их дело...

Василий как-то спросил шангинского конюха: «Захар Кузьмич, ты бы стал жить на Татарске, как Федосовы?» Тот ответил: «А что там делать? Слушать, как сосны шумят да волки воют?»

— С кем дальше разговаривать? — спросил Иван.

— О чем?

— Про бугор, про поляну, про дом...

— А дом тут при чем?

— А при том, что сначала бугор вспашут, потом поляну, а потом дом зацепят трактором и поволокут в деревню!

— Дом твой, Иван Захарович, никто не тронет.

— Могут.

— Ну, а если бы и тронули? — сделал предположение бригадир. — Неужели тебе не надоело бегать? Ты знаешь, что сказал председатель? «Да мы, — говорит, — бесплатно сруб поставим, только пусть переезжаёт!»

— Почему бесплатно? Что у меня, денег не хватает?

— Он про твои деньги ни слова не сказал.

— Не знает.

— Почему, я говорил.

— И что он?

— Даже внимания не обратил.

— Про сколько тысяч ты ему сказал?

— «Так и так, — говорю. — Иван Федосов — наш местный миллионер, у него на книжке десять тысяч!»

— Ну-у, десять тысяч... Кого этим удивишь? Ты же знаешь, что у меня двадцать!

— Слыхать-то я слыхал, но не поверил: думаю, десять тысяч — это ладно, а двадцать — откуда? Да и тебя не стал подводить.

— А ты бы меня не подвел: деньги я не украл, а **за-**
работал честным трудом.

— Я думал, может, ты хвастанул.

— А зачем мне хвастаться? Ну, сам посуди: зачем я буду на себя наговаривать? Какая мне от этого польза? Постой-постой, да я же тебе сберегательные книжки показывал! Ты еще удивлялся!

— Вот уж чего не видел, того не видел,— сказал Василий.

— Это я твоему старшему брату показывал,— вспомнил Иван.— Это он тебе и сказал про двадцать тысяч.

И двадцать тысяч необходимого действия на Василия не произвели, и это Ивана огорчило.

Василий вернулся к разговору с председателем:

— Иван Захарович, ты не забыл, что председатель сказал про дом?

— Бесплатно мне ничего не надо,— немного рассерженно сказал Иван.— Я сам себе такие хоромы отгрохаю, каких и у председателя нету!

Бригадир, прищурившись, посмотрел на Ивана и рассмеялся: ничего Иван не отгрохает — денег пожалеет!

Бригадиров смех Иван воспринял так, как и хотел воспринять: а что, Иван сделает, если захочет! Но никаких хором Ивану не надо, ему хорошо и в своей избе! Простоит еще лет пятьдесят!

— Иван Захарович, о тебе заботятся, а ты этого понять не хочешь.

— Да что я за фигура такая,— отвечал Иван,— что вы все тянете меня к себе? Зачем я вам? Я теперь на пенсии, какая от меня польза?

— Да-а, Иван Захарович, с тобой не так просто разговаривать.

— А почему должно быть просто? Вы же с человеком дело имеете! Василий Иннокентьевич, вы обо мне заботитесь? Только честно?

— Заботимся. А как ты думал?

— Тогда не трогайте бугор,— попросил Иван и поднялся с приамбарка, давая этим понять бригадиру, что разговор окончен, что больше он его задерживать не будет.

Перед калиткой, крепко пожав бригадиру руку, Иван, довольный своим посещением, сказал:

— Сегодня обязательно встречусь с председателем!

— Смелый ты стал, Иван Захарович...

— Я всегда был смелый,— ответил Иван.— Не то что некоторые — тележного скрипа боятся!

— Хочешь прокатиться? — предложил Василий, когда завел свой «Урал» с коляской.

— В Бабагай ты не подбросишь, а кататься у меня времени нету,— ответил Иван, разглядывая новенький мотоцикл и удивляясь, как это Василий не жалеет своего мотоцикла для колхозной работы. Но тут он вспомнил, что собирается подарить колхозу десять тысяч... Де-сять! Мотоцикл, по сравнению с этой суммой, детская игрушка!

— До бабагайских полей довезу, а там тебе недалеко останется. Садись,— приказал Василий.

Иван сел в коляску, но не быстро, чтобы не было видно, что легко подчинился. Пусть не думает бригадир, что Ивану можно приказать и он все так и сделает,— нет, Ивану можно только сказать, попросить, как человека.

12

Холодом пахнуло на Ивана, когда он, войдя в бухгалтерию, не увидел за столом Михаила Александровича. Ему даже показалось, что он зашел не в тот кабинет.

Тихон Бадейников сидел на том же месте, бросал на Ивана косые взгляды и опять был чем-то недоволен. Конечно, тем, что Иван зашел в бухгалтерию... Девчонки вот как будто рады, о чем-то хотят спросить... Все, как одна, бросили работу, чуть не разом сказали, что Михаил Александрович скоро придет, что Иван может подождать в бухгалтерии, и, как будто знали, предложили стул подальше от Бадейникова.

Иван поблагодарил за приглашение, сказал, что подождет на улице, и вышел.

День будничный, а Бадейников сидит за столом в праздничном костюме... С чего бы это? Не связано ли как-нибудь с тем, что начали подбираться к замку? Надо выяснить, что за праздник у Бадейникова? Если нет никакого праздника, значит, тогда все сходится... Да и как не сойдется, если заместителем Михаила Александровича была молоденькая девчонка с высшим обра-

зованием, а Бадейников всячески показывал: он в бухгалтерии второй, а не девчонка; даже, более того, держался иногда так, будто он первый. Это ему удавалось, потому что Михаил Александрович сидел нередко согнувшись, весь уходил в работу и от этого казался меньше ростом. Бадейников был Михаилу Александровичу до плеча, а когда сидел за столом, то почему-то казался одинакового с ним роста.

Иван не любил просить, считал: лучше чего-то не иметь, обойтись, ведь всегда можно обойтись! Это люди придумали: обязательно им надо то-то и то-то, а если того-то и того-то не будет, то вроде как и жить дальше нельзя... Прекрасно можно жить!

А сейчас?

И сейчас то же самое. Разве Иван похож на просителя? Побольше бы таких просителей! На Татарской заимке ничего нельзя трогать не потому, что там живут Иван с Марьей, хотя и это причина тоже уважительная, а потому, что нет нигде поблизости такой красоты! Надо, чтобы человеку было куда приехать, человек не должен забывать свою поляну, по которой он бегал в детстве...

Подумаешь, скажут, одной красивой поляной на земле меньше станет!

Он не замечал, что на него смотрят из окон конторы. Стоял крепко, лицом к дороге, по которой изредка проезжали или проходили люди. Вернулось хорошее настроение, и, наверное, от этого по-другому светило солнце, по-другому плыли облака над Бабагаем, оставляя за собой все больше голубых просветов, в которых, то появляясь, то исчезая, летел самолет, а звука от него все не было...

Никто, считал Иван, не в силах помешать ему сделать то, что он задумал, потому что теперь он знает о себе если не все, то почти все. Его ничем на свете не удивишь: деньги он отдаст; друг у него на земле есть; человек, который больше всех не любит Ивана, ему известен...

Иvana окликнули.

Он оглянулся: угловое окно на втором этаже распахнуто, высокий тонкий мужчина перегнулся через подоконник и смотрит на Ивана. «Председатель!»

— Иван Захарович, зайди-ка!

«Хорошо получилось: ни я председателю сильно не кланялся, ни он мне!»

Иван так ловко и уверенно зашел в кабинет, как будто всю жизнь только тем и занимался, что открывал и закрывал двери председательского кабинета: ни плечом, ни локтями ни обо что не задел, не споткнулся о порожек, сразу же одним точным, коротким движением — и чтоб сильно не хлопнуть! — закрыл двери, и все это одновременно с тем, что успел рассмотреть, в какой стороне кабинета находится председатель и что он в это время делает. У двери не стал задерживаться, как делают многие, показывают не то свою культуру, не то трусость,— а сразу же прошел к столу, за которым сидел председатель, поздоровался с ним, выбрал себе подходящее место — за столом напротив председателя,— в упор быстро оглядел его, и впервые у него появилось что-то вроде симпатии к этому молодому человеку, которого он до сегодняшнего дня и не хотел, и боялся видеть.

— Это вы и есть Иван Захарович? — сразу же располагающим к себе голосом спросил председатель и чуть-чуть нагнулся вперед, как будто хотел получше рассмотреть Ивана.

— Он самый,— ответил Иван, пытаясь угадать, что у них за разговор получится и как ему вести себя. Сначала надо выслушать председателя: мужик, говорят, самостоятельный, разберется. Не поймет, тогда другое дело, тогда Иван растолкует, что к чему. Он хотел, чтобы перед ним оказался человек, видевший деревню не из кузова машины, а проживший в ней самое малое лет до пятнадцати. И чтоб умный был!

Он сидел, чуть-чуть склонив голову набок, щурясь на солнечный свет, широким лучом ударявший в распахнутое окно, слушал орущих в палисаднике воробьев и делал только одному себе понятные выводы: раз председатель не закрывает окно, раз ему не мешают воробы, значит, человек он не дурак и, конечно, поймет Ивана. Только вы, воробы, орите потише, а то председатель поднимется из-за стола, захлопнет рамы, и пойдет разговор совсем не так, как должен пойти.

— Михаил Александрович не рассказывал, как он вас защищал?

— Нет,— ответил Иван, довольный, что разговор начался с Михаила Александровича.— Было бы что хо-

рошее, может, и рассказал бы... А тут чем он может похвастаться?

— Вы что, друзья с Михаилом Александровичем? — спросил Сухарев.

— Я-то его считаю другом, а он меня, наверное, нет.

— Это как же понимать?

— Не знаю,— с какой-то непостижимой искренностью ответил Иван и сам испугался своей искренности. Так беспомощно он еще никому не отвечал.

Председатель заинтересованнее поглядел на Ивана, улыбнулся чему-то и сказал:

— Я с таким случаем впервые сталкиваюсь.

— С каким?

— Да вот как у вас...

— А что, разве у нас не так, как у людей?

— Дружба мне ваша непонятна. Вы, насколько мне известно, и не встречаетесь.

— Почему,— не согласился Иван,— встречаемся, но редко.

— Раз в год?

— Не-ет, за год мы раза четыре видимся!

— Друзья встречаются чаще.

— Это раньше так было, Георгий Алексеевич, а в наше время ни к чему часто встречаться. Сейчас друг тот, кто редко заходит!

— Я с вами не согласен, Иван Захарович.

— А вы подумайте и согласитесь. Вы, Георгий Алексеевич, говорите о том, чего вам хочется, а я говорю о том, что есть.

— Зачем же мне думать, когда я знаю, что это не так. Что ж это за друг, с которым можно не встречаться? Не надо обманывать себя, Иван Захарович!

— Значит,— подытожил Иван,— на один и тот же вопрос мы смотрим по-разному.

— По-разному,— согласился председатель.

— В этом нет ничего плохого,— сказал Иван.— У каждого свое мнение.

— Мнение у нас должно быть одно,— сказал председатель.

— Не знаю, как должно быть. Вам, Георгий Алексеевич, виднее. На то вас и учили!

— А не кажется вам, Иван Захарович, что все-то вы знаете, только притворяетесь, голову людям морочите.

Иван не обиделся, но и не согласился с ним. Спокойно, как и до этого, сказал:

— Никогда в жизни никому головы не морочил...

— Значит, себе морочите.

— Люди наговорили, Георгий Алексеевич... Их только начни слушать...

— Вас же я слушаю...

— Меня, Георгий Алексеевич, с теми, кто мне завидует, не равняйте.

— Вам завидуют те, кто похож на вас! Хорошо, что таких немного — единицы.

— По-моему, и того меньше,— уточнил Иван.— Один я! Чтобы завидовать моим деньгам, Георгий Алексеевич, надо работать не так, как сейчас. Чего им не жить в колхозе: рабочий день короче, чем на производстве! Только что в посевную да в уборочную... А полгода живут как на курорте! Отпуска даете, пенсию... Выходной придумали! По курортам стали ездить... А работать когда? Про доярок и свинарок я ничего не говорю — там не отдохнешь!

— Вы, Иван Захарович, в самом деле так беспокоитесь о колхозе?

— Я всегда беспокоился о колхозе. Разве вам этого не говорили?

— Говорили. Я думал, просто вас не хотят трогать... Свой все-таки...

— Я, Георгий Алексеевич, заслуживаю к себе самого лучшего отношения!

— А что вы такого сделали? На особенное внимание, сами знаете, каждый рассчитывать не может.

— Еще не сделал, но скоро сделаю,— ответил Иван.

— Что же это такое будет?

— Пока не могу сказать.

— Мне казалось, что я все понял, а тут опять неясность! С вами, Иван Захарович, не соскучишься! Вы не родственник главному бухгалтеру или шангинскому бригадиру?

— Нет. С родственниками у меня плохие отношения,— добавил Иван.

— А с чужими?

— С чужими хорошие.

— И давно у вас так?

— Лет двадцать. Сразу после войны.

— Да-а, Иван Захарович, жизнь у вас сложная...

Если судить по рассказам, то не все совпадает... Вы только никаких номеров не выкидывайте — фантазия у вас богатая!

— Номеров, про которые вы думаете, не будет! — весело сказал Иван.— А то, что пообещал, сделаю! Один вопрос можно, Георгий Алексеевич?

— Пожалуйста!

— Кто на меня нажаловался? Бадейников?

— Угадали, Иван Захарович.

— Спасибо, что сказали. А то я переживать начал, думаю, а вдруг не он?

— Вы не ошиблись, Иван Захарович, не он один... Скажите спасибо шангинскому бригадиру и Михаилу Александровичу!

— Я могу сказать спасибо не только им...

— А кому еще?

— Председателю сельсовета. Старшему брату шангинского бригадира,— пояснил Иван.

— Да, он тоже хорошо говорил. Защита у вас, Иван Захарович, надежная.

Иван опустил голову и задумался: «В самом деле все хорошо или главный разговор впереди? Неужели он со мной в кошки-мышки играет?»

Зашел Бадейников подписать какие-то бумаги. Иван заметил: ох, как хотелось ему остаться и послушать! Это и председателю бросилось в глаза, и он так выразительно взглянул на празднично разодетого счетовода, что тот, уже остановившийся послушать и уже приглядывавший стул, на котором бы можно было посидеть, круто повернулся на месте и исчез за дверью. Как ветром сдуло!

«Ну, вот что надо человеку? — Иван глядел на бесшумно закрывшуюся дверь, за которой, ему казалось, Бадейников остановился.— За что он меня не любит? Что он лезет со своими документами именно в то время, когда я сижу у председателя? Хочет посмотреть, как у меня идут дела? Хорошо идут, лучше, чем у тебя!»

— Иван Захарович, звонил шангинский бригадир, просил не ругать, что вы не дали трактористу распахать бугор. Так вот, я вас не ругаю...

Иван слушал председателя почти что не дыша.

Кто-то приоткрыл и закрыл дверь. Сухарев оглянулся и продолжал:

— Мне Михаил Александрович рассказал про вашу жизнь... Околдовала вас с Марьей заимка, что ли?...

— То-то и оно,— ответил Иван, огорчаясь, что ничего-то председатель не знает о нем. Разве Михаил Александрович так расскажет, как бы Иван сам о себе рассказал? Но когда рассказывать? Да и кто будет слушать? Всем некогда! Да и нужды не было рассказывать... Жил себе и жил. А теперь как-то так все повернулось, что Иван чуть не каждому должен объяснить, что сейчас он не такой, как о нем думают, и раньше был не тот, за кого принимали... Вроде как все время жил под чужим именем! Да это целую книгу написать можно, если Иван начнет рассказывать про свою жизнь! «Был бы погромотнее, написал бы! А так что человека мучить, у него и без меня дел хватает! И на том спасибо: у меня не было, заимку, наверно, хорошо не видел, а разобрался... По всему видать — хорошего человека прислали! А если бы по-настоящему поговорили, и не в конторе, а на заимке?! И ему бы, и мне интересней было...»

— Хорошо принял, спасибо,— поблагодарил Иван председателя, когда тот перестал говорить по телефону.— И я, когда будешь на заимке, хорошо приму: карасей наловлю, лодку дам покататься.

— У тебя лодка есть?

— Есть. На большом озере.

— Я по берегу проезжал, не видел.

— Стоит возле перехода! За кустами! Шофер разве не сказал, когда мимо проезжали?

— Про лодку ничего не сказал.

— Миронов бы не утаил.

— Что-то я тебя, Иван Захарович, не понимаю: какой смысл шоферу утаивать, что на озере есть лодка?

— А такой, что понравится тебе и озеро, и лодка, и поляна, и ты будешь лучше ко мне относиться... Это же мой родственник — твой шофер!

Председатель засмеялся:

— Да, я совсем забыл, что с родственниками у тебя плохие отношения. Не горюй, Иван Захарович, я тебя и с родственниками помирю!

— Хорошо бы,— согласился Иван.— Я-то с ними не ругался.

— А за что они на тебя сердятся?

— Денег не даю.

- А что они, сильно нуждаются?
 - Сейчас-то какая нужда, а раньше — было!
 - Ну и выручил бы!
 - Так у меня тогда у самого не было!
 - Сейчас бы помог.
 - Своим — ни за что! Чужим — другое дело!
 - Что-нибудь еще есть ко мне? — спросил Сухарев.
 - Пока что разговором доволен,— ответил Иван.
 - Почему «пока что»?
- Я еще не дойду до заемки, а ты возьмешь да передумаешь. Прощайте тогда, бугор с поляной!

Иван схитрил: не об этом он хотел сказать председателю, своим ответом он только прикрылся,— рано еще было выдавать тайну.

Председатель, конечно, не мог проникнуть в замысловатый ход Ивановых мыслей и ответил, принимая Ивановы слова за чистую монету:

— Ты почему, Иван Захарович, никому не веришь? Откуда у тебя это?

— Люди научили,— ответил Иван, принимая в свой адрес явно незаслуженное обвинение. Дело было вовсе не в том, что он никому не верит,— просто он так вынужден был ответить! Хочешь не хочешь, а получалось, что Иван сам на себя наговаривал! И с этим пока что ничего нельзя было сделать... Иван только сейчас понял, почему он не хочет сказать председателю, что собирается подарить колхозу деньги: ему не поверят, поднимут на смех! Подарок надо сделать неожиданно, без лишних слов!

13

Председателя опять отвлек телефон.

Иван подходит к окну, открывает вторую створку, прихлопнутую ветерком, и видит в палисаднике огромную стаю воробьев! Они не боятся Ивана, продолжают орать и не улетают! На заемке столько нет воробьев, сколько у председателя в палисаднике! Привыкли к открытому окну, иначе бы испугались... А может, воробы настолько заняты собой, каким-то своим праздником, что не замечают Ивана? Храбрые, когда их много... Чудное что-то делается с Иваном: теперь вот воробы лезут в голову, мелькают перед глазами...

Иван, видно, лишнего высунулся из окна, и воробышья стая, продолжая неистово чему-то радоваться, перелетела в сельсоветский палисадник, где тополя были старше и высоко поднимались над черной четырехскатной крышей.

Солнце наконец-то справилось с облаками, согнав их к самому горизонту, и, как будто освободившись от работы, радовалось отдохну. Слабый ветерок, игравший листьями тополей, нисколько не освежал — в лицо Ивану ударяли горячие волны воздуха, и в них, побеждая все другие запахи, сильнее всего чувствовался запах хлебного поля, которое начиналось за деревней со всех четырех сторон.

Через дорогу, в низине, заколдовывая каждого, кто на него смотрел, время от времени вспыхивая на солнце, из артезианской скважины был фонтан, лет десять или пятнадцать назад оставленный геологами.

К пруду, окруженному темными елями и кой-где разбросанными корявыми березами, из-за последнего дома скатывается с горы ватага ребятишек, и начинается бултыканье, хорошо видное и слышное из окна. Кричат гуси, застигнутые врасплох, кричат ребятишки, стройное гусиное войско, только что проплывшее над самой глубокой водой, спасается по воде бегством и занимает окраину пруда, где плавать даже гусям неинтересно, и они продолжают вскрикивать не столько от испуга, сколько от неудовольствия. Гуси знают, что хорошая вода захвачена надолго, выходят на болотистый берег, где они теперь в безопасности и откуда они, переговариваясь, будут поглядывать, когда освободится пруд.

Улетевшая воробышья стая, хлебный запах с полей, сверкающий на солнце фонтан, шелест светло-зеленых тополиных листьев, гуси и ребятишки отвлекли Ивана от смутной и от этого еще более неприятной мысли, которая только что связывала его по рукам и ногам. Он сел на прежнее место, и председательский кабинет больше не казался ему таким строгим, и все предметы — сноп пшеницы с тяжелыми колосьями, стоявший в углу, портреты ученых, о которых Иван ничего не знал, — казались ему такими же необходимыми в кабинете, как двери и окна, как стол и стулья... И все-таки что-то неладно, мешает что-то, а Иван не может понять что.

Нет, кажется, понимает: он уже не мог больше хранить тайну — она требовала, чтобы кому-то было рассказано о ней сейчас же, немедленно.

— Михаил Александрович, мне надо с тобой поговорить,— сказал Иван главному бухгалтеру: тот зашел в кабинет и подал Сухареву какие-то бумаги.

— И мне надо,— живо, как-то непохоже на него отозвался Михаил Александрович.

Да, сомнений не было: он смотрел на Ивана как самый настоящий друг! А чтобы председатель и вовсе не сомневался, что они друзья, Михаил Александрович укоряющим голосом произнес:

— Иван Захарович, ты почему ко мне не заходишь?

Не замечая на себе веселого председательского взгляда, Иван внешне спокойно смотрел на Михаила Александровича, а сам думал: «Молодец, друг, не подвел! Не дал посмеяться над Иваном! И я в долгую не останусь».

Вслух Иван сказал:

— Тебя, Михаил Александрович, поблагодарить надо.

— За что?

— За разговор с председателем.

— Я сказал председателю то, что есть.

Иван ответил:

— Про то, что есть, не каждый может сказать: некоторые говорят о том, чего нет. Попробуй потом докази, что у тебя было, а чего не было.

Все трое засмеялись: первым — председатель, вторым — Михаил Александрович, и в последнюю очередь засмеялся Иван.

— Что с поляной? — тихо и печально спросил Михаил Александрович.

— Оставили,— ответил Сухарев.

— А бугор?

— Тоже оставили.

Не говоря больше ни слова, Михаил Александрович пошел из кабинета, и нельзя было понять: радуется он за Ивана или по какой-то неизвестной причине продолжает печалиться? Слышно было, как по коридору удалялись его шаги.

— Иван Захарович, давно вы с Михаилом Александровичем дружите?

— На такой вопрос, Георгий Алексеевич, лучше все-

го не отвечать: про дружбу начнешь вслух рассказывать, и, считай, не будет дружбы...

— Это в том случае, если друга не было,— уточнил Сухарев.— А так... куда он денется?

— Я в твоем возрасте, Георгий Алексеевич, о друге как-то не задумывался: есть друг — хорошо, нет — тоже хорошо! А сейчас понимаю: без друга нельзя.

— Иван Захарович, а если оба заболеете? Там же вокруг ни души...

— Марья никогда не болеет,— постарался успокоить Иван председателя.— Я — бывает. Но и со мной ничего не сделается! Ты, Георгий Алексеевич, не смотри, что я маленького роста, я двужильный.

Председатель подивился Ивановой настойчивости, а больше всего — уверенности. Такое упорство нравилось председателю, но говорить об этом он не собирался — совсем загордится Иван!

Прощаясь, Сухарев спросил: правда ли, что Марья как работала за троих, так и работает, а Иван прохладдается?

«Отсох бы у того язык!» — хотел сказать Иван, но удержался, так как следом хоть и не полностью, но согласился со словами, которые кто-то передал председателю.

— Георгий Алексеевич, я действительно в последнее время частенько стал бегать в деревню. Марья из-за этого со мной ругается... Но сказать, что я «прохладюсь», это будет неправда. Побегай-ка.

Глубоко копает председатель — в самое сердце иголкой кольнул! Нарочно подзуживает, сыплет соль на больные раны... Хочет, чтобы Иван сорвался, что ли?.. С кричащим-то Иваном легче справиться! Но не будет скандала, Георгий Алексеевич... Все Иван выдержит, все стерпит... Не такие находились шутники, и то не могли вывести из себя! До белого каления, конечно, доводили, крови много попортили... С другой стороны, и Иван не подарок: упрется — никакой силой с места не сдвинешь! «А как иначе, ну, как по-другому сделаешь? Сковырнут тебя, как кустик, бульдозером и скажут потом, что так и было... Не-ет, надо покрепче упираться, твердо стоять на земле, чтоб видно было, что ты стоишь, а не лежишь! Не торопись, Георгий Алексеевич, я и к этому вопросу готов, на лопатки меня все равно не положишь! Я не какое-то там перекати-поле, я — хозяин!»

Иван смотрел на председателя, снова говорившего по телефону, и думал, как бы покороче и потолковее ответить на обидный вопрос.

Сухарев положил трубку, нашел какие-то бумаги, полистал их, отодвинул в сторону, о чем-то задумался и продолжал так сидеть, не обращая на Ивана никакого внимания.

«По телефону сказали что-нибудь неприятное... Требят председателя со всех сторон: то дай, это дай! Где столько всего набраться?!»

Ивану расхотелось отвечать на последний вопрос: и так все идет, как по расписанию! Чего еще надо: думал о людях хуже, а они лучше оказались... Постой-постой, а Бадейников? Вот бы про кого спросить у председателя: долго ли они собираются держать его на должности счетовода? Это же не шарашкина контора, а правление колхоза, а в правлении — бухгалтерия!

— Георгий Алексеевич, ты, как приехал к нам, выгнал всех бригадиров, один только шангинский остался! Правильное было решение, ничего не скажу... А почему продолжает работать в конторе Тихон Бадейников? Неужели вы не видите, что это плохой человек? Он же смотрит на каждого, как волк из-под дуги!

«Зря я ему сказал про Бадейникова,— заранее пожалел Иван.— Ошибку допустил: полез не в свое дело... А почему не в свое? Я такой же колхозник, и мне не безразлично, кто будет наши денежки считать!»

Сухарев вместе со стулом отодвинулся от стола, как будто издали хотел посмотреть на Ивана, и, не переставая о чем-то думать, сказал:

— Я, Иван Захарович, большой радости не испытываю, когда встречаюсь с Бадейниковым...

Даже не верилось, что председатель смотрит на Бадейникова так же, как Иван!

Не зря Иван усомнился — председатель тут же и огорчил его: он сказал что-то странное, в его ответе не так уж и глубоко был спрятан упрек Ивану, неудовольствие, что Иван спросил об этом. «Мы можем быть недовольны счетоводом, а тебе, Иван, подождать надо!» — примерно так сказал председатель, если не хуже...

Иван никак не мог согласиться, что рядом с Михаилом Александровичем сидит такой человек — вроде как его кто-то нарочно держит около Михаила Александрови-

ча! Никто Бадейникова в бухгалтерии не любит; он там сидел не со всеми, а вроде как один. Он и по коридору, и по улице прошмыгивал один, как будто ни с кем из бабагайских не был знаком. И вдруг Иван сообразил: в хорошем месте Бадейников работает благодаря Михаилу Александровичу! Тот оберегает Бадейникова... А почему тогда Бадейников так жесток к Ивану? Почему Михаил Александрович Бадейникова терпит, а Бадейников Ивана — нет?

Каких-нибудь полтора часа прошло, как Иван у председателя, а Ивану казалось, что он тут со вчерашнего дня! Как будто его к стулу привязали, что никак нельзя пошевелиться, или каким-то магнитом держат: надо подняться, и не можешь; вот уже поднялся, надо уйти, и опять не можешь! Только решится один вопрос, кажется, последний, как появляется новый, и конца-краю вопросам не видно... Хоть не заходи и не начинай разговора!

14

В каком-то смятении, хотя в общем-то все хорошо было, Иван вышел из кабинета и — скорей на улицу, где светит июльское солнце, где много воздуха и синее небо, в котором высоко летают стрижи и ласточки... Выше всех плавает ястреб, которого только что крикливой стаей гоняли большие и маленькие птицы.

За прудом, в котором все еще купаются ребятишки, Иван, поднявшись в гору, не в Шангину пошел, а свернул на Полыновскую улицу. Обогнул слева больничную ограду, где за старыми соснами на лужайке сидели мужики в коричневых и синих пижамах и над чем-то смеялись. Ивана они не видели. И он за деревьями плохо видел сидевших — мелькнет кусочек одежды, рука или голова в газетном шлеме и скроется. На лужайке так много солнца и, наверно, идут такие интересные разговоры... Иван едва удерживался, чтобы не подойти и не посидеть с больными.

Осталась позади заросшая молодым сосняком и березняком изгородь, которая скрывала Ивана, он — в поле, где не так жарко и дышится легче, а с больничной лужайки все еще доносятся голоса и смех, но теперь они сами по себе, а Иван сам по себе, и ему было немножко жалко, что он не постоял или не посидел с му-

жиками. На обратном пути у него не будет времени, да и мужиков, когда он вернется, на лужайке не будет.

— Зачем я здесь? — вслух спросил Иван, но спрашивать было не у кого — он один за деревней среди огромного изумрудно-серебристого поля пшеницы...

Он стоял спиной к березовому лесу, смотрел через поле на чернеющие дома, между которыми двигались или где-нибудь стояли и разговаривали фигурки людей ростом с кукол. Из деревни Ивана не так-то легко увидеть (а если кто и увидит, то неизвестно, за кого примет, скорее всего за пенек обгорелый), а Иван многих видит! Что же лучше: одному на всех смотреть издалека или со всеми одного кого-то разглядывать? Но в том-то и дело, что сюда, наверно, никто и не смотрит: что интересного в недоспелом хлебе и кому нужен человек, зачем-то идущий по этому полю?

«А я на деревню и на людей смотрю, как будто мне от них что-то нужно, хотя на самом-то деле ничего не нужно. Я пришел дать, а не взять!»

Скажут: в войну и не такие деньги отдавали государству — и не хвастались... Так то в войну! Когда война началась, у Ивана никаких денег не было, а подарок он сделал: было две коровы, одну, не задумываясь, отдал для фронта, только бы фашиста поскорей расколовшатить. Такую мелочь, как гусей, уток, кур, Иван не считает: рубил головы, пока не прибежала Марья и не отняла топор, только и оставил, что на развод.

Иван прошел по глубокой тропинке, устланной прошлогодними листьями, и скрылся за стволами молоденьких высоких берез — таких белых, будто кто-то их выкрасил к празднику!

В лесу никогда не бывает скучно: березы, сосны, лиственницы для Ивана все равно что люди — стоят ровно или бегут по косогору, как солдаты; наклонились в разные стороны, как чужие... Стоят согнувшись, да так, что верхушками земли касаются... Деревья шепчутся, стонут, скрипят, вздыхают, радуются солнцу, поблескивая по утрам и после дождя зеленою хвоей и листьями, или стоят засохшими и не могут шуметь кроной и раскачиваться в сильный ветер. Сухостоину не вывернет с корнями — она сломается и грозным острием будет напоминать, что она сломана, но не побеждена... У каждого дерева, как у человека, своя судьба... Потому и растут рядом, чтоб не скучно было! Не хотел

Иван, а подумал, что они с Марьей похожи на засыхающие лесины, которые никому не нужны... А может, им никто не нужен?

Пока Михаил Александрович в канторе, Иван мог бы зайти к кому-нибудь в гости. Поговорил бы, посмотрел бы, как другие живут, но, что ты сделаешь, идти ни к кому не хотелось,— нет у него, кроме Михаила Александровича, ни одного близкого человека!

15

Под вечер Иван вернулся из Бабагая и сидел за столом у Кирпиченков. Выпил стаканов пять чаю, а Михаил Александрович как налил себе второй стакан, так и не дотронулся до него больше и сидел, низко склонившись над столом; казалось, он держит на своих плечах неимоверно тяжелый груз, который, если Михаил Александрович не выдержит, раздавит его. Но вот он разогнулся и очень спокойно— что-то для него прояснилось — посмотрел на Ивана. Со стороны могло казаться, что у них не клеится разговор, что говорить им не о чем, но в том-то все и дело, что они оба не очень-то любили разговаривать. Получалось, что как Иван привык экономить каждую копейку, так и словами привыкал себя не разбрасываться. И Михаил Александрович — то же самое... Только он всю жизнь делал это для всех, а Иван — для себя. И вот выходило, что не для себя, а тоже для всех, только надо было поставить последнюю точку!

Михаил Александрович подумал, что ослышался, когда Иван сказал, что хочет подарить колхозу десять тысяч...

Морщины на лице Михаила Александровича сделались глубже, глаза сузились, он заморгал ресницами, как будто в глаз сорина попала.

— От чистого сердца предлагаю,— сказал Иван.— Безвозмездно.

Михаил Александрович наконец-то отпил из своего стакана, уже остывшего, сразу два или три глотка чаю. Что-то несерьезное было в Ивановом предложении: ни с того ни с сего отдать колхозу десять тысяч! «Неладно что-то с Иваном... Может, он в самом деле заболел? Может, правду говорили, что в последнее время Иван чудной сделался?..»

— Зачем тебе это, Иван Захарович? Я ведь тогда пошутил.

«Это никому не нужно», — хотел сказать Михаил Александрович, но сказал совсем другое: может, Иван не помнит, что говорит, не подумал, так это не страшно, еще есть время, и что он советует вообще не думать об этом. Зачем усложнять себе жизнь?

Иван выслушал друга очень спокойно, даже как будто радостно, из чего Михаил Александрович хотел заключить, что он угадал в самую точку, — дает возможность Ивану пойти на попятную и забыть о том, что он сказал только что.

— Мне, Михаил Александрович, тут думать не над чем: это деньги не мои, а ваши.

Михаил Александрович смотрел на Ивана глубоко запавшими и от этого казавшимися еще больше темными и грустными глазами.

— Они только у меня находились, — пояснил Иван. — Да и то не у меня, а в сберегательной кассе...

— Когда ты это придумал, Иван Захарович?

— Я над этим думал всегда. Но так же будет правда, что я это придумал недавно.

Михаил Александрович вздохнул, не зная, как поступить с Иваном.

— Чего ты пригорюнился, Михаил Александрович? Не ладится что-нибудь?

Михаил Александрович смотрел не на Ивана, а куда-то дальше, и на миг Ивану показалось, что он здесь лишний. И в это время очень неприятная мысль коснулась Ивана: пока молчал о деньгах, интереснее все было, значительнее, казалось, что деньги у него из рук выхватят, только он заикнется, и вот оказалось, что еще выяснить будут, почему он отдает, из каких соображений, а уж потом решат — взять или не взять! И здесь придется поволноваться! Праздник, о котором мечтал Иван, не получался! Как будто он не свои деньги предлагал, а краденые! Что-то напутал Иван в самом начале, и теперь никак не распутать... Один узел развязешь, а два появятся!

— Михаил Александрович, домой к тебе, наверно, много людей приходит? — Иван тут же пояснил, почему он об этом спрашивает: — Ты человек не маленький — главный бухгалтер такого колхоза!

— Приходят в бухгалтерию, а сюда — зачем?

— Ну, вот я же — пришел?

— Ты — другое дело. Таких, как ты, Иван Захарович, у нас больше нет.

— Это я и сам знаю, что нет.

Иван вздохнул, как будто сожалея о том, что вот, плохо ему, что таких, как он, больше в колхозе нет.

— А надо, Иван Захарович, чтобы таких, как вы с Марьей, больше было. Только не совсем таких, как вы...

— А чем мы плохие?

— Об этом, Иван Захарович, вы с Марьей не хуже меня знаете...

— Знаем,— ответил Иван,— и не согласны с этими разговорами.

— Сейчас никого ничем не удивишь... Вот я и думаю, Иван Захарович: стоит ли отдавать деньги? Съездил бы на юг, на курорт, здоровье поправил.

— Думаешь, все-таки привязалась ко мне болезнь?

— Ты же сам говорил...

— Так это я простывал! У меня, по-моему, что-то другое...

— Вот бы тебе профессора и сказали.

— Не скажут ни за какие деньги! Я пробовал.

— Еще раз попробуй. Бывает, что болезнь глубоко прячется, сразу и профессор ничего не заметит. При своих-то деньгах и в Москву можно съездить...

— Денег на пустяки не хочу тратить. Я здоров. Так, иногда вроде как душа болит. Так это, может, и не болезнь... А если болезнь, то неизлечимая.

— Может, и болезнь...— задумчиво проговорил Михаил Александрович.— А иногда мы сами себе придумываем болезнь... и потом не можем от нее отвязаться.

Пришла Соня.

— Вы что, как пьяные, сидите, а ни одной рюмки не выпили?

Иван засобирался домой.

— Оставайся ночевать,— пригласил его Михаил Александрович.

— Пойду,— озабоченно проговорил Иван и в дверях стал надевать кепку.

Вмешалась Соня:

— Что у тебя — семеро по лавкам, что так торопишься?

— Надо идти,— сказал Иван.

И ребятишки были рядом, во все глаза смотрели на Ивана, и Соня, и Михаил Александрович, а он вроде как один стоял в большой комнате: в ярком свете электрической лампочки поблескивает белая щетина на щеках и подбородке, и оттого, что щетина белая, Иван кажется слабеньким, и непонятно, как он один ночью пойдет в такую даль.

— Темень, — сказала Соня, — волки встретят.

— Ночью хорошо идти, не жарко, — ответил Иван, продолжая о чем-то думать.

За столом, с краю, готовый подняться и проводить Ивана, но так же готовый и оставить его ночевать, сидел Михаил Александрович.

Соня, не зная, как еще приглашать Ивана, думала: «Мог бы утром чуть свет подняться, доехал бы с кем-нибудь... А он — ночью... Надо же так привыкнуть к лесу...»

— А волков я даже зимой не боюсь: у меня с ними — дружба! — сказал Иван ребятишкам.

Зимой сколько раз по ночам видел, как, поблескивая огоньками глаз, они бежали за ним вдоль дороги по лесу, и он знал: свои волки не тронут!

Иван бы с удовольствием остался переночевать у Михаила Александровича, но нельзя надоедать другу!

Михаил Александрович вышел проводить Ивана.

— Как же с деньгами быть? Когда можно отдать? — спросил Иван.

— Недели две подумай.

— Два дня, — сказал Иван.

— Хорошо, два дня.

— С утра мне появиться в Бабагае или с обеда?

— С обеда, — посоветовал Михаил Александрович. —

Я поговорю с председателем...

— Без него не обойдемся? — спросил Иван.

— Нет.

— Думаешь, не возьмет?

— Все может быть, Иван Захарович...

Скоро темнеющая фигурка Ивана исчезла за углом дома Мельниковых в проулке, по которому через мост шла дорога в Шангину. Михаил Александрович постоял за воротами, прикинулся, что Иван идет сейчас по глубокой низине в густом тумане, когда дороги совсем не видно, и кажется, что обязательно с кем-нибудь столкнешься или что заносишь ногу над пропастью...

Заподозрила Марья, что Иван что-то от нее скрывает, и по одним только ей понятным и видимым приметам старалась определить, что он задумал. Идти в деревню и узнавать, почему Иван не такой сделался, она не хотела: люди ей не помощники, они самое главное скроют, а может, самого главного и не знают,— Иван не из тех, кто кому попало все расскажет.

Иван не проговаривался ни одним словом, не сердился на изучающие Марьины взгляды, и она терялась: ни разу Иван ей не сказал: «Чего смотришь, милка? Чего уставилась?» Ни разу не раскипятился, как это бывало раньше, и это ее настораживало. К его коротким сердитым выпадам она привыкла: ругался Иван — все идет хорошо, молчал — что-нибудь плохо...

Иван вставал в пять утра, а сегодня изменил своему правилу: не слышно Ивана, как будто нет его дома, и Марья проснулась. Спал Иван, повернувшись лицом к стене, как будто сердился за что-то на Марью. Как только Марья поднялась с кровати, он, не просыпаясь, повернулся на другой бок, и теперь хорошо можно было разглядеть его лицо. Иван что-то забормотал во сне, Марья наклонилась к нему, прислушалась.

— Что ты сказал, Иван?

Иван на вопрос не ответил.

Марья отступила от кровати и продолжала всматриваться в его лицо и прислушиваться,— может, скажет что-нибудь? Что-то не дает Ивану спать, с кем-то он «борется» во сне... Она приказала себе идти на улицу и расколоть полено, а ноги как будто приросли к полу.

Иван проснулся и увидел: Марья, накинув поверх ночной рубашки телогрейку, выходит в сени, в руках у нее топор.

— Марья!

— Чего тебе?

— Ладно, иди,— вставая с постели, сказал Иван.

— Что ты хотел? — спросила Марья, продолжая стоять в дверях. Иван в это время доставал из-под кровати и никак не мог достать сапоги, которые он ночью, приходя из Бабагая, забросил дальше, чем нужно.

— Я уже забыл, что хотел сказать,— ответил Иван, когда достал второй сапог.

Марья, соглашаясь, кивнула: мол, не хочешь говорить, и не надо. Не спеша, как будто все еще надеялась что-то услышать, закрыла за собой двери, и через минуту раздались удары топора под сараем.

Иван взглянул на ходики, они шли неправильно — показывали не то середину дня, не то середину ночи. Зная, что теперь он на дню по несколько раз будет взглядывать на стенные часы, зная также, что с сегодняшнего числа — с девятого июля — он каждый день будет заводить ходики, чтобы они показывали точное время, он по карманным часам поставил стрелки на пятнадцать минут шестого, отошел на середину избы и как-то по-другому взглянул на ходики, когда они шли правильно. Решив, что с девятого июля началась новая жизнь, он веселее топнул одним и другим сапогом и, от того что они еще плотнее стали на ноге, сделался таким же бодрым, как вчера в Бабагае, когда решил отдать деньги.

Под сараем, не говоря ни слова, взял из рук Марьи топор и стал колоть крупные поленья. Марья загляделась, как ловко Иван разбивал полено на мелкие осколки, не убирая руки с полена, — так и казалось, что он рубанет себе по пальцам...

17

День должен быть хорошим: Индон и Широкое болото окутаны таким густым, белым туманом, что кажется, никакой реки поблизости нет. Облака над лесом подсвечены первыми лучами невидимого солнца, — оно появится минут через двадцать, и тогда и земля, и трава, и деревья, и все, что видел Иван на земле, заискрится, засверкает тысячами дождевы́х росинок! Ночью, оказывается, прошел дождик. Иван не слышал, значит, крепко спал. Птичий гам еще силен, но уже начал слабеть, все слышнее одиночное пение птиц. Он похвалил и дождик, и всходившее солнце, и птиц, встречавших солнце, потрапал по шее Собаку. Когда Ивана сутки или двое не было дома, Собака, будь то зимой или летом, не задремывала в своей конуре ни на одну минуту, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги Ивана со стороны деревни.

«Не-ет,— подумал Иван,— я вырос в лесу, жил в лесу и помру в лесу...»

За один шум леса Иван не расстанется с Татарским! А что говорить об Индоне, о Широком болоте, о том, что нигде так не всходит и не закатывается солнце! Вот и живет Иван, чтобы видеть все это, радоваться тому, что видит, и считать, что всему этому он — хозяин.

Иван еще не сказал, а видно было, что опять он собирается в деревню.

— Доходишься,— сказала Марья.

Как будто холодком обдало Ивана: походило на то, будто Иван легкомысленнее Марьи, поступает не думая и за это рано или поздно поплатится...

Но за что?

Марья поставила на стол завтрак, сама села, а Иван уже до этого сидел за столом, разодетый с иголочки, похожий на представителя из Заларей или Иркутска. Иван и сам это чувствовал, и на Марьины уговоры не поддался, и ответил ей, как и положено отвечать городскому представителю:

— Люди должны помогать друг другу! А ты заладила: не ходи, не ходи...

Иван не мог рассердиться на Марью: и день был не такой, чтобы сердиться, и Марья была не такая, как все эти дни, а лучше, что ли... Хотелось сказать Марье что-нибудь хорошее.

— Нас с тобой, милка, начальство уважает...

— За что?

— За то, что любим работать...

Иван хотел сказать, что скоро, может быть завтра, о нем все узнают, все уважать станут... Вот как повернется дело! Промолчал Иван, не стал ничего говорить.

Иваново молчание Марья восприняла как обиду или как то, что ему нечего сказать: замахнулся, хотел похвастаться, а нечем! А может, чего лишнего Марья сказала: откуда ей знать, кто его там, в этой деревне, уважает? Только не очень-то во все это верит Марья. Не за что, считает она.

— Дождешься,— сказала Марья.

И опять в этом одном ее слове были и угроза, и предупреждение, и боязнь, и невозможность как-то так сказать, чтобы он понял, что не надо ему никудаходить, не надо ни с кем говорить. Не ходит она, не говорит, и ему не надо.

Может, думала Марья, добром Иван поймет и хоть раз в жизни послушает? Есть же для людей воскресенье.

Так почему бы Марье с Иваном во всем новом не походить по заимке, не посидеть на скамейке за воротами?

Когда она сказала об этом, Иван чуть ложку из рук не выронил: ай да милка, до чего додумалась! Готова одеться как на праздник, только бы Иван не ходил в деревню!

Ивану бы послушаться, сделать, как просит Марья, а он сидит за столом во всем праздничном по другой причине: ему надо в Бабагай идти.

Марья левой рукой как-то очень ловко оперлась о край стола, а правую руку, в которой она только что держала ложку, положила на колени и улыбнулась совсем не так, как до этого, когда Иван собирался в деревню; и в этом своем неуловимом движении, как она оперлась рукой о край стола, а другую руку положила к себе на колени, и в том, как она сидела и смотрела на Ивана, стала похожа на ту, молоденькую Марью, с которой Иван согласился бы жить не только в большой избе на Татарской заимке — но и в маленьком балагане на Сянских горах!

18

Михаил Александрович встретил Ивана за воротами, на виду у всей конторы, как будто нарочно показывал, что они с Иваном — друзья.

— Идти? — Иван кивком указал на второй этаж и направо, где располагался председательский кабинет.

— А Марья знает об этом?

— Нет, Марье не говорил. Рановато, сберегательные книжки у меня с собой. Десять тысяч, которые останутся, — Марьины. Все честь по чести.

Иван полез в карман за сберегательными книжками, но Михаил Александрович остановил его: не надо.

Взявшись за ручку двери председательского кабинета, Иван глубоко вздохнул, и на душе вдруг стало светло и чисто; и так же было светло и чисто в председательском кабинете, и председатель сидел за столом тоже светлый и чистый, в новом костюме, который был чуть-чуть подороже Иванова. Большой разницы сегодня между Иваном и председателем не было — так казалось Ивану.

— Георгий Алексеевич, ты, конечно, знаешь, зачем я пришел?

— Знаю.

Ивана обидел такой сдержанный и короткий ответ. Да Иван бы на месте Сухарева вылез из-за стола, первый бы протянул руку, сел рядом — и такой бы разговор завязался между ними! А он сидит, и хоть бы тебе что! Как будто каждый день по десять тысяч предлагают! Ивану вот никто лишнего рубля не дал! Ну ведь не богачи, а ни с какой стороны не подступиться! Вот время настало: ничем не удивишь!

— Деньги мы взять не можем,— проговорил Сухарев, как будто выплеснул на Ивана ушат холодной воды.

Иван даже привстал со стула.

— Как это не можете? Ты, Георгий Алексеевич, здесь самый главный, все от тебя зависит.

— Без сельсовета ничего не выйдет,—сказал председатель.

С Ивана как будто камень свалился... Он даже пересёл на другой стул — был уверен: теперь можно сидеть не только на другом стуле, а хоть на полу, хоть на подоконнике, и все у него пойдет хорошо!

— Ну, это, считай, вопрос решенный: у меня с Советской властью хорошие отношения,— сказал Иван.— Там же Илья Иннокентьевич председателем, бывший шангинский бригадир! Мы с ним дружно жили.

— Это хорошо, что дружно,— ответил председатель.

Иван считал вопрос с деньгами решенным, а Георгий Алексеевич опять ему размышление подкинул:

— Иван Захарович, я за тебя переживаю!

— Как же ты за меня переживаешь, если деньги не хочешь взять?

У Георгия Алексеевича мелькнула мысль, что в последний момент Иван дрогнет, отступится, и все кончится маленьким анекдотом, в котором никому плохо не будет.

— Ты что, шутишь над нами? — спросил Илья, когда ему и Сухарев и Кирпиченко рассказали в сельсовете про Иванову затею.

Иван сел вместе со всеми за стол и, как-то само собой получилось, оказался с краю — вроде как не совсем

его считали своим! Скорее всего, так никто и не думал, но так выходило: с краю-то Иван сидел!

Прошла минута тишины; эта минута и молчание как раз и нужны были Ивану — чтобы его ответ был не бегом, не наспех, как будто на сто рублей...

— Что ж я, Илья Иннокентьевич, не могу подарить колхозу десять тысяч? Никак не пойму, чему вы удивляетесь: я же не прошу, а отдаю!

— Если бы попросил, понятнее было,— сказал Илья.

Слушает Иван и не понимает: хвалит его Илья Иннокентьевич или ругает? Скорее всего, хвалит — ругать-то вроде не за что!

— Ты бы отдал десять тысяч? — спросил Илья у председателя колхоза.

— У меня таких денег никогда не было,— ответил Сухарев.

— Ну, если б были?

— Были бы деньги, и было бы стране тяжело, отдал бы — куда бы я делся?

Илья заулыбался и как-то уж очень пристально посмотрел на Ивана, как будто хотел удостовериться, Иван это или не Иван, и сказал:

— Все бы так рассуждали, мы бы где сейчас были! А ты, Михаил Александрович, подарил бы? — спросил Илья. Ему интересно, что скажет главный бухгалтер. Пусть не десять, но пять тысяч, наверно, было у него на книжке. Такой же, как Иван, бережливый... Такой же молчун, если не больше...

Михаил Александрович даже не стал отвечать на пустой вопрос.

— А ты? — спросил у Ильи Георгий Алексеевич.

— Иннокентьевич отдал бы,— заступился за него Иван.— Он отдал бы.

— Вот это мне нравится,— весело сказал Сухарев,— Иван Захарович защищает Илью Иннокентьевича! Да мы на него не нападаем!

— Вы на меня нападаете, а значит, и на него,— с какой-то особой значительностью проговорил Иван. Он уже не чувствовал себя сидящим с краю.

Сухарев пригладил рукой и без того хорошо причесанные черные длинные волосы, поправил галстук, который не надо было поправлять.

— И на тебя никто не нападает,— сказал он.

— Деньги не берете,— ответил Иван.

— А ты что скажешь, Михаил Александрович?

— Надо взять.

С лица Ильи исчезло веселое выражение, он еще раз как-то очень глубоко взглянул на Ивана, как будто не узнавал его, и громко сказал:

— С Марьей инфаркт будет — это я вам точно говорю!

— Я свои десять тысяч предлагаю,— пояснил Иван.— Марьины останутся.

Иван достал из внутреннего кармана пиджака сберегательные книжки, сложил по порядку — две, которые скоро будут колхозными, сверху, Марьину — снизу,— и, нисколько не сомневаясь, что делает правильно, протянул их Михаилу Александровичу. Как и в тот раз, возле конторы, Михаил Александрович не стал смотреть, а сразу же передал книжки Сухареву. Тот медленно, все больше хмурясь, полистал их, улыбнулся чему-то, вроде как похвалил Ивана, и бережно, будто в руках у него были живые птицы, готовые при малейшей оплошности выпорхнуть из рук, передал книжки Андрееву. Илья глянул на последние суммы, что-то прибролил на счетах.

— Двадцать тысяч! —не без удивления сообщил он.— Так ни рубля и не истратил? — еще больше удивился он.— Для колхоза берег, что ли?

— Считай, что так.

— Я тебе, Иван Захарович, советую подальше держаться от Михаила Александровича...

— Это почему же? — спросил Иван. Он отлично видел, что Илья шутит.

— Сейчас скажу, раз не понимаешь... Да ты с этим другом без штанов останешься! Он и твои десять тысяч запишет, и Марьины! И не заметит, как сделает! Ты что, не знаешь Михаила Александровича?!

Все четверо засмеялись.

— Держи,— сказал Илья, возвращая Ивану сберегательные книжки.— Спрячь подальше. Главное, ему не показывай,— Илья кивнул на Михаила Александровича.

Одну из книжек, самую новенькую, Иван положил в карман, а две оставил на столе. А чтоб хорошо было видно, что они теперь колхозные, отодвинул их подальше от себя. С трудом оторвал взгляд от сберегательных книжек — хотел посмотреть, какое он произвел дейст-

вие: может, теперь Илья Иннокентьевич перестанет шутить?

Никто больше не улыбался, а молчание было настолько долгим и тягостным, что у Ивана вдруг зазвенело сразу в обоих ушах — как будто на Жизневской горе за Бабагаем били в церковные колокола.

— Иван Захарович, почему ты хочешь сделать подарок? Может, взаймы? Тебе же лучше!

— Да что вам — трудно взять, Георгий Алексеевич?

— Ты думаешь, Иван Захарович, колхоз нуждается в твоих десяти тысячах?

— Я для себя стараюсь!

— Понимаю, — сказал Сухарев. — За деньги должны думать о тебе лучше?

— А почему бы нет? Это же свои, кровные, а не какие-нибудь...

— В самом деле без хитрости отдаешь! — никак не хотел верить Сухарев.

— Это у вас какая-то хитрость — не берете.

— А почему тайком от Марьи?

— Пусть пока ничего не знает... Для нее же лучше, Георгий Алексеевич...

— Своим подарком, Иван Захарович, ты всех ставишь в неловкое положение.

— Точно-точно, — подтвердил Илья. — Ты даже не представляешь, что может из этого выйти! Еще спасибо скажешь, что не взяли!

— Что будем делать? — спросил Сухарев. — Илья Иннокентьевич, ты знаешь человека, тебе и последнее слово.

— У нас даже заявления не было, — сказал Илья. — Поговорили — и разойдемся.

— Заявление будет, — сказал Иван. — Хоть сейчас могу написать. Только продиктуйте.

— Подумай, Иван Захарович, хорошенъко. Куда торопишься? Успеешь отдать.

— Неужели я стал бы предлагать такие деньги не подумавши? Илья Иннокентьевич, ведь ты меня знаешь.

Все трое долго молчали. И деньги брать не хотели, и резко отказывать нельзя было.

— Надо кончать разговор, — сказал Илья, — Ивана мы все равно не переспорим. — И он первым поднялся из-за стола.

Наталья видела, как Иван зашел в ограду, но продолжала полоть гряду в маленьком огородчике. Иван сидел на крыльце и ждал, когда подойдет Наталья. Поэтому, как долго она не вылезала из огородчика — когда уже не полола, а просто так сидела на низком колодезном срубе,— Иван понял: сестра не хочет с ним разговаривать. Он поднялся с крыльца и как ни в чем не было пошел в огородчик. По мере того как Иван все ближе подходил к Наталье, она все больше поворачивалась в его сторону, и, когда он остановился в двух шагах от Натальи, она отвернулась и стала смотреть в колодец — как будто хотела броситься туда, только бы не видеть Ивана.

— Здравствуй, сестрица,— сказал Иван каким-то не своим голосом, как будто охрип, накричавшись в лесу, или был после болезни.

Наталья, съежившись, продолжала сидеть на краю колодца и не знала, что сказать Ивану.

— Братец нашелся,— едва выговорила она, поднимаясь со сруба.— Ты хуже чужого...

Наталья больше не могла говорить и чуть не бегом кинулась в избу. Иван пошел следом за нею, старательно, как у себя дома, закрывая за собой едва живые скособочившиеся воротца. Пока шел до крыльца, ему казалось: Наталья закроется и не пустит его.

Стоял на крыльце и, как ни хотел, не мог обидеться на сестру: нелегко ей живется с оравой детей... Пусть посердится...

Двери в сенях распахнулись, на секунду мелькнуло Натальино лицо, исчезло, из глубины сеней раздался ее недовольный, плачущий голос:

— Зайди. О чём ты опять думаешь?

Наталья подала ему стул. Он сел. Только сейчас она получше разглядела Ивана.

— Если б могла, пошла бы к Сухареву. Не знаешь, как такую ораву одеть и накормить, а ты такие подарки делаешь. Да я бы за тысячу молилась на тебя!

Наталья не смогла по-настоящему отругать Ивана и только испуганно взглядывала на него — пыталась понять: что с ним?

— Ишь обрадовались! Пойду в сельсовет завтра, я этого так не оставлю!

— В сельсовете все и решили,— как можно миролюбивее сказал Иван.

Наталья сделала резкое движение в сторону Ивана, как будто хотела его ударить.

— Кто тебя звал в сельсовет?

— Сам пошел,— спокойно ответил Иван.— Что я, не могу своими деньгами распорядиться? Ты, Наталья, так говоришь, как будто я твои деньги решил отдать.

— Дурень! Тебе два хороших слова сказали, ты уши и развесил...

Иван не согласен с Натальей: он нисколько не сомневался в том, что поумнел за последнее время.

— Государству надо помогать. Я хоть поздно, да понял, а вы никогда не поймете. Это я, Наталья, не про тебя, а про других говорю, кто хочет работать поменьше, а получать побольше. Для страны такие люди, Наталья, самые вредные. Что я, неправду говорю?

Раньше Наталья не слышала от Ивана таких грамотных слов и сейчас никак не хотела ему верить. Другое дело, от лектора услышишь, от бригадира или от председателя, а от Ивана, которого пол-Шангины чужаком считали, только что в глаза стеснялись сказать... Это другие стеснялись, а Наталья сколько раз говорила, да что толку: с Ивана как с гуся вода! Отряхнется, и опять за свое...

— Свихнулся мужик,— отвернувшись от Ивана и как бы сообщая об этом еще кому-то, сказала Наталья.— Ты и молодой-то был... Говорят люди, что у Ивана с головой что-то неладно... Я не верила, а теперь вижу: так оно и есть. Подожди-и-и,— пригрозила Наталья,— еще не раз прибежишь, несмотря что мы такие бедные, а ты такой богач. Мы жили без твоих денег и проживем, а ты, как состаришься, вот я тогда на тебя посмотрю, как жить будешь, когда некому будет кусок хлеба подать.

— Не кипятись, Наталья... Считай, что их у меня не было. Ведешь себя так, будто эти десять тысяч у меня в кармане... Родная сестра, не разобравшись, кричит, Марья узнает — крик поднимет...

Наталья, вся скривившись, выслушала Ивана, как-то уж очень нервно оглянулась на ребятишек, заглядывавших в окна и что-то кричавших.

— Что ж мне, хвалить тебя? За что?

Она вскочила со стула и прогнала с завалинки ребятишек, корчивших рожи в окнах.

Из старой хозяйственной сумки Иван достал огромный кулек с конфетами и пряниками.

Десять тысяч и — кулек с конфетами и пряниками... Наталья не выдержала, схватила Ивановы гостинцы и выкинула в помойное ведро.

— Кто же так делает? — Иван покачал головой.— Грех тебе будет, Наталья.

— Я не святая, греха не боюсь.

Ничего другого Иван не ждал от родни и все-таки обиделся: думал, что Наталья лучше будет с ним разговаривать.

Наталья хоть и сердилась на брата, а нашла в себе силы предложить ему пообедать.

— Нет, сестра, я у чужих пообедаю...

Правильное у Ивана было размышление: не ходи к родне, и все хорошо будет, и наперекор себе пошел... Не верил самому себе? А кому же тогда верить — черту лысому? Не один раз ловил себя на том, что правильно он подумал, так и надо делать, а сам возьмет и наоборот сделает... Как будто бес подтолкнет!

21

Иван нигде не появлялся. Ему казалось: вот-вот начнут заходить к нему и шангинские, и бабагаевские, и с других соседних деревень...

Но никого не было.

И он свыкся с мыслью, считал, что так и должно быть, что никого нет. И сам же объяснил, почему он так считает: не хотят хвалить Ивана.

Только он так в последние два дня стал думать, как остановилась возле его дома легковая машина.

«Председательская!» — узнал Иван, выйдя за ворота.

Шофер, Иванов родственник, остался сидеть за рулем — он и теперь не хотел признавать Ивана. На это Иван не обратил особого внимания: свои могут сердиться, на то они и свои... А вот где председатель колхоза, почему не видно в кабине Георгия Алексеевича? Много ли надо времени? Заглянул бы всего на одну минуту: поздоровался бы, и — не надо ни о чем говорить! — пожалуйста, до свидания. Это для чего Ивану нужно? Чтобы тот же Иванов родственник, который сидит сейчас в

чужой машине, как в своей,— Димка, сукин сын, такой молодой, а занозистый! — чтобы он понимал, что к чему, и не думал, что все это для него бесплатно свалилось.

Племянник в долгую не оставался и про себя костерил дядьку за все сразу: за то, что у него много денег было, и за то, что денег теперь не будет...

На заднем сиденье, за спиной шофера, величественно возвышалась главный врач участковой больницы Анна Афанасьевна Дубровина. Несмотря на свой высокий рост и давным-давно пенсионный возраст, она довольно ловко выбралась из машины и с какой-то неожиданной стремительностью двинулась к Ивану, как будто хотела тут же спасти его от чего-то. Ему непонятно было, как главный врач только что помещалась в маленькой машине. Из Дубровиной бы получилось три Ивана, не меньше!.. Он мигом убрал сутулость, подтянулся и, не теряя важности, с удовольствием смотрел на Анну Афанасьевну, с которой у него были хорошие отношения: она не жалела для него самых новых и самых лучших лекарств. И вообще у Ивана доверие к степенным, крупным людям... Он понял: председателю некогда, и Анна Афанасьевна, по его просьбе, приехала узнать о здоровье Ивана. Что ж, это приятно...

— Иван Захарович, ставь самовар! — весело проговорила Дубровина.

— А у меня все готово, — по возможности тоже весело ответил Иван.

Он редко когда пил чай из самовара — возни много, — а сегодня как будто чувствовал — разжег самовар. Такие совпадения у него бывали.

— Ждал меня? — спросила Дубровина.

Иван опять ссутулился, как будто вспомнил что-то неприятное, и, выжидательно взглядывая на Дубровину, ответил глуховатым голосом:

— По правде сказать, подружка, каждый день на дорогу смотрел...

Никакой шутки в Ивановых словах не было, а главный врач засмеялась.

Ему почему-то легко было разговаривать с Дубровиной: от одного разговора с ней Иван делается здоровее. Сколько раз замечал: дома и в дороге забивает кашель, в правом боку покалывает, но только переступит порог кабинета Дубровиной, кашель и покалывание исчезают.

Отойдет чуть подальше от больницы — все начинается снова.

Иванов племянник, недовольный тем, что главный врач разговаривает с Иваном как с нормальным человеком, уехал на берег Индона. Анне Афанасьевне он, видно, неинтересен: сейчас не уважает старших, а что дальше с него будет? Даже не поздоровался с дядей. А чем Иван Захарович плох: трудолюбивый, умный, вежливый, лишнего никому ничего не скажет. И посмеется, когда надо. Не пьет...

За чаем Дубровина сказала:

— Напугал ты, Иван Захарович, своим отсутствием.

Иван недоверчиво покосился на Дубровину.

— Кого это я, интересно, напугал? Нет меня и нет — пора бы и привыкнуть. Знаешь, здоров.

Анна Афанасьевна отклонилась от стола, чтобы не видеть свое изображение в самоваре, о чем-то вздохнула.

— Иван Захарович, я бы от страха убежала с займики... В какое окно ни смотришь, везде лес. И на каждом дереве вороны сидят, каркают. И зимой, ты сам рассказывал, волки к дому подходят...

— Красивое место не бывает страшным,— сказал Иван, подсыпая в тарелку самой спелой брусники, только вчера принесенной из лесу.

— Красиво там, где люди,— сказала Анна Афанасьевна.

Она ела бруснику без сахара, настолько ягоды были сладкие, и старалась не пропустить ни одного Иванова слова — как будто каждое его слово так же, как ягоды, неторопливо пробовала на вкус.

— Да не присматривайтесь вы ко мне, Анна Афанасьевна, здоров я!

— Вижу, что здоров... А люди сомневаются,— положив ложечку на стол, сказала Дубровина.

Иван коротко махнул рукой и так же коротко и энергично проговорил:

— Людям не угодишь.

— Иван Захарович, неужели и в самом деле не жалко денег? Неужели душа не болит и сердце не ноет?

— Я же сказал, нисколько.— И добавил:— Марья с ягод идет.— В его голосе прозвучала едва уловимая тревога.

Анна Афанасьевна — смелейшая женщина в Бабагае — и то немного испугалась, когда Иван сообщил об этом.

— Где она? — спросила Дубровина, поднимаясь из-за стола. — Хочу посмотреть на Марью.

— А зачем на нее смотреть? Ходит, как все люди, на двух ногах.

Наверное, в десятый раз Анна Афанасьевна оглядела бедную обстановку в избе, подивилась, как так можно жить в наше время — с деревянными гвоздями в стенах! — и сказала, оглядываясь на окно, выходившее на берег Индона:

— Честное слово, Иван Захарович, как посмотрю на тебя, о Марье подумаю, и меня отчего-то страх берет... Особенно когда в избу зайду...

— Это, Анна Афанасьевна, с непривычки. Мне в чужих домах тоже не по себе делается.

Иван сидел с хмурым лицом, чусть-чусть согнувшись, и смотрел только перед собой: может, обиделся на Анну Афанасьевну, что плохо про его дом сказала, а может, на себя за что-нибудь? Ивана сразу не разгадаешь...

— Мне все время кажется, Иван Захарович, что вы тут не в свое удовольствие живете, не красотой любуетесь, а добровольную каторгу в лесу отбываете... Как будто провинились и сами не знаете перед кем. Не обижайся, Иван Захарович, я ведь правильно сказала.

Иван медленно отклонился от стола и, не меняя выражения лица, ответил:

— Я не обижаюсь.

Анна Афанасьевна стала смотреть в окно, но нигде Марью не видела.

— Да где она, Иван Захарович?

Иван засмеялся.

— А ты ее не увидишь!

— Почему?

— Она по краю леса идет — за деревьями! Там по болотцу — дорожка.

— Да зачем ей идти по воде, когда на поляне сухо и дорожек сколько хочешь?!

— Такой характер, — как-то уж очень загадочно ответил Иван, оставаясь сидеть за столом.

Анна Афанасьевна стала ждать, когда Марья перед домом выйдет на поляну. Но сколько она ни стояла у

окна, Марья ни разу так и не промелькнула за деревьями. И на поляне не появлялась.

— Она что, людей боится? — не отходя от окна, спросила Дубровина.

Иван не торопясь вылез из-за стола, походил по избе, как будто что-то искал и не мог найти, сел около плиты на широкую сосновую чурку и с какой-то ненужной веселостью сказал:

— Марья не хочет видеть ни своих, ни чужих! Издалека еще посмотрит, когда идет кто-то или едет... Она, считай, всех видит, а ее — никто. Что правда, то правда, прятаться она умеет: шагнет за куст или за дерево, присядет в траве или за колодиной — и ни за что не найдешь! В лесу будешь звать — не отзовется!

— Что ей люди плохого сделали? Вот ты мне объясни, Иван Захарович?

Иван подумал с минуту и ответил:

— Этого и сама Марья не знает...

— Спрашивал у нее?

— А как же! Из-за этого и ругаемся... Она и в молодости была неразговорчивой,— как будто защищая Марью, сказал Иван,— а за последние двадцать лет совсем отвыкла от людей! Марье интересней слушать не нас с тобой, Анна Афанасьевна, а как птицы поют, как лес шумит... Я же говорю: ей в лесу хорошо, а мне с людьми надо побывать.

Иван знал: Марья давно пришла, сидит около бани и пригоршнями перебирает ягоды. Если ей покажется, что люди не скоро уедут, она еще раз за ягодами ходит или в Семеновом сосняке рыжиков насобирает.

Корзина с брусникой стояла на траве около бани, а Мары нигде не было.

Анна Афанасьевна прошла немного по дороге, густо заросшей муравой и бурьяном; старые колеи едва угадывались в траве... День солнечный, изредка подует легкий ветерок, и тогда протяжный шум леса смешивается с настойчивым криком воронья, недовольного появлением людей, с одиноким и пронзительным криком ястреба. Слышатся еще какие-то неразличимые голоса,— может, из деревни, а может, из глубины леса... Отражение на той стороне в Индоне крутого берега с лесом, в несколько этажей поваленном на Марьиных буграх, кажется ей бездонной пропастью, из которой человеку не выбраться..